This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B90895

This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967

Zelinskiĭ, V. A., comp.

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

3

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

„Идіотъ".—„Бѣсы".—„Подростокъ".—„Рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго объ А. С. Пушкинѣ".

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

3

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

X88118
P18387

МОСКВА.
Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.
1901.

Ke

PG 3328
Z6Z4
1901a
v.3

безъ посторонней помощи можетъ провѣрить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орѳографіи, такъ и методики ея преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орѳографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще не успѣвающіе въ орѳографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самодѣятельности, легко и скоро пріобрѣтаютъ орѳографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе—для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орѳографіи по этому руководству, провѣрка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. **Зрительный диктантъ.** Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 6-е. М. 1900 г. Ц. 40 к.

9. **Справочный словарь буквы Ѣ.** Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ѣ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

10. **Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора.** № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. Цѣна каждой таблицы—2 к. (Распроданы).

11. **Хрестоматія для объяснительнаго чтенія.** Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію". М. 1892 г. Ц. 25 к.

12. **Объяснительный словарь** болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанію").

13. **Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію.** Опытъ группировки орѳографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

14. а) **Обученіе грамотѣ по звуковому способу.** Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разраб. извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

15. б) **Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію,** разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1901 г. Цѣна 1 р.

16. в) **Методическія указанія и примѣрные уроки по преподаванію** русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1899 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. **Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева.** Выпускъ I. Изд. 3-е. М. 1899 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

18. **Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго.**

Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти". Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы". Цѣна 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть (1-я часть вышла 2-мъ изд.).

26. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда" и „Наканунѣ"— Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева". М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть по 1 р.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина". Ц. 2 р.

29. Н. В. Гоголь въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго (печатается).

IV. Серія разныхъ книжекъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

Б. К. Поуэ

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

„Идіотъ".—„Бѣсы".—„Подростокъ".—„Рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго объ А. С. Пушкинѣ".

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

МОСКВА.
Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.
1901.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

БЫВШИМЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орѳографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по „Руководству" Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, содержитъ въ себѣ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ орѳографическихъ правилъ, орѳографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное,—почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя" открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извозщикъ, извосщикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ орѳографическомъ словарѣ подъ буквой и—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, пріобрѣтающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается весьма быстро.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ разноцвѣтной окраской обрѣза, 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 4-е. М. 1898 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орѳографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 11-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта". Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орѳографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орѳографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣтственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ орѳографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописаніе самодѣятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый

Slav 4338.2.930

HARVARD COLLEGE
Sep. 3, 1943
LIBRARY

Prof. George R. Noyes,
Berkeley, Calif.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Въ печатныхъ отзывахъ о первыхъ двухъ частяхъ настоящаго сборника критикъ нѣкоторые рецензенты поставили мнѣ въ вину то обстоятельство, что я не сдѣлалъ ни одной ссылки на критическій очеркъ Н. К. Михайловскаго—„Жестокій талантъ". Не допуская того, что я могъ не знать о существованіи въ нашей критической литературѣ столь крупнаго очерка, они объяснили умолчаніе о немъ съ моей стороны тенденціозностью и партійностью. Нѣкоторые же, какъ, напр., литературный обозрѣватель „Вѣстника Европы", усмотрѣли тенденцію въ моемъ сборникѣ и помимо пропуска названной статьи Михайловскаго. Чувствуя себя совершенно правымъ въ этомъ отношеніи, я могу смѣло утверждать, что при составленіи настоящаго сборника мнѣ чужды были всякія стремленія освѣщать особеннаго рода подборомъ статей хорошую или дурную сторону литературной дѣятельности Достоевскаго. Это было бы противно самой идеѣ сборника, задача котораго состоитъ въ разъясненіи сущности произведеній Достоевскаго путемъ сопоставленія *противоположныхъ* критическихъ отзывовъ о нихъ. Даже послѣ самаго поверхностнаго ознакомленія съ настоящимъ сборникомъ нельзя не согласиться, что въ немъ собраны крайне противоположныя критическія статьи. Слѣдовательно, гдѣ-же основаніе упрекать меня въ тенденціозности и партійности? Если бы я, въ силу какой-либо тенденціи, игнорировалъ очеркъ „Жестокій талантъ", то, слѣдуя далѣе тѣмъ же логическимъ путемъ, съ какой стати я приводилъ бы еще болѣе рѣзкіе отзывы о Достоевскомъ? Очевидно, это было-бы крайне не логично съ моей стороны. Повторяю, что я, по крайней мѣрѣ, сознательно не повиненъ ни въ какой тенденціи своего сборника. А не помѣстилъ я ни одной выдержки изъ очерка г. Михайловскаго „Жестокій талантъ" вотъ почему. Во-первыхъ, весь этотъ очеркъ представляетъ собою въ болѣе широкомъ размѣрѣ развитіе и доказательство той мысли г. Михайловскаго, которую онъ, между прочимъ, выразилъ въ другой критической статьѣ о Достоевскомъ. Изъ этой статьи я привелъ выдержки въ первой части настоящаго комментарія. Къ числу этихъ критическихъ выдержекъ относится и та, въ которой г.

Михайловскій ясно выражаетъ мысль (даже съ довольно яркимъ примѣромъ) о жестокой и мучительной складкѣ таланта Достоевскаго (смотрите „Критическій комментарій къ соч. Достоевскаго", часть I, стр. 48). Во-вторыхъ, соображаясь съ планомъ моего сборника, я могъ пользоваться очеркомъ „Жестокій талантъ" либо въ отдѣлѣ комментарія, подъ заглавіемъ: „Оцѣнка идей, таланта, направленія Достоевскаго и проч.", либо при разборѣ мелкихъ повѣстей Достоевскаго. Но для перваго отдѣла что можно было взять въ смыслѣ очерка „Жестокій талантъ", то и взято мною, хотя и не изъ этого именно очерка, а изъ другой статьи того-же критика. Критическій очеркъ—„Жестокій талантъ" такъ цѣльно и неразрывно связанъ въ своихъ частяхъ, что изъ него почти невозможно заимствовать болѣе или менѣе законченныхъ выдержекъ; цѣликомъ же перепечатать весь очеркъ, расположенный на 91 страницѣ убористой печати — это, не будучи пропорціонально объему настоящаго сборника, не вызывалось также крайнею необходимостью въ отношеніи пользы для изучающихъ Достоевскаго, и, кромѣ того, противно было юридическимъ законамъ о печати. При разборѣ же мелкихъ повѣстей Достоевскаго, я могъ пользоваться очеркомъ „Жестокій талантъ" преимущественно въ предѣлахъ заимствованія оттуда изложенія содержанія нѣкоторыхъ повѣстей. Но это опять-таки не входитъ въ задачу моихъ сборниковъ, что я и выяснилъ въ предисловіи къ первому выпуску „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева"; помимо того, взятое отдѣльно изложеніе содержаня какой-либо повѣсти, разбираемой г. Михайловскимъ въ очеркѣ „Жестокій талантъ", потеряло бы тотъ смыслъ и окраску, какіе имъ придаетъ общій тонъ и мотивировка очерка.

В. Зелинскій.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Второе изданіе третьей части „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго" нѣсколько измѣнено въ своемъ составѣ противъ перваго изданія. Сюда перенесенъ изъ второй части романъ „Идіотъ", дополненный одной критической статьей, и, взамѣнъ романа „Братья Карамазовы", вновь помѣщенъ отдѣлъ критическихъ статей о „Рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго", произнесенной имъ при открытіи памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ. Критическія же статьи о романѣ „Братья Карамазовы, по значительности своего объема, отпечатаны отдѣльнымъ изданіемъ, составляющимъ дополненіе къ тремъ частямъ „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго".

Въ настоящую третью часть „Комментарія“ вошли критическія статьи и выдержки: В. Авсѣенко *), изъ Біографіи О. М. Достоевскаго, изъ „Вѣстника Европы“ (ст. В. В.), А. Градовскаго, изъ „Гражданина“, изъ „Дѣла“ (статья О. П.), изъ „Дѣтскаго Сада“, П. Звѣрева, А. Кошелева, Н. Михайловскаго, О. Миллера, П. Никитина, изъ „Новостей“ (статья В. Ч.), изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ (статья Z), оттуда же (статья Sine Ira), оттуда же безъ подписи, изъ журнала „Сіяніе“ и В. Чижа.

В. З.

Третье изданіе настоящей третьей части „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго“ отпечатано со второго изданія безъ перемѣнъ, если не считать нѣкоторыхъ маловажныхъ исправленій и раскрытія нѣсколькихъ псевдонимовъ.

В. З.

---

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ книги по недосмотру напечатано: А. Авсѣенко, вмѣсто—В. Авсѣенко.

Оглавленіе 3-й части

„Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго“.

стр.

«Идіотъ» 1

Критическія статьи:

О. Миллера 1
Изъ „Біографіи“ О. М. Достоевскаго. 5
П. В. Буренина 7
В. Чижа 13

«Бѣсы» 16

Критическія статьи:

В Авсѣенко 16
Н. Михайловскаго. 25
П. Никитина (П. Ткачова). 45
В. С. Соловьева. 70
Изъ „Сіянія“. 73

Отдѣльныя характеристики фигуръ романа „Бѣсы“ 75

Степанъ Трофимовичъ Верховенскій 75

Разборы:

В. Авсѣенко 75
П. Никитина (П. Ткачова) 80

Петръ Степановичъ Верховенскій 92
Отзывъ В. Авсѣенко. 92

Кирилловъ. 95

Разборы:

В. Авсѣенко 95
В. Чижа 97

стр.

Шатовъ 100
Отзывъ В. Авсѣенко 100
Ставрогинъ. 102

Разборы:

В. Авсѣенко 102
П. Звѣрева 103
Варвара Петровна Ставрогина 107
Отзывъ П. Никитина (П. Ткачова) 107
Эркель 109
Отзывъ В. Авсѣенко. 109
Фонъ-Лембке 110
Разборъ В. Чижа 110
Елизавета Николаевна Дроздова. 105
Отзывъ В. Чижа 115
Указаніе непомѣщенныхъ въ сборникѣ критическихъ статей о романѣ „Бѣсы“. 115

«Подростокъ». 116

Критическія статьи:

П. Никитина (П. Ткачова). 116
Изъ „Дѣтскаго Сада“. 149
„ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 153
В. Авсѣенко 156
Изъ „Гражданина“. 158
В. Чижа. 159
Указаніе непомѣщенныхъ въ сборникѣ статей о „Подросткѣ“. 163

«Рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго объ А. С. Пушкинѣ». 164

Критическія статьи:

А. Кошелева. 164
Изъ „Дѣла“ (статья О. П.) 171
А. Градовскаго. 176
Изъ „Вѣстника Европы“ (статья В. В.) 185
В. Чуйко 195

Указатель

именъ и предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ литературѣ.

Авенаріусъ. 11.
Авсѣенко, В. 16 25, 75, 79, 92, 95, 97, 100, 102, 103, 109, 156, 158.
Аксаковъ. 46, 195.
Алѣева. 148.
Антокольскій. 196.
Анфантенъ. 172.
Балинскій. 122.
Бальзакъ. 28, 32.
Беллетристы-метафизики и беллетристы-эмпирики". 148.
„Берегъ". 186.
„Биржевыя Вѣдом.". 115, 164.
„Біографія, письма и проч." 5, 6.
„Богъ", сда. 48.
„Больные Люди". 45, 80, 107.
„Братья Карамазовы". 115, 177, 181.
Буренинъ, В. П. 7, 13.
„Бѣдные Люди". 54, 56, 72, 122, 124.
Бѣлинскій. 42, 119.
Вепевитиновъ. 195.
„Взбаламученное Море". 19.
„Время". 72.
„Вставайте, оковы распались". 166.
„Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями". 187.
„Вѣстникъ Европы" 185, 194, 196.
„Вѣчный Мужъ". 57.
Габоріо. 52.
Герценъ. 28, 40, 42.
Гоголь. 119, 179, 187, 195.
„Голосъ". 115, 176.
Гончаровъ. 80.
Горбуновъ. 48.
Градовскій, А. 176, 185, 187, 190, 191, 193.
„Гражданинъ". 35, 41, 46, 47, 48. 49, 64, 65, 69, 73, 158, 159.
Гризингеръ. 99.
Грибоѣдовъ. 153.
Григорьевъ А. 46.
Гуцковъ. 11.
„Двойникъ" 48, 110, 127.
Диккенсъ. 12, 154.
„Дневникъ Писателя". 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 69, 73, 119, 164, 187, 194, 196.
Добролюбовъ. 118.
„Достоевскій, Ѳ. М." О. Миллера. 5.
„Достоевскій какъ психопатологъ", Чижа. 13, 97, 110, 115, 159.
Дрозъ. 52.

„Дѣло". 45, 80, 107, 115, 116, 128, 164, 171, 176.
„Дѣтскій Садъ". 149, 153.
„Дядюшкинъ Сонъ." 159.
„Записки изъ Мертваго дома". 72, 73.
„Записки Сумасшедшаго." 48.
Заурядный (псевд.). 123.
Звѣревъ, Н. А. 103, 107.
„Идіотъ". 1—15, 27, 54, 56, 120.
„Иллюстрирован. Недѣля". 164.
„Искра". 115.
„Исторія лейтенанта Ергунова". 7.
Кавелинъ. 196, 197, 198, 199, 200, 201.
Катковъ. 46, 187.
Кирѣевскій 65.
„Кіевскій Телеграфъ". 164.
Ключниковъ. 26.
Коломенскій Кандитъ. (псевд. В. О. Михневича). 195.
Кольцовъ. 195.
Коперникъ. 93. 94.
Кошелевъ, А. 164, 171.
Крестовскій. 54.
„Крокодилъ въ Пассажѣ". 47.
Кругловъ. 196.
„Кто виноватъ". 177.
Legrand du Saulle. 160.
Лермонтовъ. 195.
Ли Анна. 15.
„Литературное Попури". 116.
„Литературная и журнальная замѣтки", Михайловскаго. 25.
„Литературное Обозрѣніе". 156. 185.
„Литературная Хроника." 194.
Лѣсковъ. 46. 48.
„Люцернъ". 3.
„Мертвый Домъ". 46, 47, 49, 50.
Меттернихъ. 184.
„Мечта". 166.
Мещерскій, 46, 48.
Миллеръ, О. 1, 5.
Михайловскій, Н. 25, 45, 196.
„Московскія Вѣдомости." 164, 176.
„Мы родъ избранный". 166.
„Невинныя Замѣтки". 115.
„Недѣля". 72.
Некрасовъ. 39, 40.
„Некуда". 49.
Никитинъ, П. (псевдонимъ П. Ткачова). 45, 70, 80, 92, 107, 109, 116, 148, 164.
„Новое Время". 115, 164, 176.
„Новороссійскій Телеграфъ." 164.
„Новости". 164, 194, 201.
„Общественная психологія въ романѣ". 16, 75, 92, 95, 100, 102, 109.
„Общество любителей Россійской словесности". 164.
„Одесскій Вѣстникъ". 115, 164.
„Орелъ". 166.
„Островъ". 166.
„Отечественныя Записки". 25, 116, 158.
„Отзывъ по поводу слова, сказаннаго Ѳ. М. Достоевскимъ на Пушкинскомъ торжествѣ". 164.

Офенбахъ. 51.
„Очерки текущей литературы". 115.
„Переписка съ друзьями". 195.
„Писемскій. 19, 80.
„Повѣтріе". 11.
„Подростокъ"—116, 163.
„По поводу рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго". 176.
„Преступленіе и Наказаніе." 18, 24, 27, 28, 49, 54, 56, 74, 116, 118, 120, 124.
„Публичныя Лекціи", О. Миллера. 1.
Пушкинъ. 33, 105, 195.
„Пушкинскій юбилей и рѣчь Достоевскаго." Статья О. П. 171—176.
„Пчела". 164.
Радищевъ. 82.
Розенбломъ. 11.
„Россія" 166.
„Рудинъ". 177.
„Русская литература въ 1874 году". 72.
„Русскій Вѣстникъ." 1, 7, 12, 13, 16, 46, 73, 75, 92, 95, 97, 100, 102, 109, 110, 115, 156, 159.
„Русскіе писатели послѣ Гоголя", О. Миллера. 5.
„Русскій Міръ". 73, 115, 164.
„Русская Мысль". 164.
Руссо Жанъ-Жакъ. 173.
„Русь". 103.
„Рѣчь Ѳ. М. Достоескаго о А. С. Пушкинѣ". 164—'01.
„С.-Петербургскія Вѣдомости". 7, 9, 12, 115, 153, 155, 164.
Свенденборгъ. 15.
Sine Ira (псевдонимъ В. С. Соловьева). 70.
„Сіяніе". 73, 74.
Смирнова. 148.
Соловьевъ, В. С. 70, 72.
„Сочиненія Н. К. Михайловскаго". 25.
Стебницкій. 26, 46.
Страховъ. 46.
Сѣченовъ. 196.
„Сынъ Отечества". 115. 164.
Татаринова 15.
Тиссо. 11.
„Тифлисскій Вѣстникъ". 164.
Ткачовъ, П. Н. 116—148.
Толстой, Л. Н. 3.
Тургеневъ. 7, 56, 80, 179.
„Униженные и Оскорбленные." 118, 122, 125.
„Фаустъ." 76.
Фетъ. 48.
Фурье. 93.
Хомяковъ. 65, 166.
Цицеронъ. 93, 94.
Чаадаевъ. 195.
Чечотовъ. 122.
Чижъ, В. 13, 15, 97, 100, 110, 115, 159, 163.
Чуйко, В. 194. 201.
Шекспиръ. 93, 94.
Шпильгагенъ. 12.
Шуваловъ, графъ. 188.
Щедринъ. 196.
„Эпоха." 46.
„Юрій Милославскій". 48.

„ИДІОТЪ“.

(1868 г.) *).

**) Сонъ Раскольникова составляетъ прямой переходъ къ дальнѣйшимъ произведеніямъ Достоевскаго,—къ „Идіоту“ и „Бѣсамъ“. Тутъ, сколько я, по крайней мѣрѣ, понимаю, нашъ авторъ окончательно попадаетъ не на свою дорогу, уклоняясь отъ той, которая дала ему возможность такъ глубоко проявить свое прекрасное дарованіе и свое гуманное сердце. Достоевскій увлекся примѣромъ другихъ—обратился къ тому ряду явленій, которыя вызвали въ нашей литературѣ типы въ родѣ Базарова, Марка Волохова и др. Это бы еще ничего, это было бы даже прекрасно, если бы онъ посмотрѣлъ на нихъ со своей характеристической точки зрѣнія; но нашъ симпатическій авторъ, къ сожалѣнію, сталъ испытывать въ это время вліяніе особаго литературнаго круга, относящагося къ этимъ явленіямъ слишкомъ односторонне. Съ своей прежней точки зрѣнія, Достоевскій посмотрѣлъ бы на многихъ людей, выведенныхъ имъ въ „Идіотѣ“ и въ „Бѣсахъ“, какъ на тѣхъ же „несчастныхъ“. Съ новой, усвоенной имъ у другихъ, точки зрѣнія, онъ началъ смотрѣть на нихъ, какъ на бѣсноватыхъ и сумасшедшихъ. Въ „Идіотѣ“ Достоевскій еще не утвердился на этой новой дорогѣ, въ „Бѣсахъ“ онъ окончательно укрѣпляется на ней. „Идіотъ“

*) Первый разъ напечатанъ былъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1868 г., кн. 1, 2, 4—12.

Въ нашей литературѣ находится очень мало серьезнаго критическаго матеріала, относящагося къ роману „Идіотъ“,—по крайней мѣрѣ, намъ не удалось найти чего-либо болѣе подходящаго для настоящаго сборника. Въ разбросанныхъ по газетамъ рецензіяхъ высказываются большею частью ничѣмъ не мотивированные отзывы объ „Идіотѣ“, заключающіе въ себѣ либо брань, либо похвалу.

**) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи“. Спб. 1874 г. и 2-е изд. Спб. 1878 г.

Примѣч. В. Зелинскаго.

въ художественномъ отношеніи слабѣе, онъ страшно растянутъ, мѣстами томительно однообразенъ и скученъ, но за то во многомъ тутъ еще вполнѣ чувствуется прежній Достоевскій, съ его любовью къ „униженнымъ и оскорбленнымъ,“ братски протягивающимъ руку всѣмъ, раздѣляющимъ ту же участь. Въ „Бѣсахъ“ эта симпатическая его сторона сказывается уже весьма слабо, хотя въ художественномъ отношеніи этотъ романъ стоитъ выше, чѣмъ „Идіотъ“.

Основной характеръ „Идіота“ служитъ прекраснымъ дополненіемъ къ прежней галлереѣ лицъ Достоевскаго. Что такое этотъ князь Мышкинъ, послѣдній потомокъ захудалаго рода, круглый сирота, воспитывающійся въ уединеніи за границей по милости друга своего отца, болѣзненный мальчикъ, потомъ юноша, котораго всѣ считаютъ за идіота, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ даже очень уменъ, но прямодушенъ и чистъ какъ ребенокъ? Это, можно сказать, художественное воспроизведеніе темы, весьма распространенной въ безыскусственной народной словесности—это тотъ же любимый народомъ сказочный *Иванушка-дурачокъ*, оказывающійся, какъ извѣстно, только человѣкомъ не „себѣ на умѣ“, не выносящимъ зрѣлища посторонняго горя, постоянно забывающимъ себя для другихъ. Съ точки зрѣнія многихъ изъ числа тѣхъ свѣтскихъ людей, въ кругу которыхъ приходится, наконецъ, очутиться князю Мышкину, онъ дѣйствительно представляется идіотомъ. Вся его любовь къ Настасьѣ Филипповнѣ, этой, въ сущности, той же, только съ роскошной обстановкой, Сонечкѣ, есть не болѣе, какъ жалость, принимаемая имъ за любовь (это напоминаетъ и любовь Раскольникова къ больной дочери своей квартирной хозяйки). Ему жалко ее, потому что она такъ много вынесла, жалко, что ее хотятъ сбыть на руки человѣку, который посредствомъ брака съ ней разсчитываетъ поправить свое состояніе. И вотъ князь, пользуясь внезапнымъ поправленіемъ своихъ обстоятельствъ, предлагаетъ ей свою руку. Но это не можетъ не вызвать въ ней, продолжающей, какъ всѣ личности Достоевскаго, чувствовать, во многихъ отношеніяхъ, по-человѣчески, это не можетъ не вызвать въ ней душевной борьбы, возпроизведенной у нашего автора съ его обычною психологическою глубиною. Она полюбила князя, въ него она только и вѣритъ, она хватается за него, чтобы поддержать въ себѣ вѣру и

вообще въ человѣческое достоинство, но она боится его погубить, ей совѣстно принять съ его стороны жертву—а ничѣмъ инымъ, кромѣ жертвы, не можетъ она объяснить его рѣшимость связать съ нею свою участь—отсюда въ ней безконечныя колебанія. Но возникающее затѣмъ чувство ревности къ другой, глубокое сознаніе униженія, которому ее подвергаетъ эта другая, желаніе ей отомстить—все это доводитъ Настасью Филипповну до того, что она рѣшается даже сама снова вызвать наружу, чтобы окончательно ею воспользоваться, ту жалость къ себѣ, которая принимается за любовь „идіотомъ". А тамъ опять мысль, что она его этимъ губитъ, а подъ вліяніемъ этой мысли бѣгство изъ-подъ вѣнца! Вотъ основная тема этого романа, и если бы однимъ развитіемъ ея и ограничился авторъ, онъ далъ бы намъ произведеніе, прекраснѣйшимъ образомъ дополняющее прекрасный рядъ его прежнихъ произведеній.

Прекрасенъ и взятый отдѣльно эпизодъ „Идіота", — разсказъ князя Мышкина о презираемой всѣми, за свой полуневольный грѣхъ, Мари, объ этой несчастной дѣвушкѣ, на которую даже пасторъ, проповѣдывающій на похоронахъ ея матери, считаетъ нужнымъ указать пальцемъ: „смотрите, это она ее довела до гроба". Подъ вліяніемъ старшихъ, и дѣти глумились надъ бѣдной Мари, возбуждающей состраданіе только въ „идіотѣ". Но ему удастся растолковать малюткамъ, какъ жестоко поступилъ пасторъ, какъ неугодно Богу такое обращеніе съ несчастной, какой грѣхъ съ ихъ стороны — издѣваться надъ ней. И вотъ, когда она умираетъ отъ быстро развившейся въ ней чахотки, тѣ-же дѣти украшаютъ ея гробъ цвѣтами и несутъ его на кладбище. Этотъ эпизодъ, по глубокой гуманности основной мысли, можетъ быть поставленъ наравнѣ съ разсказомъ гр. Л. Н. Толстого „*Люцернъ*", въ которомъ русскій путешественникъ пораженъ отношеніемъ свободныхъ швейцарскихъ гражданъ и не менѣе гордыхъ своими свободными учрежденіями туристовъ-англичанъ къ бѣдному странствующему музыканту: долго слушая его игру, они не даютъ ему ничего, а презрительно поглядываютъ на человѣка, который ввелъ его въ залу ресторана и гостепріимно его угощаетъ. Авторъ даетъ почувствовать, что и въ самой свободной странѣ возможно своего рода рабство передъ золотымъ тельцомъ и безчеловѣчная гордость

въ отношеніи къ людямъ, невзысканнымъ его милостью; т. е., что сами по себѣ никакіе либеральные кодексы еще не даютъ того настоящаго духа свободы и человѣчности, который долженъ прежде всего заключаться въ нравственномъ существѣ человѣка.

Совершенно также и Достоевскій, примѣромъ этого пастора, въ пылу религіозной ревности проповѣдующаго *ненависть* къ грѣшницѣ, указываетъ на то, что и живая религіозность не вычитывается изъ религіозныхъ кодексовъ (пасторъ-ли не перечиталъ ихъ вдоль и поперекъ, онъ-ли не обдумалъ всевозможныхъ проповѣдей на всѣ тексты!), а должна, такъ сказать, войти въ самый нравственный организмъ человѣка.

Къ сожалѣнію, этотъ прекрасный эпизодъ вставленъ Достоевскимъ въ романъ, въ которомъ слишкомъ много сторонъ, не соотвѣтствующихъ особенностямъ его таланта и мѣшающихъ впечатлѣнію, производимому основною личностью. Да и самая эта личность надѣлена, какъ и Разумихинъ, взглядами, не вытекающими непосредственно изъ ея существа. Авторъ заставляетъ своего князя Мышкина высказывать взгляды отчасти славянофильскіе, какъ впослѣдствіи ими же надѣлилъ онъ и Шатова въ „Бѣсахъ“. И этотъ послѣдній и „идіотъ“— славянофильствуютъ ради отпора, даваемаго самимъ авторомъ тѣмъ направленіямъ, которыя вычитаны изъ „чужихъ книжекъ“. Въ „Идіотѣ“ эти направленія являются какъ эпизодъ; въ „Бѣсахъ“ они занимаютъ уже самое видное мѣсто. Въ „Идіотѣ“ мы видимъ эти вычитанныя направленія только въ той молодежи, которая окружаетъ князя и думаетъ воспользоваться долей въ его наслѣдствѣ, опираясь на какое-то право; когда же это право оказывается совершенно мнимымъ, но князь самъ предлагаетъ имъ подѣлиться съ ними, — они съ чувствомъ собственнаго достоинства отвергаютъ то, къ чему сами стремились на основаніи вымышленнаго права. Изъ круга этой молодежи, отличающейся дикимъ смѣшеніемъ самыхъ разношерстныхъ понятій, особенно выдается чахоточный юноша Ипполитъ. Но онъ уже окончательно боленъ не только физически, но и нравственно. Вспомните повѣсть, которую написалъ онъ на прощанье съ людьми, это непонятное смѣшеніе симпатическихъ и религіозныхъ чувствъ съ мнѣніемъ, что человѣкъ долженъ думать только о себѣ, и что всякая благотворительность глупа и вредна. И эта дикая

смѣсь читается передъ тѣмъ моментомъ, когда Ипполитъ,— по давно составленному имъ плану, не дожидаясь столь уже не далекой смерти,—долженъ самъ себя лишить жизни; но самоубійство должно произойти отъ пистолета, въ которомъ не достаетъ капсюля! И неужели весь этотъ нравственный сумбуръ, весь этотъ рядъ аномалій объясняется только тѣмъ, что въ воздухѣ появились какія-то трихины и что наше юное поколѣніе ихъ наглоталось? *).

О. Миллеръ.

* * *

Въ „Идіотѣ" Достоевскій воспроизвелъ многое изъ своей собственной жизни. Вотъ что говорится въ его біографіи: **) „Въ разсказахъ „Идіота" о приговоренныхъ къ смерти, заключается цѣлая опытная психологія въ лицахъ въ связи съ религіозно-философскимъ вопросомъ о смертной казни. „Приготовленія тяжелы, разсказываетъ „Идіотъ". Вотъ когда объявляютъ приговоръ, снаряжаютъ, вяжутъ, на эшафотъ взводятъ, вотъ тутъ ужасно. Народъ сбѣгается, даже женщины". А въ другомъ мѣстѣ: „крикъ, шумъ, десять тысячъ лицъ, десять тысячъ глазъ—все это надо перенести", а главное мысль: вотъ ихъ десять тысячъ, а вотъ ихъ никого не казнятъ, а меня-то казнятъ!" Кто сказалъ, спрашиваетъ „Идіотъ", что человѣческая природа въ состояніи вынести это безъ сумасшествія? Зачѣмъ такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Можетъ быть, и есть такой человѣкъ, которому прочли приговоръ, дали помучиться, а потомъ сказали: „ступай, тебя прощаютъ!" Вотъ этакій человѣкъ, можетъ быть, могъ бы разсказать. Объ этой мукѣ и объ этомъ ужасѣ и Христосъ говорилъ. Нѣтъ, съ человѣкомъ такъ нельзя поступать". Въ другомъ разсказѣ „Идіотъ" говоритъ про человѣка, который „былъ разъ взведенъ, вмѣстѣ съ другими, на эшафотъ, и ему прочтенъ былъ приговоръ смертной казни разстрѣляніемъ за политическое преступленіе.

*) Въ слѣдующихъ своихъ изданіяхъ (см. „Русскіе писатели послѣ Гоголя", 1890 г. часть I, „Ѳ. М. Достоевскій", страница 164) О. Миллеръ нѣсколько измѣнилъ и дополнилъ приведенную критическую статью объ „Идіотѣ".

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Біографія, письма" и проч. (1-й т. Полн. собр. соч. Ѳ. М. Достоевскаго. Спб. 1883 г.).

Минутъ черезъ двадцать прочтено было помилованіе, и назначена другая степень наказанія; но однако же въ промежуткѣ между двумя приговорами двадцать минутъ или, по крайней мѣрѣ, четверть часа онъ прожилъ подъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что черезъ нѣсколько минутъ онъ умретъ... Шагахъ въ двадцати отъ эшафота, около котораго стоялъ народъ и солдаты, были врыты три столба; такъ какъ преступниковъ было нѣсколько человѣкъ. Троихъ первыхъ повели къ столбамъ, привязали, надѣли на нихъ смертный костюмъ... Затѣмъ противъ каждаго столба выстроилась команда изъ нѣсколькихъ человѣкъ солдатъ... Священникъ обошелъ всѣхъ съ крестомъ. Выходило, что остается жить минутъ пять, не больше. Онъ говорилъ, что эти пять минутъ казались ему безконечнымъ срокомъ, огромнымъ богатствомъ... Онъ умиралъ двадцати семи лѣтъ (тогдашній возрастъ самого Ѳедора Михайловича), прощаясь съ товарищами, онъ помнилъ, что одному изъ нихъ задалъ довольно посторонній вопросъ и даже очень заинтересовался отвѣтомъ. Потомъ... настали... двѣ минуты, которыя онъ отсчиталъ, чтобы *думать про себя*... ему все хотѣлось представить себѣ..., что вотъ какъ же это такъ: онъ теперь есть и живетъ, а черезъ три минуты будетъ уже *нѣчто*, кто-то или что-то— такъ кто же? гдѣ же?... Невдалекѣ была церковь, и вершина собора съ позолоченною крышей сверкала на яркомъ солнцѣ (церковь Семеновскаго полка хорошо видная съ плаца, о дѣйствіи которой на него въ то время Ѳ. М. разсказывалъ близкимъ). Онъ помнилъ, что ужасно упорно смотрѣлъ на эту крышу и на лучи, отъ нея сверкавшіе... ему казалось, что эти лучи его новая природа, что онъ черезъ три минуты какъ-нибудь сольется съ ними... Неизвѣстность и отвращеніе отъ этого новаго, которое будетъ и сейчасъ наступитъ, были ужасны... Что, если бы не умирать, что, если бы воворотить жизнь — какая безконечность! И все это было бы мое!... Эта мысль у него, наконецъ, въ такую злобу переродилась, что ужъ ему хотѣлось, чтобы его поскорѣе застрѣлили“.

Біографія, письма и проч.

* * *

*) Счастливъ писатель, ставшій любимцемъ публики. Каждая строка такого писателя цѣнится публикою такъ, какъ будто-бы она состоитъ не изъ словъ, а изъ чистѣйшихъ брилліантовъ, каждый разсказецъ его, будь онъ даже въ двѣ съ половиною странички, привлекаетъ къ себѣ общее вниманіе, возбуждаетъ толки и сопровождается похвалами. Все это пришло мнѣ на мысль по прочтеніи новаго разсказа г. Тургенева въ январьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника". Разсказъ этотъ называется „Исторія лейтенанта Ергунова", занимаетъ около двухъ печатныхъ листовъ и содержитъ въ себѣ исторію о томъ, какъ лейтенантъ былъ обобранъ мошенниками. Напиши писатель невѣдомый разсказъ на подобную тему, и ему не предавали бы никакого особеннаго значенія; но подъ „Исторіей" стоитъ всѣмъ дорогое имя Ив. С. Тургеневъ, и эта коротенькая, незатѣйливая исторія читается съ упоеніемъ и даже восторгами. Впрочемъ, только такой тонкій художникъ, какъ г. Тургеневъ, могъ изъ столь пустенькаго сюжета сдѣлать такую артистически-изящную литературную вещицу. „Идіотъ", романъ г. Достоевскаго, находящійся въ разсматриваемой нами книжкѣ „Вѣстника", представляетъ совершенную противуположность разсказу г. Тургенева. Г. Тургеневъ избралъ самый обыденный, простой сюжетъ и наполняетъ свой разсказъ подробностями дѣйствительности, описывая ее съ естественностью, умѣряемой теплымъ поэтическимъ чувствомъ. Г. Достоевскій, напротивъ, сразу бросаетъ своего героя (и вмѣстѣ съ нимъ читателя) въ кругъ сложной интриги и дѣлаетъ какъ этого героя, такъ и окружающихъ его лицъ въ нѣкоторомъ родѣ аномаліями среди обыкновенныхъ людей. Герой г. Достоевскаго молодой человѣкъ, князь Мышкинъ, четыре года лѣчившійся въ Швейцаріи отъ какой-то „нервной болѣзни, въ родѣ падучей или виттовой пляски", возвращается въ Петербургъ въ началѣ романа. Князь Мышкинъ не только бѣденъ, но, что называется, совершенный голякъ, пріѣзжаетъ онъ въ Сѣверную Пальмиру, никого въ оной не зная, не имѣя понятія о жизни ея обитателей, съ маленькимъ узелочкомъ, заключающимъ все его достояніе, и съ нѣкоторымъ остаткомъ идіотизма, не изгнаннаго лѣченіемъ за границей. Разумѣется, съ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1868 г., № 53. „Журналистка".
Статья Z. (В. П. Буренина).

такими данными въ Сѣверной Пальмирѣ играть какую-либо роль трудно; но авторъ „Идіота“, бодрствуя надъ княземъ, въ самый же день его пріѣзда вдругъ создаетъ ему такое положеніе, что онъ именно благодаря идіотизму получаетъ вліяніе на всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Еще на желѣзной дорогѣ Мышкинъ знакомится съ купеческимъ сыномъ Парѳеномъ Рогожинымъ, который пять недѣль назадъ „убѣгъ“ отъ родителей въ Псковъ, а теперь возвращается по смерти этого родителя принять милліонное наслѣдство. „Убѣгъ“ Парѳенъ отъ родителя потому, что, взявъ отъ него десять тысячъ, самовольно на нихъ купилъ въ англійскомъ магазинѣ „подвѣски“ и вручилъ эти подвѣски нѣкоей Настасьѣ Филипповнѣ, которую онъ видѣлъ только разъ въ театрѣ, и которая, не будучи камеліей (какъ впослѣдствіи оказывается), приняла ни съ того ни съ сего врученныя ей незнакомымъ купеческимъ сынкомъ подвѣски. Познакомившись съ Рогожинымъ, Мышкинъ отправляется къ генералу Епанчину, жена котораго приходится ему, Мышкину, дальняя родственница, какъ говорится, седьмая вода на киселѣ. Генералъ Епанчинъ человѣкъ солидный, дѣловой, капиталистъ, живетъ роскошно, съ семействомъ. Мышкинъ является къ нему, и еще въ передней генерала встрѣчаетъ нѣкоторыя препятствія относительно доступа къ послѣднему: лакей, узрѣвъ мизерность посѣтителя, разумѣется, сомнѣвается въ возможности принятія такого лица барономъ. Но тутъ начинается помощь идіотизма—князь вступаетъ въ бесѣду съ лакеемъ и вдругъ ни съ того ни съ другого принимается пространно ему проповѣдовать объ ужасѣ смертной казни. Лакей трогается тирадой князя, князь стяжаетъ его благосклонность, и его допускаютъ къ генералу. Тутъ князь обнаруживаетъ, во-первыхъ, простодушіе, во-вторыхъ — необыкновенный каллиграфическій почеркъ. Простодушіе князя дѣлаетъ то, что генералъ Епанчинъ, не стѣсняясь присутствіемъ человѣка, который явился къ нему въ первый разъ, начинаетъ съ своимъ секретаремъ-протеже бесѣдовать о Настасьѣ Филипповнѣ, на которой желаетъ женить одного секретаря и въ которую влюбленъ самъ. Мышкинъ ввязывается въ этотъ разговоръ, сообщаетъ о пріѣздѣ Парѳена Рогожина и разомъ вторгается въ интимныя дѣла Епанчина и секретаря его. Почеркъ князя производитъ такое впечатлѣніе на генерала, что онъ сейчасъ

же полагаетъ ему тридцать рублей жалованья и даже квартиру пріискиваетъ. Затѣмъ идіотическаго князя представляютъ генеральшѣ и тремъ ея дочерямъ-красавицамъ, и тутъ князь вполнѣ развертывается: онъ опять еще пространнѣе, чѣмъ камердинеру, повторяетъ свои мысли о смертной казни и затѣмъ ровно на *одиннадцати* страницахъ безъ отдыха ведетъ сантиментально-жалостный разсказъ о какой-то несчастной швейцарской дѣвицѣ, которая была презираема соотечественниками за преступную любовь и съ горя умерла. Разсказъ этотъ дѣлаетъ то, что Мышкинъ вдругъ пріобрѣтаетъ довѣріе семейства Епанчина, до того пріобрѣтаетъ его, что становится сейчасъ же, непосредственно за разсказомъ, посредникомъ сердечныхъ отношеній секретаря генерала и младшей генеральской дочери,—передаетъ письмо секретаря дѣвицѣ Епанчиной и словесный отвѣтъ сей послѣдней секретарю. Таковы суть происшествія первой части „Идіота". По истинѣ говоря, герой, едва выпрыгнувшій изъ вагона и вдругъ совершающій столько подвиговъ, чудесенъ, и потому разсказъ г. Достоевскаго имѣетъ характеръ нѣкоторой фантасмагоріи. Большаго покуда мы объ „Идіотѣ" ничего сказать не можемъ, ибо еще не прозрѣваемъ, къ чему ведетъ свой разсказъ авторъ, и что такое онъ желаетъ выразить въ своемъ романѣ. Прибавимъ только, что, несмотря на видимую неестественность событій, несмотря на обычную манеру г. Достоевскаго заставлять всѣхъ своихъ героевъ говорить на одинъ ладъ и безпрестанно повторять однѣ и тѣ же слова, первая часть читается необыкновенно легко и въ нѣкоторыхъ эпизодахъ ея чувствуется та сила и живость болѣзненныхъ представленій и образовъ, которою невольно затрогивается чувствительность нервныхъ читателей...

*) Идіотъ г. Достоевскаго, кажется, вполнѣ безнадеженъ. Я разсказывалъ читателямъ начало первой части этого страннаго романа; ея окончаніе, напечатанное теперь, еще болѣе курьезно.

Можете себѣ представить, что покуда вся первая часть (шестнадцать главъ) занята похожденіями идіота, князя Мышкина, въ первый день по пріѣздѣ его въ Петербургъ. Если читатели припомнятъ, этотъ князь уже довольно насовершилъ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1868 г., № 92. Продолженіе той-же статьи.

подвиговъ; но сколько онъ ихъ еще совершаетъ въ самое незначительное время, просто уму непостижимо. По моему мнѣнію, всякія разсужденія о фантастичности (чтобъ не сказать нелѣпости) событій и характеровъ первой части „Идіота“ излишни: прочтеніе ея убѣждаетъ въ этомъ краснорѣчивѣе доказательствъ и разсужденій. Герой, только что выпрыгнувшій изъ вагона, въ нѣсколько часовъ успѣваетъ свести знакомство съ десяткомъ лицъ, сдѣлаться повѣреннымъ интимныхъ отношеній людей, которые до встрѣчи съ нимъ не подозрѣвали его существованія, получить пощечину, влюбиться съ одного взгляда въ женщину, извѣстную ему только по разсказамъ, забраться къ ней безъ приглашенія на вечеръ, высказать ей тамъ свою любовь и даже предложеніе сдѣлать, даже сочувствія съ ея стороны добиться и, что называется, въ заключеніе спектакля, объявить публикѣ, что онъ получаетъ милліонное наслѣдство. Все это совершается при самыхъ необыкновенныхъ обстоятельствахъ и отношеніяхъ окружающихъ героя лицъ, — отношеніяхъ, въ которыхъ не добьешься ни смысла ни толку. Лица, группирующіяся вокругъ князя Мышкина, тоже если не идіоты, то какъ будто тронувшіеся субъекты. Тринадцатилѣтніе мальчики у г. Достоевскаго говорятъ не только какъ взрослые люди, но даже на манеръ публицистовъ, пишущихъ газетныя статьи, а взрослые люди, женщины и мущчины, бесѣдуютъ и поступаютъ, какъ десятилѣтніе ребята. Словомъ, романъ можно было бы не только идіотомъ назвать, но даже „Идіотами“: ошибки не оказалось бы въ подобномъ названіи. И еще еслибъ все это собраніе нелѣпыхъ лицъ, выдаваемыхъ авторомъ за дѣйствительные и даже интересные характеры, все это сплетеніе нелѣпыхъ событій, пришитыхъ живыми нитками одно къ другому, представлялось читателямъ ради какой-либо сердечной цѣли, тогда еще можно бы извинить неестественность и сказочность романа. Но г. Достоевскій, очевидно, никакой цѣли не имѣетъ, и набрасываетъ сцену за сценой для собственнаго удовольствія.

Въ авторѣ „Записокъ изъ мертваго дома“ прискорбнѣе, чѣмъ въ комъ-либо другомъ, видѣть подобную небрежность къ своему дарованію. Мнѣ недавно гдѣ-то случилось читать, что теперь у насъ именно прекрасное направленіе водворилось въ отечественной беллетристикѣ: каждый авторъ пи-

шетъ о чемъ ему заблагоразсудится, не соображаясь ни съ какими требованіями времени, не руководствуясь никакими тенденціями, задаваясь только одной идеей—высокимъ служеніемъ вдохновляющимъ его лица. По этой теоріи, чѣмъ разнообразнѣе и капризнѣе будутъ сюжеты, на которыхъ авторы потщатся обнаружить свое вдохновеніе, тѣмъ они милѣе для родного искусства. Одинъ, напримѣръ, авторъ задумаетъ изобразить въ трехтомномъ романѣ любовь Тугарина Зміевича къ какой-нибудь вдовѣ тѣхъ дней, когда этотъ герой существовалъ на бѣломъ свѣтѣ, изобразить со всѣми подробностями интимныя отношенія вдовы и Тугарина (на эту тему можно что-нибудь сочинить почище амурныхъ сценъ въ „Повѣтріи“ г. Авенаріуса). Другой сочинитъ пятиактную драму „Несчастіе отъ керосина“, въ которой изобразитъ съ поразительной истиною цѣлое семейство, погибающее въ пламени пожара, приключившагося, по видимому, не отъ чего иного, какъ по отсутствію на лампѣ „тушителя“ г. Кумберга, но тѣмъ не менѣе имѣющаго, по соображеніямъ автора, несомнѣнную связь съ нигилизмомъ и даже съ польскимъ возстаніемъ. Третій измыслитъ повѣсть, въ которой выставитъ страданія героя, преданнаго пороку, ужасныя послѣдствія котораго изображены были въ дни оные съ удивительною рельефностью докторомъ Тиссо и въ наше время изображаются не менѣе геніально петербургскимъ врачомъ г. Розенблюмомъ (спрашиваю, чѣмъ такой герой хуже „Идіота“?). Четвертый создастъ поэму: „Полоскающаяся утка“, въ которой великолѣпными стихами изобразитъ не только всю прелесть картины, представляемой полоскающеюся уткой, но даже обнаружитъ невѣроятно тонкій психологическій анализъ чувствъ этой почтенной птицы. Словомъ, сюжетовъ самыхъ курьезныхъ, самыхъ удобныхъ для написанія на нихъ произведеній, отличающихся единственно „чистымъ“ искусствомъ, и ничѣмъ болѣе, беллетристы и поэты могутъ прибрать бездну, и разнообразіе этихъ сюжетовъ по теоріи, о которой упоминалось выше, именно будетъ благомъ и добромъ для отечественной литературы и публики. Вотъ, читатель, до какихъ дней дожила наша беллетристика, на какой путь она уклоняется, и какія воззрѣнія въ ней начинаютъ проповѣдываться и примѣняться на практикѣ. Несмотря на примѣры лучшихъ современныхъ западныхъ романистовъ (Гуцкова,

Шпильгагена, Диккенса), которые отнюдь не пускаются въ безплодныя болѣзненныя и капризныя фантазіи, а придерживаются въ своихъ произведеніяхъ дѣйствительной почвы и общественныхъ вопросовъ, наши дарованія начинаютъ распѣвать кто въ лѣсъ, кто по дрова, и заниматься выдумками празднаго воображенія и вкуса...

*) Въ іюльской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ окончена вторая часть „Идіота“ г. Достоевскаго. Боже, чего только не насочинилъ г. Достоевскій въ этомъ, поистинѣ говоря, неудачнѣйшемъ изъ своихъ произведеній! Не знаю, какъ кому, а мнѣ этотъ романъ кажется очень прискорбнымъ: я вижу въ немъ беллетристическую компиляцію, составленную изъ множества нелѣпыхъ лицъ и событій, безъ всякой заботливости хотя о какой либо художнической задачѣ. Есть въ произведеніи г. Достоевскаго цѣлыя страницы *буквально непонятныя*. Укажемъ, напримѣръ, на ту главу, гдѣ разсказываются блужданія идіота по городу, передъ припадкомъ падучей болѣзни. Можетъ быть, въ описаніи тѣхъ дикихъ ощущеній, какія авторъ навязываетъ своему больному герою, много истины; но кто же можетъ оцѣнить эту истину, кому могутъ быть интересны эти патологическія ощущенія, кромѣ эпилептиковъ? Рѣшительно непонятно, какимъ образомъ можно посягать въ романѣ на изображеніе подобныхъ анормальныхъ явленій, не имѣя въ виду никакой морали, кромѣ отягощенія головы читателя анализомъ печальнаго и непривлекательнаго болѣзненнаго состоянія.

Особенно непріятно дѣйствуетъ въ романѣ г. Достоевскаго то, что онъ выводитъ на сцену большое количество лицъ молодого поколѣнія и почти всѣмъ этимъ лицамъ навязываетъ какіе-то искаженные изуродованные, если можно такъ выразиться, припадочные характеры. Молодежь, дѣйствующая въ „Идіотѣ“, это—какая-то клика, состоящая изъ раздраженныхъ нравственно субъектовъ. Всѣхъ этихъ молодыхъ людей корчитъ и коробитъ, кого отъ самолюбія, кого отъ низости собственной души, кого, наконецъ, просто отъ физическихъ недуговъ,—всѣ они говорятъ—точно бредятъ, всѣхъ ихъ авторъ романа заставляетъ дѣйствовать нервически—болѣзненно, съ тайной задней мыслью опозорить какія-то ихъ стремленія, очевидно, непріятныя автору.

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г., № 250 (продолженіе той-же статьи).

Если бъ хотя на одну минуту можно было вообразить себѣ, что подобные характеры взяты изъ дѣйствительности, то можно почувствовать не только сожалѣніе, но даже отвращеніе къ жизни, гдѣ юноши въ ранніе и лучшіе годы вырабатываютъ въ себѣ такія больныя, старчески-разслабленныя и растлѣнныя души; но такъ какъ всѣ помянутые характеры суть чистѣйшіе плоды субъективной фантазіи романиста, то, разумѣется, приходится только сожалѣть о несчастномъ настроеніи этой фантазіи.

Быть можетъ, мое впечатлѣніе ошибочно, и я бы желалъ убѣдиться въ этомъ, потому что мнѣ глубоко жаль видѣть дарованіе г. Достоевскаго, упражняющимся въ подборѣ каверзныхъ чувствъ и ощущеній, будто-бы присущихъ современнымъ юношамъ...

В. Буренинъ.

* * *

Анализируя изображенныхъ Достоевскимъ эпилептиковъ, г. В. Чижъ между прочимъ говоритъ:

„Несмотря на то, что, онъ (Мышкинъ) герой романа и ему посвящено много страницъ, во всемъ романѣ найдется лишь нѣсколько строкъ, драгоцѣнныхъ для психіатра: это описаніе эпилептической ауры. Субъективныя ощущенія момента, предшествующаго припадку, описаны и великимъ наблюдателемъ и большимъ художникомъ; конечно, субъективныя ощущенія бываютъ разнообразны, наконецъ, бываютъ припадки безо всякихъ субъективныхъ и объективныхъ предвѣстниковъ. Напрасно было бы искать у психіатровъ такого живого описанія, до сихъ поръ никто изъ геніальныхъ эпилептиковъ не познакомилъ насъ такъ краснорѣчиво со своею аурой. Я увѣренъ, что эти строки перейдутъ въ учебники психіатріи, только боюсь, что это будетъ еще не скоро: иностранные ученые еще незнакомы съ произведеніями Достоевскаго, а русскіе не привыкли уважать своихъ геніевъ. Вотъ какъ Достоевскій описываетъ эти субъективныя ощущенія: „Въ эпилептическомъ состояніи его была одна степень, почти передъ самымъ припадкомъ, когда вдругъ среди грусти, душевнаго мрака, томленія, мгновеніями какъ бы воспламенялся

„Достоевскій какъ психопатологъ“. М. 1885 г. и „Русск. Вѣстникъ“ 1884 г., № 5–6.

его мозгъ и съ необыкновеннымъ порывомъ напрягались разомъ всѣ его жизненныя силы. Ощущенія жизни, самосознанія, почти удесятерялись въ эти моменты, продолжавшіеся какъ молнія. Умъ, сердце озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ: всѣ волненія, всѣ сомнѣнія его, всѣ безпокойства какъ бы умиротворялись разомъ, разрѣшались въ какое-то высшее спокойствіе, полное ясной гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были только предчувствіемъ той окончательной секунды (никогда не болѣе секунды), съ которой начинался самый припадокъ. Эта секунда была, конечно, невыносима... Мгновенія эти были только необыкновеннымъ усиленіемъ самосознанія, если бы надо выразить это состояніе однимъ словомъ—самознанія и въ то же время самоощущенія въ высшей степени непосредственнаго“.

„Если въ ту секунду, то есть въ самый послѣдній сознательный моментъ передъ припадкомъ, ему случалось успѣвать ясно и сознательно сказать себѣ: „да, за этотъ моментъ можно отдать всю жизнь“, то, конечно, этотъ моментъ стоилъ жизни... Въ выводѣ, то-есть въ оцѣнкѣ этой минуты безъ сомнѣнія заключалась ошибка, но дѣйствительность ощущенія все-таки нѣсколько смущала его...“ „Минута ощущенія, припоминаемая и разсматриваемая уже въ здоровомъ состояніи, оказывается въ высшей степени гармоніей, красотой, даетъ неслыханное и нежданное дотолѣ чувство полноты, мѣры, примиренія и восторженнаго молитвеннаго сліянія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни...“ „Въ этотъ моментъ, какъ говорилъ онъ, становится понятнымъ необычайное слово о томъ, что времени больше не будетъ“. Едва ли нужно говорить, что въ *Идіотѣ* Достоевскій остался вѣренъ природѣ; князь Мышкинъ принадлежитъ къ той группѣ тяжело-больныхъ эпилептиковъ, у которыхъ съ ранняго дѣтства частые и подолгу продолжающіеся припадки ведутъ къ продолжительному и глубокому разстройству сознанія, въ особенности процесса воспріятія, такъ что этихъ больныхъ въ такомъ состояніи легко принять за идіотовъ. Но при правильномъ лѣченіи и уходѣ такіе больные иногда поправляются; припадки повторяются рѣже, дѣлаются короче, не сопровождаются послѣдовательнымъ разстройствомъ сознанія. Достоевскій только въ этомъ единственномъ случаѣ отдалъ должное практи-

ческой медицинѣ. Само собой разумѣется, что такой больной долженъ вести вполнѣ гигіеническій образъ жизни. Такая жизнь однако невозможна въ нашемъ обществѣ: припадки вернулись съ прежней силой, опять появилось разстройство сознанія, и Мышкинъ погибъ окончательно. Не знаю, умышленно или нѣтъ, но здѣсь Достоевскій высказалъ великую мысль; причина того, что полное излѣченіе бываетъ рѣдко, заключается не только въ неудовлетворительности практической медицины, но гораздо въ большей степени кроется въ самихъ условіяхъ жизни, въ полномъ пренебреженіи къ діэтикѣ мозга какъ со стороны окружающихъ, такъ и самихъ кандидатовъ на помѣшательство.

Сильнѣйшій драматизмъ этого романа, по моему мнѣнію, состоитъ въ томъ, что окружающіе Мышкина, люди до извѣстной степени образованные, расположенные къ нему и даже его любящіе, и не подумали поберечь его здоровье, а съ чистымъ сердцемъ невѣжества мало-по-малу довели его до неизлѣчимаго, тяжелаго помѣшательства: никто изъ этихъ невольныхъ убійцъ потомъ ни мало и не раскаивался; кто больше любилъ Мышкина, тотъ больше всѣхъ и повредилъ ему. Такимъ образомъ, главное содержаніе романа—это неумышленно систематическое убійство человѣка людьми, желавшими своей жертвѣ всего лучшаго. Чего же можно ожидать отъ людей менѣе расположенныхъ, отъ людей злыхъ! Нѣтъ, никакая медицина, какъ бы она совершенна ни была, не будетъ въ силахъ что-нибудь сдѣлать, пока не проникнутъ въ самое общество хотя бы элементарныя свѣдѣнія о гигіенѣ мозга...

Психіатры всѣхъ странъ единодушно говорятъ, что у эпилептиковъ часто наблюдается болѣзненная религіозность, переходящая въ ханжество (Мышкинъ крайне интересовался религіозными вопросами). Не слѣдуетъ забывать, что магометанская религія была создана эпилептикомъ; эпилептическія видѣнія Анны Ли послужили поводомъ основанія квакерской секты шекеровъ, Свенденборгъ былъ также эпилептикъ. Кажется, и Татаринова страдала эпилептическими припадками.

В. Чижъ.

„БѢСЫ".

(1871 г.*)

**) Въ образованіи гражданскихъ обществъ, какъ и во всякомъ историческомъ процессѣ, неизбѣженъ извѣстный осадокъ, въ которомъ скопляются единицы, выдѣляющіяся изъ общихъ формъ жизни, такъ точно, какъ въ химическомъ процессѣ осѣдаютъ на стѣнкахъ сосуда частицы, неспособныя къ химическому соединенію. Объемъ и злокачественность такого осадка обыкновенно увеличивается въ періоды общаго броженія, когда предложенныя къ рѣшенію задачи колеблютъ общественную массу и нарушаютъ спокойное равновѣсіе, въ которомъ она пребывала многіе годы. Въ такія эпохи, подъ видимыми, исторически образовавшимися общественными слоями, накопляется особый подпольный слой, обыкновенно враждебно расположенный къ устроившемуся надъ нимъ общественному организму, и во всякомъ случаѣ совершенно чуждый историческимъ формамъ жизни, подлѣ которой онъ накопился въ прахѣ, представляя собою патологическій наростъ на живомъ тѣлѣ.

Общественное подполье, о которомъ мы говоримъ, образуется не изъ какого-либо опредѣленнаго и однороднаго матеріала. Оно составляется изъ всѣхъ сословій: въ немъ сходятся люди всякаго разбора, зараженные недугомъ полуобразованія. „Полунаука, говоритъ авторъ соціальнаго романа, заглавіе котораго приведено нами впереди этой статьи, самый страшный бичъ человѣчества, хуже мора, голода и войны, неизвѣстный до нынѣшняго столѣтія. Полунаука — это де-

*) Первоначально помѣщенъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ" за 1871 г., въ книгахъ: 1—2, 4, 7, 9—12; и за 1872 г. въ книгахъ 11—12.

**) (А). В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ". „Русскій Вѣстникъ" 1873 г., № 8. Примѣч. В. Зелинскаго.

спотъ, какихъ еще не приходило никогда. Деспотъ, имѣющій своихъ жрецовъ и рабовъ, деспотъ, предъ которымъ все преклонилось съ любовью и съ суевѣріемъ, до сихъ поръ немыслимымъ, предъ которымъ трепещетъ даже сама наука и постыдно потакаетъ ему".

Полунаука, полуобразованность, есть именно та сила, которая выбрасываетъ изъ гармоніи жизни отдѣльныя единицы, и вмѣстѣ служитъ связующимъ звеномъ, объединяющимъ эти единицы въ форму общественнаго подполья. Чтобы разъ навсегда ясно опредѣлить предметъ нашей рѣчи, мы должны сказать, что подъ общественнымъ подпольемъ мы разумѣемъ именно *подполье нашей интеллигенціи*, наносный слой, созданный у насъ пролетаріатомъ полуобразованности и вербующій свой контингентъ среди осадковъ образованныхъ классовъ. Все, что потеряло связь съ установившимися формами жизни; что враждебно имъ, что не находитъ себѣ мѣста въ гармоніи историческаго порядка, уходитъ въ подполье, пронизываетъ народный организмъ злокачественными элементами, непримѣтно, но дѣятельно содѣйствующими его разложенію. У насъ, при извѣстной рыхлости нашего общественнаго порядка, выдѣленіе наноснаго слоя происходитъ внѣ всякихъ соціальныхъ причинъ, и есть всего чаще—простое искривленіе мысли, пораженной недугомъ полуобразованности. Нашъ умственный пролетаріатъ возникаетъ не изъ того, чтобъ обиліе интеллигентныхъ силъ превышало у насъ запросъ, предъявляемый на нихъ жизнью, а изъ внутренней несостоятельности нашего образованія. Такъ точно у насъ есть мѣстности, въ которыхъ рабочее сословіе поражено безысходною нищетою—не потому, чтобъ эти мѣстности страдали излишествомъ рабочихъ рукъ, но вслѣдствіе собственной несостоятельности рабочаго класса, пораженнаго отсутствіемъ трезвости, экономіи и образованія.

Въ этомъ смыслѣ, подполье нашей интеллигенціи есть явленіе вполнѣ патологическое, порожденное безпочвенностію нашей цивилизаціи отъ вчерашняго числа и язвою полуобразованности. Каждый новый моментъ нашего развитія отзывается глухимъ броженіемъ и нерѣдко приводитъ къ тѣмъ сатурналіямъ мысли, съ которыми намъ приходится знакомиться на страницахъ нашей уголовной лѣтописи, и которыя съ такою художественною глубиною раскрыты и изображены

во многихъ романахъ г. Достоевскаго. Самые дикіе силлогизмы, самыя уродливыя искаженія мысли и морали находятъ себѣ мѣсто въ этой больной средѣ, приводя мало-по-малу къ окончательному извращенію ума и человѣческой природы...

Писатель, котораго мы назвали и послѣднему произведенію котораго предполагаемъ посвятить эту статью, по свойствамъ своего оригинальнаго таланта особенно чутокъ къ этимъ болѣзнямъ ума, къ этимъ психическимъ недугамъ нашего страннаго времени. Подпольный міръ интеллигенціи нашелъ въ немъ своего сатирика-поэта, соединившаго глубину наблюдающей и анализующей мысли съ замѣчательною силою художественнаго изображенія. Никому изъ нашихъ беллетристовъ не близокъ до такой степени этотъ уклонившійся отъ нормальныхъ путей жизни міръ нашего общественнаго подполья, эти больныя натуры, которыхъ, по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа *Бѣсы*, „съѣла идея“, и которые съ своимъ психическимъ недугомъ стоятъ на чертѣ, отдѣляющей здороваго человѣка отъ помѣшаннаго. Душевная патологія этой категоріи людей изучена г. Достоевскимъ въ совершенствѣ и составляетъ ему одному принадлежащую область въ нашей беллетристикѣ, его литературную собственность. Свойства таланта этого писателя таковы, что нормальная, здоровая жизнь, ежедневная дѣйствительность, обыкновенно исчезаютъ изъ сферы его наблюденій, заслоняясь изображеніями и анализомъ ненормальныхъ явленій, въ чемъ онъ особенно силенъ. Талантъ такого рода долженъ чувствовать себя совершенно въ своей области, какъ скоро онъ спускается въ наше умственное подполье, куда почти не проникаетъ ясный дневной свѣтъ, гдѣ всѣ предметы представляются при блѣдномъ, искусственномъ, полуфантастическомъ освѣщеніи. Особенная нервность и лихорадочность, присущая таланту г. Достоевскаго, какъ нельзя болѣе гармонируетъ съ искаженностью этой жизни. Свою силу въ этой совершенно особенной области г. Достоевскій обнаружилъ еще въ романѣ „*Преступленіе и Наказаніе*“, прочитанномъ всей Россіей и стоящемъ совершенно уединенно въ нашей литературѣ. Мастерское и полное глубины изображеніе нравственнаго недуга, приводящаго героя этого романа къ безсмысленному преступленію, которое онъ впослѣдствіи искупаетъ раскаяніемъ и возрождается къ новой жизни—обнаружило въ авторѣ особенную чуткость къ

болѣзненнымъ явленіямъ духа, носящимся въ воздухѣ, какъ бы въ видѣ какой-то новой эпидеміи и поражающимъ слабые субъекты недугомъ тенденціознаго помѣшательства.

Въ романѣ „Бѣсы“ г. Достоевскій раздвинулъ рамки своихъ наблюденій, и отъ анализа больной человѣческой натуры перешелъ къ анализу больного общества, обобщая патологическія явленія до степени *болѣзни вѣка*. Идея романа „Бѣсы“ прозрачно выразилась въ знаменательномъ эпиграфѣ, взятомъ авторомъ изъ Евангелія отъ Луки... Идея эта приводитъ романъ въ связь съ общимъ направленіемъ нашей современной беллетристики, задавшейся разработкою общественныхъ темъ и изученіемъ нашего положенія съ отрицательной стороны его... Мы уже разсмотрѣли рядъ произведеній общественнаго характера, принадлежащихъ перу г. Писемскаго, и видѣли, какъ полно и живо отразилась въ нихъ одна изъ отрицательныхъ сторонъ нашего положенія. Романъ „Бѣсы“ исчерпываетъ другую сторону той-же литературно-общественной задачи. „Всѣ язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи“—это въ сущности почти то же, что „вся ложь русской жизни“, отразившаяся въ „*Взбаламученномъ морѣ*“ и въ позднѣйшихъ произведеніяхъ г. Писемскаго. Но талантъ г. Достоевскаго, въ извѣстномъ смыслѣ, прямо противоположный таланту г. Писемскаго, подошелъ къ предмету своей художественной сатиры съ совершенно другой стороны. Для такого крайняго реалиста, каковъ авторъ „*Тысячи душъ*“ и „*Взбаламученнаго моря*“, ложь современной русской жизни, или, лучше сказать, движенія, охватившаго наше общество съ шестидесятыхъ годовъ, представилась въ практическихъ отклоненіяхъ отъ здраваго смысла и морали, и эти отклоненія онъ воспроизвелъ въ живыхъ, реальныхъ типахъ, взятыхъ имъ въ ихъ житейскихъ столкновеніяхъ. Г. Достоевскій, съ его способностью наблюдать и анализовать преимущественно болѣзненныя явленія человѣческой души, задался выслѣдить роковое вліяніе новыхъ идей на слабый умъ и тѣ нравственныя изъязвленія, какія извращеніе этихъ идей производитъ въ жалкихъ, внутренно несостоятельныхъ натурахъ, пораженныхъ безсиліемъ и безплодіемъ полуобразованности. Его романъ представляетъ полное изученіе любопытнаго психологическаго вопроса, поставленнаго въ связи съ

нашимъ соціальнымъ положеніемъ и со всею суммою нравственныхъ недуговъ, которыми заражена извѣстная часть нашего общества.

Фабула романа „Бѣсы“ отчасти какъ будто позаимствована изъ пресловутаго Нечаевскаго дѣла. Оговоримся, что для цѣли, предположенной нами въ настоящей статьѣ, это обстоятельство не имѣетъ никакого значенія. Авторъ воспользовался своимъ матеріаломъ совершенно художественно, взявъ изъ него то, что подходило къ его литературной задачѣ, и обработалъ эти крупныя детали сообразно идеѣ и плану своего произведенія. Выборъ фабулы былъ, конечно, подсказанъ ему тою очевидностью, въ какой Нечаевское дѣло представлялось самымъ характернымъ дѣломъ нашего подполья, наиболѣе отразившимъ на себѣ роковыя искаженія мысли и человѣческой натуры и всѣ симптомы нравственнаго недуга, которымъ пораженъ этотъ темный міръ. Нечаевцы, безъ сомнѣнія, цѣликомъ шли изъ подполья нашей интеллигенціи, и могутъ быть признаны самыми яркими его представителями, по крайней мѣрѣ, въ тотъ періодъ его существованія, въ какомъ оно было застигнуто судебнымъ процессомъ... Среда эта еще очень мало разработана нашею литературой, и г. Достоевскій едва ли не первый обособилъ ее въ своихъ наблюденіяхъ и изучилъ ее въ той замкнутости, въ томъ уединеніи среди волнующейся кругомъ ея обыденной, практической жизни, которая и составляетъ главную особенность этого общественнаго слоя. Задача была не легкая; только углубляясь вмѣстѣ съ авторомъ въ темныя дебри этого подполья, чувствуешь, сколько трудностей приходилось преодолѣть, чтобы помощью художественнаго освѣщенія заставить выступить изъ мрака самыя темныя извилины этого подпольнаго міра. Сначала странныя, неестественныя краски, которыми авторъ рисуетъ избранную имъ среду, криволинейность изображеній, рѣзкіе тоны, напоминающіе фантасмагорію—ставятъ читателя въ нѣкоторое недоумѣніе. Кажется, будто авторъ ошибкою взялъ фальшивый тонъ и опасается за правильность раздвигающейся дальше и дальше перспективы. Но чѣмъ болѣе подвигается дѣйствіе романа, чѣмъ болѣе накопляется на полотнѣ самыхъ удивительныхъ красокъ и контуровъ, тѣмъ яснѣе начинаешь сознавать, что въ этомъ случаѣ сама жизнь, въ ея подпольныхъ извилинахъ, нарядилась въ противоесте-

ственныя краски и изломала свои нормальные пути и очертанія. Мало-по-малу убѣждаешься, что тонъ дѣйствительно взятъ нестерпимо-фальшиво, но не въ романѣ, а въ самой жизни, выступившей изъ своихъ законныхъ формъ и безмѣрно удалившейся отъ своего обычнаго русла. Чувствуешь все безобразіе этой жизни, все уродство этихъ недужныхъ, нравственно-искалѣченныхъ организацій, и сознаешь, что тѣмъ не менѣе авторъ изображаетъ дѣйствительность подпольную.

Главный характеристическій признакъ этой среды, даже вся ея суть заключается, мы сказали, въ ея совершенномъ удаленіи отъ нормальныхъ путей жизни. Въ кружкѣ, который описываетъ авторъ, собрались единицы изъ самыхъ различныхъ общественныхъ слоевъ: тутъ и сынъ аристократки Варвары Петровны, и сынокъ Степана Трофимовича, и вышедшій изъ крѣпостного званія Шатовъ, и инженеръ Кирилловъ, и отставной капитанъ Лебядкинъ, и молоденькій офицерикъ Эркель, и неизвѣстно изъ какого званія и состоянія вышедшіе Толкаченко, Шигалевъ, Виргинскій. Но есть нѣчто общее, родовое, родящее ихъ всѣхъ до такой степени, что даже всѣ они говорятъ почти однимъ и тѣмъ-же языкомъ, именно языкомъ полуобразованнаго подполья, какимъ, кромѣ ихъ, не говоритъ ни одинъ живой человѣкъ. Эта, повидимому, второстепенная черта составляетъ однако весьма существенный признакъ этой среды, и очень послѣдовательно выдержана авторомъ. Только въ сторонѣ отъ дѣйствительной жизни, въ полуобразованномъ захолустьѣ, внѣ всякихъ общественныхъ связей и соприкосновеній, могъ выработаться этотъ жаргонъ, отчасти носящій на себѣ отпечатокъ нѣкотораго, впрочемъ, весьма умѣреннаго, обращенія съ книжной литературой, и въ то же время своею грамматическою неряшливостью какъ бы выражающій величавое презрѣніе подпольной среды къ выработаннымъ формамъ... русскаго синтаксиса. Совершенная непривычка къ такъ-называемому обществу выразилась въ этой чертѣ такъ же рельефно, какъ и во всемъ складѣ подпольнаго міросозерцанія и житья-бытья. Синтаксическая неряшливость подпольнаго языка чувствуется даже самими обитателями подполья, такъ что они безпрестанно поправляютъ другъ друга въ разговорахъ, подсказываютъ выраженія—какъ бы не сознавая, что поправившій одно нелѣ-

пое выраженіе за минуту предъ тѣмъ сказалъ другое, столь же нелѣпое. Разъ одинъ изъ индивидуумовъ этого кружка даже спросилъ другого, Кириллова: не оттого-ли онъ такъ странно выражается, что долго жилъ за границей?—И Кирилловъ, удивленный такимъ вопросомъ, отвѣчаетъ въ раздумьи: „нѣтъ, не потому, что за границей. Я всегда такъ; я привыкъ“. А задавшій такой вопросъ и не подозрѣваетъ, что самъ онъ выражается ничуть не лучше Кириллова. Эта особенность подпольнаго языка, нестрящаго всѣ страницы романа и вредящая индивидуальности дѣйствующихъ лицъ, нагоняетъ на читателя значительную скуку; но вмѣстѣ съ тѣмъ она много помогаетъ тому почувствованью изображенной среды, которое непремѣнно выносится изъ романа. Среда эта тѣмъ и отличается, что, при неизбѣжномъ различіи характеровъ, удаленіе ихъ отъ обычныхъ нормъ жизни кладетъ на всѣхъ чрезвычайно яркій специфическій отпечатокъ.

Въ неряшливости рѣчи отпечатывается не только неряшливость мысли, но и весь практическій складъ жизни. Въ самомъ дѣлѣ, трудно даже въ низшихъ подонкахъ человѣческаго общества найти столько нравственнаго и житейскаго разгильдяйства, сколько заключается его въ жизни и нравахъ интеллигентнаго подполья. Эта дикая богема, раскинувшая свой шатеръ на стогнахъ губернскаго города, чуждается самыхъ элементарныхъ законовъ общежитія. Потасовки и пощечины сопровождаютъ чуть не каждую встрѣчу членовъ этого союза, при чемъ получившій оплеуху и давшій ее смотрятъ на эту маленькую случайность такъ точно, какъ если бъ одинъ изъ нихъ высморкался въ носовой платокъ. Они говорятъ другъ другу „мерзавецъ“ и „подлецъ“ такъ же спокойно, какъ другіе говорятъ „здравствуйте“; но при этомъ щепетильны и обидчивы до послѣдней степени, и въ душѣ страстно ненавидятъ и презираютъ другъ друга. Они ведутъ самую свинскую жизнь, съ какимъ-то сладострастіемъ погружаясь въ грязь, которой не только не замѣчаютъ, но скорѣе даже находятъ въ ней „новую, вчера лишь открытую красоту“. Тѣ изъ нихъ, которые по своему происхожденію принадлежатъ къ болѣе порядочному обществу, почти съ наслажденіемъ и словами и поступками стараются доказать, что разорвали всякую связь съ этимъ обществомъ, и ежеминутно какъ бы хвастаютъ своимъ переселеніемъ изъ болѣе верхнихъ ярусовъ въ под-

полье. И они правы, потому что въ той зараженной средѣ, въ которой и ради которой они дѣйствуютъ, нравственное и общественное паденіе человѣка привѣтствуется какъ величайшее торжество надъ историческими предразсудками. Эти недужныя организаціи находятъ какое-то сладострастное наслажденіе въ попраніи всего того, что выше заурядного, плоскаго уровня. Грязь выступаетъ поразительнѣе, когда ея касаются бѣлыя руки. „Ставрогинъ, вы красавецъ!“ восклицаетъ въ *Бѣсахъ* молодой Верховенскій въ какомъ-то упоеніи: „знаете-ли, что вы красавецъ! Въ васъ всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я васъ изучилъ: я на васъ часто сбоку, изъ-за угла гляжу! Въ васъ даже есть простодушіе и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно-быть, страдаете и страдаете искренно отъ того простодушія. Я люблю красоту, я нигилистъ, но люблю красоту. Развѣ нигилисты красоту не любятъ? Они только идоловъ не любятъ, ну, а я люблю идола! Вы мой идолъ! Вы никого не оскорбляете, и васъ всѣ ненавидятъ; вы смотрите всѣмъ ровней, и васъ всѣ боятся, это хорошо. Къ вамъ никто не подойдетъ васъ потрепать по плечу. Вы ужасный аристократъ. *Аристократъ, когда идетъ въ демократію, обаятеленъ!*“ Такъ устами одного изъ своихъ героевъ авторъ высказываетъ чрезвычайно тонко подмѣченную черту—одинъ изъ тѣхъ позорныхъ инстинктовъ развращенной природы, который играетъ не послѣднюю роль въ сцѣпленіи человѣческихъ единицъ, населяющихъ подполье... Въ другомъ мѣстѣ авторъ еще яснѣе заставляетъ звучать этотъ самый мотивъ въ психологической гаммѣ, которую онъ разыгрываетъ въ своемъ романѣ. „Правда-ли, что вы, спрашиваетъ Шатовъ у Ставрогина, принадлежали въ Петербургѣ къ скотскому сладострастному секретному обществу? Правда-ли, что маркизъ-де-Садъ могъ-бы у васъ поучиться? Правда-ли, что вы заманивали и развращали дѣтей?... Правда-ли, будто вы увѣряли, что не знаете различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастной звѣрской штукой и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы даже жертвою жизни для человѣчества? Правда-ли, что вы въ обоихъ полюсахъ нашли совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія?“ Шатовъ переходитъ затѣмъ къ женитьбѣ Ставрогина на полоумной, хромой сестрѣ капитана Лебядкина: „Знаете ли, почему вы тогда женились

такъ позорно и подло? Именно потому, что тутъ позоръ и безсмыслица доходили до геніальности! О, вы не бродите съ краю, а смѣло летите внизъ головою. Вы женились по страсти къ угрызеніямъ совѣсти, по сладострастію нравственному. Тутъ былъ первый надрывъ... Вызовъ здравому смыслу былъ уже слишкомъ прельстителенъ! Ставрогинъ и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастіе? чувствовали? Праздный, шатающійся барченокъ, чувствовали?“ Если бы порокъ въ его обыкновенной формѣ былъ исключительною дѣйствующею силою въ этихъ подпольныхъ натурахъ, если бы грязь, въ которой они копошатся съ какимъ-то почти сладострастнымъ упоеніемъ, была результатомъ нищенства, этотъ подпольный міръ мало отличался бы отъ обыкновенныхъ трущобъ, въ какихъ скопляются отребья человѣческаго общества. Но это особый продуктъ нравственнаго и умственнаго недуга, который и есть настоящій герой романа. Не Ставрогинъ, не Верховенскій, не Шатовъ и не Кирилловъ выражаютъ собою идею послѣдняго произведенія г. Достоевскаго. Настоящій герой его есть, какъ мы сказали, психическая гангрена, заразившая весь этотъ подпольный муравейникъ, всѣ эти недужныя организаціи. Еще въ романѣ *„Преступленіе и Наказаніе“* Раскольниковъ убиваетъ и грабитъ старуху не для того, чтобы на разграбленныя деньги доставить себѣ извѣстную сумму личныхъ удовольствій, матеріальнаго комфорта; онъ совершаетъ преступленіе потому, что мечтаетъ осуществить этимъ способомъ идею общаго блага, потому что эта *идея съѣла его*— какъ выражается одно дѣйствующее лицо въ новомъ романѣ того же автора. Въ этомъ смыслѣ Раскольниковъ есть истинный родоначальникъ Шатовыхъ, Кирилловыхъ, Шигалевыхъ, всѣхъ этихъ малыхъ бѣсовъ, свившихъ свое гнѣздо подлѣ стараго бѣса, Степана Трофимовича. Ихъ всѣхъ *съѣла идея*, и про каждаго изъ нихъ можно сказать то самое, что сказано авторомъ про Шатова: „Это было одно изъ тѣхъ идеальныхъ русскихъ существъ, которыхъ вдругъ поразитъ какая-нибудь сильная идея, и тутъ же разомъ точно придавитъ ихъ собою, иногда даже навѣки. Справиться съ нею они никогда не въ силахъ, а увѣруютъ страстно, и вотъ вся жизнь ихъ проходитъ потомъ какъ бы въ послѣднихъ корчахъ подъ свалившимся на нихъ и на половину совсѣмъ уже раздавившимъ

ихъ камнемъ.“ Эти-то корчи подъ раздавившею ихъ „идеею“ и производятъ ту изумительную умственную и нравственную сатурналію, которая составляетъ внутреннее содержаніе романа, и всѣ эти Ставрогины, Верховенскіе, Кирилловы, Шигалевы—постоянно носятся съ извѣстной идеей, пребываютъ въ непрерывномъ процессѣ умственной работы, въ страстномъ напряженіи мысли, приводящемъ однихъ къ умопомѣшательству, другихъ къ отвратительному преступленію. Что-то, когда-то, очень давно запало въ ихъ мозгъ и безпрерывно дѣйствуетъ тамъ и держитъ ихъ въ состояніи умственной придавленности. У Кириллова эта напряженная, изнурительная возня съ идеей приводитъ къ нелѣпѣйшей философской системѣ; у Шигалева она создаетъ соціально-политическую теорію, требующую для своего осуществленія милліонъ голосовъ; Ставрогина и Верховенскаго она бросаетъ въ сладострастіе разврата, низводитъ ихъ на ту послѣднюю ступень скотства, когда въ человѣкѣ пробуждается совершенно животная жажда крови; Шатова она совершенно измочаливаетъ, превращаетъ въ глубоко несчастное существо, одичавшее и человѣко-ненавидящее, и вмѣстѣ способное растаять отъ малѣйшей ласки. Предъ читателемъ проходитъ рядъ лицъ, въ одинаковой степени сдѣлавшихся жертвою непосильной умственной задачи, фанатиковъ идеи, кривыми путями внѣдрившейся въ слабосильный мозгъ. Читатель какъ бы присутствуетъ въ клиникѣ нравственныхъ и душевныхъ болѣзней и читаетъ надъ изголовьями паціентовъ ихъ скорбные листы.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Можно съ различныхъ точекъ зрѣнія различно классифицировать многочисленныя дѣйствующія лица романа г. Достоевскаго. Но я попробую раздѣлить ихъ на нѣсколько категорій съ точки зрѣнія отношенія къ нимъ г. Достоевскаго, *какъ писателя,* при чемъ и выяснятся особенности его таланта.

Мы найдемъ въ „Бѣсахъ“, во-первыхъ, нѣсколько фигуръ, сдѣланныхъ очень топорно и вовсе г. Достоевскому не принадлежащихъ. Это молодые люди, говорящіе: „нынче нѣтъ

*) Н. Михайловскій. „Литературная и журнальная замѣтки“. („Отеч. Зап.“ 1873 г., № 2) и „Сочиненія Н. К. Михайловскаго“, т. II, Спб. 1881 г.

привидѣній, а естественныя науки“, дѣвушки, разъѣзжающія изъ города въ городъ, „чтобы заявить о страданіяхъ несчастныхъ студентовъ и возбудить ихъ повсемѣстно къ протесту“, и т. п. Эти шаблонные образы, играющіе въ романѣ послѣднюю роль, авторомъ не продуманы и не прочувствованы, и взяты на прокатъ у гг. Стебницкихъ и Ключниковыхъ. Нѣкоторое исключеніе, впрочемъ, составляютъ болѣе или менѣе самостоятельно отдѣланныя и потому болѣе или менѣе человѣкообразныя фигуры женъ Шатова и Виргинскаго. Всю эту группу г. Достоевскій окрещиваетъ именемъ „идеи, попавшей на улицу“.

Затѣмъ идетъ рядъ образовъ, принадлежащихъ г. Достоевскому наравнѣ съ другими русскими беллетристами. Они, разумѣется, очень разнообразны по поэтической концепціи, по своей нравственной идеѣ, по роли, занимаемой ими въ романѣ и проч. Но я ихъ ставлю въ одну категорію потому, что всѣмъ имъ можно подыскать параллели въ произведеніяхъ другихъ нашихъ романистовъ, и всѣ они въ то-же время суть самостоятельныя созданія г. Достоевскаго. Напримѣръ, типъ идеалиста сороковыхъ годовъ эксплуатировался у насъ весьма часто. Г. Достоевскій беретъ его, но беретъ съ нѣкоторыхъ новыхъ сторонъ и потому придаетъ ему свѣжесть и оригинальность, несмотря на избитость темы. Большая часть лицъ этой второй категоріи въ „Бѣсахъ“ удачны, а нѣкоторыя даже превосходны. Если прекрасныя фигуры упомянутаго идеалиста сороковыхъ годовъ, Степана Трофимовича Верховенскаго, и знаменитаго русскаго писателя Кармазинова, читающаго свой прощальный разсказъ Mersi,—впадаютъ мѣстами въ шаржъ, то фигуры супруговъ Лембке положительно безупречны.

Третья категорія лицъ для насъ самая интересная. Здѣсь группируются образы, составляющіе въ русской литературѣ исключительную собственность г. Достоевскаго. Такихъ довольно много въ „Бѣсахъ“: Ставрогинъ, Шатовъ, Петръ Верховенскій, Кирилловъ, Шигалевъ. Общее между этими лицами то, что всѣ они находятся на границѣ нормальнаго и ненормальнаго состоянія духа. Всѣ они ведутъ странный образъ жизни, всѣ высказываютъ странныя мысли. Весьма важно однако замѣтить, что это не сумасшедшіе. Г. Достоевскій любитъ иногда рисовать и такихъ. Такъ, въ „Бѣсахъ“ есть

намеки на временное умопомѣшательство Ставрогина; есть сумасшедшая Лебядкина-Ставрогина; есть сходящій на глазахъ читателя съ ума Лембке. Но не въ этомъ состоитъ спеціальность г. Достоевскаго. Его любимые герои держатся на границѣ ума и безумія, нормальнаго и ненормальнаго состоянія воли. Это или люди, находящіеся въ сильно возбужденномъ состояніи, или мономаны, имѣющіе возможность сочинять и проповѣдывать весьма замысловатыя теоріи...

Несмотря на свою наклонность къ изображенію безумія, г. Достоевскій рѣдко рисуетъ его только какъ процессъ. Въ большинствѣ случаевъ онъ рѣшаетъ при помощи своихъ психіатрическихъ субъектовъ какую-нибудь нравственную задачу, и большею частію придаетъ рѣшенію мистическій характеръ. Онъ, если позволена будетъ нѣкоторая восточность метафоры, разыгрываетъ на струнахъ душевной болѣзни нравственно-политическіе мотивы. Въ „Бѣсахъ", какъ и въ „Преступленіи и Наказаніи", какъ, сколько помнится, и въ „Идіотѣ", онъ устраиваетъ цѣлые оркестры такого рода. Онъ дѣлаетъ это двояко. Либо онъ беретъ какой-нибудь психологическій мотивъ, напр., чувство грѣха и жажду искупленія (мотивъ его особенно интересующій) и заставляетъ его дѣйствовать въ образѣ. Вы видите, напр., что человѣкъ согрѣшилъ, его мучаетъ совѣсть, онъ налагаетъ наконецъ на себя какую-нибудь эпитимію, и тѣмъ достигаетъ душевнаго спокойствія. Это одинъ пріемъ. Онъ былъ примѣненъ г. Достоевскимъ въ „Преступленіи и Наказаніи". Въ „Бѣсахъ" неудачную попытку этого рода представляетъ Ставрогинъ. Другой пріемъ состоитъ въ томъ, что измученному душевною болѣзнію человѣку влагается въ уста извѣстное разрѣшеніе какого-нибудь нравственнаго вопроса. Въ „Бѣсахъ", къ сожалѣнію, преобладаетъ второй пріемъ. Говорю: къ сожалѣнію, потому что пріемъ этотъ, очевидно, невыгоденъ въ художественномъ отношеніи. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ послѣдняго романа г. Достоевскаго говоритъ: „не я съѣлъ свою идею, а моя идея меня съѣла". Это могли бы сказать о себѣ весьма многіе герои г. Достоевскаго. И это типъ, безъ сомнѣнія, интересный и поучительный. Но одно дѣло показать его какъ типъ, какъ живой образъ, на глазахъ читателя дѣйствительно пожираемый своею идеею. И другое дѣло заставить человѣка безъ устали проповѣдывать при-

шитую къ нему идею. А таковы большею частію герои „Бѣсовъ“ (я разумѣю героевъ третьей категоріи, излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго). Они пожираются своею идеею въ совершенно другомъ смыслѣ. Дѣло въ томъ, что у г. Достоевскаго такой громадный запасъ эксцентрическихъ идей, что онъ просто давитъ ими своихъ героевъ. Въ этомъ отношеніи его можно сравнить съ Бальзакомъ... Герои г. Достоевскаго, давимые идеями, по необходимости блѣдны, блѣднѣе, по крайней мѣрѣ, чѣмъ они могли бы быть нарисованы рукою такого мастера. И въ „Бѣсахъ“ они особенно блѣдны, здѣсь нѣтъ ни одного образа, равнаго въ художественномъ отношеніи фигурамъ Раскольникова, Свидригайлова въ „Преступленіи и Наказаніи“. Недуренъ пожалуй Шигалевъ, но онъ, во-первыхъ, стоитъ въ самомъ заднемъ углу, во-вторыхъ, не развертываетъ своей идеи вполнѣ, а только показываетъ одинъ край ея, такъ что не успѣваетъ быть ею придавленнымъ. Вообще же, вмѣсто образовъ *людей, придавленныхъ своими идеями*, въ „Бѣсахъ“ фигурируютъ *образы, придавленные идеями, обязательно изобрѣтенными для нихъ авторомъ.*

Позволивъ себѣ эти бѣглыя эстетическія замѣчанія, перейдемъ къ самымъ идеямъ. Хорошо или дурно изображены извѣстные типы, но надо еще знать, умѣстно ли ихъ изображеніе. Надо знать, съ кого г. Достоевскій портреты эти писалъ и гдѣ разговоры эти слышалъ.

Въ „Бѣсахъ“ разсказывается исторія, по внѣшнему ходу событій и обстановкѣ поразительно сходная съ такъ называемымъ Нечаевскимъ дѣломъ. Есть тутъ вожакъ, Верховенскій (сынъ), устраивающій тайное общество посредствомъ цѣлаго ряда обмановъ. Онъ водитъ всѣхъ за носъ какимъ-то центральнымъ революціоннымъ комитетомъ, связями съ международнымъ обществомъ рабочихъ; виршами, будто бы въ честь его, „студента“, написанными *Герценомъ*. Есть поддѣльный ревизоръ, присутствующій съ записной книжкой на засѣданіяхъ кружка. Есть студентъ Шатовъ, постоянно враждующій съ вожакомъ Верховенскимъ. Есть сцена убійства Шатова, котораго заманиваютъ въ гротъ въ паркѣ и тамъ сначала пристрѣливаютъ, а потомъ топятъ. Есть нѣкто Толкаченко, „странная личность, человѣкъ уже лѣтъ сорока и славившійся огромнымъ изученіемъ народа, преимущественно мошенниковъ и разбойниковъ, ходившій нарочно по кабакамъ,

впрочемъ, не для одного изученія народнаго". И проч., и пр., и пр. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ романистъ точно задался мыслію не отступать отъ свѣдѣній, добытыхъ слѣдствіемъ и судомъ по Нечаевскому дѣлу. Такъ, наприм., отношенія, существовавшія между Нечаевымъ и Ивановымъ, не выяснены. Неизвѣстнымъ и до сихъ поръ остается, хотѣлъ ли Ивановъ сдѣлать доносъ, или онъ въ томъ только подозрѣвался, или наконецъ Ивановъ совсѣмъ по другимъ причинамъ мѣшалъ Нечаеву. Такъ дѣло стоитъ и у г. Достоевскаго. Отношенія Шатова и Верховенскаго весьма неясны: авторъ не позволилъ себѣ ни на волосъ отступать не то что отъ описываемой имъ дѣйствительности, а даже отъ дѣйствительности, какъ она выяснилась слѣдствіемъ и судомъ. Естественное дѣло, что если важная часть булы романа взята изъ современной и надѣлавшей шуму исторіи, то мы вправѣ ожидать отъ автора картины современныхъ нравовъ весьма точной. Странно было бы описывать фактическую сторону дѣла съ фотографической скрупулезностью, а содержаніе влагать въ нее фантастическое или вообще несоотвѣтствующее. Но точность поэтической картины есть нѣчто весьма условное. Въ дѣйствительности есть черты важныя, типическія и случайныя. Если поэтъ самымъ тщательнымъ образомъ и вполнѣ точно обрисуетъ черты случайныя и неважныя, то этимъ еще отнюдь не достигается поэтическая точность картины. И наоборотъ; я понимаю, что художникъ можетъ изобразить, напримѣръ, лиссабонское землетрясеніе двумя, тремя человѣческими фигурами, если сумѣетъ сконцентрировать въ нихъ суть дѣла. Въ какой мѣрѣ точна картина современной жизни, написанная г. Достоевскимъ? Если бы его романъ былъ переведенъ на какой-нибудь иностранный языкъ и попалъ бы такимъ образомъ въ руки людей, мало или вовсе незнакомыхъ съ капризными особенностями нашего даровитаго романиста, то они пришли бы въ крайнее изумленіе. Оставляя пока въ сторонѣ смыслъ всего романа, мы видимъ небольшую группу излюбленныхъ авторомъ героевъ, молодыхъ людей, занимающихся разрѣшеніемъ религіозныхъ вопросовъ, въ которыхъ для нихъ кульминируется вся злоба дня. „Вы атеистъ?—Да. „Вѣруете вы сами въ Бога!"—Я вѣрую въ Россію, я вѣрую въ ея православіе. Я вѣрую въ тѣло Христово. Я вѣрую, что новое пришествіе совершится въ Россіи.—„А въ Бога?

въ Бога?—Я... Я буду вѣровать въ Бога. „Вы стали вѣровать въ будущую вѣчную жизнь?“—Нѣтъ, не въ будущую вѣчную, а въ здѣшнюю вѣчную“. „Онъ придетъ, и имя ему человѣкобогъ.—Богочеловѣкъ?—Человѣкобогъ, въ этомъ разница.—„Ужъ не вы ли и лампадку зажигаете?“—Да, это я зажегъ.—„Увѣровали?“—„Богъ необходимъ, а потому долженъ быть, но я знаю, что его нѣтъ и не можетъ быть“. Вотъ вопросы и отвѣты, имѣющіе мѣсто между тремя самыми видными изъ излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго. Изъ этого источника берутъ начало и ихъ соціальныя теоріи. Впрочемъ, другія дѣйствующія лица третьей категоріи, Петръ Верховенскій и Шигалевъ, строятъ свои замысловатыя теоріи на другихъ основаніяхъ. Но, во всякомъ случаѣ, имѣлъ ли какое-нибудь основаніе г. Достоевскій группировать около Нечаевскаго дѣла людей, проникнутыхъ мистицизмомъ? Думаю, что нѣтъ, а тѣмъ паче не имѣлъ онъ права ставить ихъ типами современной русской молодежи вообще. Такіе люди, конечно, возможны и здѣсь, какъ и вездѣ. Но мало ли что возможно. Едва ли русская молодежь такъ пристально занимается мистико религіозными вопросами. Напротивъ, направленіе ея, вообще говоря, чисто практическое, а если кое-кто изъ нея и занимается соціальными теоріями, то ужъ, конечно, не такого характера, какимъ отличаются теоріи Ставрогина, Шатова, Кириллова. Замѣчательно, что молодые люди, представляющіе у г. Достоевскаго „идею“, попавшую на улицу“, тяготѣютъ къ вящему реализму, съ задиромъ объявляютъ, что „нынче нѣтъ привидѣній, а естественная наука“, и т. п. Молодые же люди, „съѣденные своею идеей“, тяготѣютъ въ совершенно противоположную сторону. Обстоятельство это въ романѣ ничѣмъ не мотивировано, а это жаль. Во всякомъ случаѣ, если бы г. Достоевскій принялъ въ соображеніе громадную массу русскихъ молодыхъ людей, стремящихся въ адвокаты, мировые судьи, проводители усовершенствованныхъ путей сообщенія и проч., и проч., и проч.; если бы онъ прибавилъ сюда массу молодыхъ людей, настроенныхъ и серіозно и трезво, наконецъ, если бы онъ остановилъ подольше свое вниманіе на массѣ молодыхъ верхоглядовъ,—то онъ, безъ сомнѣнія, убѣдился бы, что теоріи, подобныя Шатовскимъ, Кирилловскимъ, Ставрогинскимъ, могутъ занимать здѣсь только микроскопически ничтожное мѣсто. Онъ убѣдился бы даже,

что Нечаевское дѣло есть до такой степени во всѣхъ отношеніяхъ монстръ, что не можетъ служить темой для романа съ болѣе или менѣе широкимъ захватомъ. Оно могло бы доставить матеріалъ для романа уголовнаго, узкаго и мелкаго, могло бы, пожалуй, занять мѣсто и въ картинѣ современной жизни, но не иначе, какъ въ качествѣ третьестепеннаго эпизода. Но и помимо Нечаевскаго дѣла, гдѣ слышалъ г. Достоевскій, что бы современные русскіе молодые люди встрѣчали и провожали другъ друга вопросами: вы атеистъ? вы лампадку зажигали? вы увѣровали? Тѣмъ паче, гдѣ слышалъ онъ изъ устъ молодежи такія идеи, какъ, напримѣръ: „народъ есть тѣло Божіе“, „русскій народъ есть народъ богоносецъ“, и т. п. Я не спорю, можетъ быть, онъ все это и слышалъ, но уже, конечно, не имѣетъ права выставлять эти черты, въ качествѣ характерныхъ, типическихъ, на первое мѣсто. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ Парижѣ и въ Берлинѣ существовали клубы самоубійцъ, по статуту которыхъ члены по жребію должны были убивать себя по одному въ годъ. Это фактъ любопытный. Но что бы сказали о писателѣ, который, рисуя картину европейской жизни начала нынѣшняго вѣка, наполеоновскія войны поставилъ бы въ задній уголъ, а клубъ самоубійцъ на первое мѣсто? Писатель этотъ могъ бы быть очень точенъ въ описаніи своихъ героевъ, но несоблюденіе правила художественной перспективы испортило бы все дѣло. Я думаю, что нѣтъ надобности настаивать на пунктѣ, который доступенъ ежедневному наблюденію всѣхъ и каждаго, и потому позволяю себѣ сказать афористически: если бы г. Достоевскій нарочно искалъ такой среды, въ которой мистическія теоріи были бы совершенно неумѣстны, то онъ нашелъ бы ее въ современной русской молодежи.

Такимъ образомъ, мы пришли къ чрезвычайно странному и любопытному результату. Г. Достоевскій не пользуется темами, подходящими къ свойствамъ его таланта, и въ то же время втискиваетъ эксцентрическія идеи туда, гдѣ ихъ въ дѣйствительности нѣтъ. Это объясняется очень легко, если мы примемъ въ соображеніе, какъ богатъ г. Достоевскій эксцентрическими идеями. Онѣ, очевидно, его просто мучаютъ, тѣснятся въ его фантазіи въ гораздо даже большемъ количествѣ, чѣмъ художественные образы. Прошу покорно вы-

носить въ головѣ Ивана-Царевича и два поколѣнія невообразимаго разврата и разрушенія, или теорію самообожествленія посредствомъ самоубійства, которую исповѣдуетъ и практикуетъ Кирилловъ. Разъ подобная теорія сложилась въ головѣ автора, она требуетъ исхода. Значитъ, авторъ уже органически не можетъ взяться за беллетристическую эксплуатацію, напримѣръ, духовнаго союза Татариновой или спиритизма. Тамъ есть *свои*, готовыя уже теоріи, *свои* эксцентрическія идеи, а г. Достоевскому надо прежде всего сложить *свое* собственное бремя. И понятно, что удобнѣе всего его сложить туда, гдѣ больше мѣста, гдѣ въ дѣйствительности наименьшее количество эксцентрическихъ идей и теорій. Г. Достоевскому нужны только подходящія рамки, готовое драматическое положеніе и слабый намекъ на возможность эксцентрическихъ идей. Намекъ этотъ долженъ быть, но чѣмъ онъ слабѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ просторнѣе продуктамъ фантастической лабораторіи автора. Конечно, это обобщеніе можетъ показаться слишкомъ поспѣшнымъ. Но я только предлагаю объясненіе, въ пользу котораго говорятъ и еще кое-какія соображенія. Сюда относится вышеупомянутое пожираніе тучныхъ коровъ поэзіи тощими коровами фантазіи людей, находящихся на границѣ ума и безумія. Сюда же относится и самое пристрастіе автора къ этой границѣ. Герои г. Достоевскаго какъ разъ настолько безумны, что имъ позволительно уклоняться отъ самыхъ неопровержимыхъ истинъ, и въ то же время какъ разъ настолько умны, что могутъ излагать довольно связно весьма замысловатыя идеи. Люди нормальные для г. Достоевскаго неудобны, такъ какъ имъ нельзя вложить въ уста эксцентрическую идею. Сумасшедшіе тоже не годятся, потому что тутъ пришлось бы довольствоваться совершенно безсвязною галиматьею.

Выше было сказано, что г. Достоевскій напоминаетъ Бальзака, конечно, не по симпатіямъ своимъ, а только по богатству эксцентрическихъ идей и наклонности къ изображенію исключительныхъ психологическихъ явленій. (Небезынтересно замѣтить мимоходомъ еще одно сходство: фельетонный способъ писанія широко задуманныхъ вещей). Но разница вотъ въ чемъ. Бальзакъ, во-первыхъ, гораздо смѣлѣе, потому что нерѣдко беретъ не только исключительное психологическое явленіе, а нѣчто совершенно невозможное, фантастическое

(напримѣръ, Серафитъ). Во-вторыхъ, взявъ какой-нибудь рѣдкій феноменъ, большею частью одностороннее развитіе какой-нибудь страсти, онъ уже за нимъ только и слѣдитъ, на немъ одномъ, отъ имени его одного только и строитъ свои эксцентрическія теоріи. Вслѣдствіе такой сосредоточенности, романъ получаетъ иногда удивительную силу, идея романа (а не дѣйствующихъ лицъ) вырѣзывается съ необыкновенною ясностью, а вмѣстѣ съ тѣмъ оправдывается и исключительность сюжета. Менѣе плодовитый г. Достоевскій надѣляетъ эксцентрическими идеями всѣхъ, кого только физически возможно надѣлить ими. (Въ „Бѣсахъ“ они прорываются даже у Ѳедьки—каторжника и пьяницы капитана Лебядкина). Носители эксцентрическихъ идей оказываются при этомъ придавленными не только нравственно, что и хотѣлъ изобразить г. Достоевскій, а и въ художественномъ отношеніи, чего онъ, разумѣется, не желалъ. Въ результатѣ получается нѣчто многоцентренное, расплывающееся, рядъ насильственно пригнанныхъ драматическихъ положеній, въ которыхъ чрезвычайно трудно оріентироваться. А между тѣмъ въ „Бѣсахъ“ г. Достоевскій желалъ быть какъ можно яснѣе. Онъ, во-первыхъ, снабдилъ романъ двумя очень характерными эпиграфами. Одинъ—стихи Пушкина:

Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?
Въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно,
Да кружитъ по сторонамъ.

. . . . . .

Сколько ихъ, куда ихъ гонятъ,
Что такъ жалобно поютъ?
Домового ли хоронятъ,
Вѣдьму ль замужъ отдаютъ?

Другой эпиграфъ взятъ изъ евангельскаго разсказа объ исцѣленіи бѣсноватаго, о томъ, какъ изгоняемые Христомъ бѣсы попросили у него позволенія пересилиться въ пасшееся недалеко стадо свиней, и какъ потомъ свиньи бросились въ озеро и потонули. Эпиграфъ этотъ получаетъ въ концѣ романа спеціальное объясненіе. Верховенскій-отецъ, больной, проситъ сидѣлку прочитать ему разсказъ объ исцѣленіи бѣсноватаго. Та читаетъ, а Степанъ Трофимовичъ предается по этому случаю нѣкоторымъ изліяніямъ.

„Видите,—говоритъ онъ между прочимъ,—это точь въ точь какъ наша Россія. Эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней—это язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи, за вѣка, за вѣка! Qui cette Russie que j'aimais toujours. Но великая мысль и великая воля осѣнятъ ее свыше, какъ и того безумнаго бѣсноватаго, и выйдутъ всѣ эти бѣсы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будутъ проситься войти въ свиней. Да и вошли уже, можетъ быть! Это мы, мы и тѣ, и Петруша... et les autres avec lui, и я, можетъ быть, первый, во главѣ, и мы бросимся, безумные и взбѣсившіеся, со скалы въ море и всѣ потонемъ, и туда намъ дорога, потому что насъ только на это вѣдь и хватитъ. Но больной исцѣлится и „сядетъ у ногъ Іисусовыхъ...“ и будутъ всѣ глядѣть съ изумленіемъ“.

Такимъ образомъ г. Достоевскій весьма обязательно самъ даетъ ключъ къ уразумѣнію „Бѣсовъ.“ Но это мало подвигаетъ дѣло впередъ. Еслибы еще г. Достоевскій ограничился первымъ эпиграфомъ:

„Хоть убей слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?“—

то идея романа могла-бы быть, хоть и слишкомъ общею, за то, по крайней мѣрѣ, ясною. Второй эпиграфъ, въ особенности въ связи съ его объясненіемъ устами Степана Трофимовича, показываетъ только, что идея романа замысловата, что тутъ есть нѣкоторая претензія. Но ключъ къ ея уразумѣнію предлагается въ видѣ аллегоріи, которую и не сразу поймешь. Спрашивается, въ чемъ состоятъ міазмы, нечистота, бѣсы и бѣсенята, въ теченіе вѣковъ копившіеся въ нашемъ больномъ? Кто эти „мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui“, о которыхъ говоритъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій? Кто эти свиньи, въ которыхъ вселяются бѣсы, изгоняемые изъ больной Россіи? въ чемъ, наконецъ, состоитъ ихъ бѣсовскій элементъ? Въ самомъ романѣ трудно найти отвѣты на эти вопросы. Пожалуй, многія дѣйствующія лица его дѣйствительно напоминаютъ бѣсноватыхъ, но, конечно, дѣло не въ этомъ прямомъ смыслѣ слова, а въ аллегоріи. Формула „мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui“,

обобщаетъ элементы чрезвычайно разнообразные, такъ что не легко усмотрѣть ихъ совпадающія стороны. „Петруша et les autres avec lui“ представляются, напримѣръ, намъ, т. е. Степану Трофимовичу Верховенскому, въ видѣ „подлаго раба, вонючаго и развратнаго лакея“, который при извѣстныхъ обстоятельствахъ „взмостится на лѣстницу съ ножницами въ рукахъ и раздеретъ божественный ликъ великаго идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, зависти и пищеваренія“. Съ своей стороны, и Петруша et les autres avec lui осыпаютъ „насъ“, Степана Трофимовича Верховенскаго, эпитетами, полными ненависти и презрѣнія. И эти враждебныя отношенія вполнѣ объясняются дѣйствительнымъ внутреннимъ различіемъ обоихъ лагерей. Далѣе, въ каждомъ изъ нихъ мы опять-таки видимъ только различія и различія. Люди, представляющіе собою исключительные психологическіе феномены, уже сами по себѣ составляютъ нѣчто трудно поддающееся обобщеніямъ. А такъ какъ въ „Бѣсахъ“ эти люди суть большею частію только подставки для эксцентрическихъ идей, то становится еще труднѣе стать на такую точку зрѣнія, съ которой всѣ они сливались бы въ понятіе стада бѣсноватыхъ свиней. Въ самомъ дѣлѣ, эксцентрическая идея непремѣнно стоитъ, если можно такъ выразиться, ершомъ, она не имѣетъ ничего общаго съ идеями не эксцентрическими и другими эксцентрическими, такъ что рядъ подставокъ для эксцентрическихъ идей не подлежитъ никакому синтезу; нѣтъ возможности подвести имъ итогъ. Въ „Бѣсахъ“ это неудобство еще, такъ сказать, многоэтажно: самая фабула романа, Нечаевское дѣло, есть исключительное явленіе русской жизни. И потому, какъ ни старался г. Достоевскій быть яснымъ, онъ этого не достигъ.

Къ счастью, тутъ подвернулся „Гражданинъ“. Потому ли, что идея „Бѣсовъ“ вообще сильно занимаетъ г. Достоевскаго, или потому, что „Дневникъ писателя“ пишется подъ непосредственнымъ вліяніемъ писанія „Бѣсовъ“, но „Дневникъ“ этотъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ комментарій къ „Бѣсамъ“. Многія мысли „Дневника“, въ томъ числѣ и мысли о соціализмѣ и атеизмѣ, высказаны уже въ „Бѣсахъ“ разными дѣйствующими лицами и въ особенности молодымъ студентомъ Шатовымъ, или, въ переводѣ на языкъ дѣйствительности, убитымъ Ивановымъ. Комментируя „Бѣсовъ“ „Дневникомъ“, мы уяснимъ себѣ многое.

Николай Ставрогинъ, по первоначальному, по крайней мѣрѣ, замыслу автора, долженъ былъ, повидимому, быть самымъ замѣтнымъ изъ дѣйствующихъ лицъ романа, нѣкоторымъ его центромъ. Вышла однако фигура съ претензіями, но крайне тусклая. Шатовъ, Кирилловъ, Лебядкинъ повторяютъ ему одну и ту же фразу: „вспомните, какъ много значили вы въ моей жизни“, но это значеніе остается не выясненнымъ. Шатовъ ждетъ отъ Ставрогина многаго, разсчитывая на его геніальность; Верховенскій Петръ тоже ждетъ отъ него многаго, но въ разсчетѣ на его „необыкновенную способность къ преступленію“. Всѣ видятъ въ немъ отчасти натуру крайне сильную, а отчасти крайне слабую. Гдѣ-то за кулисами дѣйствуетъ Ставрогинъ, въ качествѣ члена тайнаго „сладострастнаго“ общества, „у котораго маркизъ де-Садъ могъ бы поучиться“, которое заманивало и развращало дѣтей?

Когда-то, опять-таки за кулисами, Ставрогинъ „увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою штукою и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы жертвой жизнью для человѣчества, что онъ нашелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія“. Словомъ, это что-то очень дурное, необыкновенное, но вмѣстѣ съ тѣмъ что-то очень плоское, будничное. Такъ, напримѣръ, Ставрогинъ давно записался въ граждане кантона Ури, купилъ тамъ маленькій домъ и зоветъ туда съ собою поочереди трехъ, ни въ чемъ между собою несходныхъ женщинъ: экзальтированную Лизу, преданную Дашу и сумасшедшую Лебядкину. Ему кажется все равно съ кѣмъ скоротать свою бурную жизнь, но только непремѣнно съ женщиной, непремѣнно въ маленькомъ швейцарскомъ домѣ, никого не видя, ничего не дѣлая. Всѣ поступки Ставрогина какъ-то изыскано необычайны. И особенно замѣчательно, что г. Достоевскому очень хочется показать, что онъ въ здравомъ разсудкѣ. Онъ даже нарочно для этого сводитъ его на время съ ума, заставляетъ дѣлать безумныя выходки, которыя однако, по общему необъяснимо таинственному инстинктивному убѣжденію, свойственны Ставрогину и въ здравомъ умѣ. Романъ даже тѣмъ и оканчивается, что трупъ самоубійцы Ставрогина анатомируютъ и „наши медики по вскрытіи трупа совершенно и настойчиво отвергли помѣшательство“. Это послѣднія строки романа. Очевидно, г. До-

стоевскій хотѣлъ тутъ разрѣшить нѣкоторую психологическую задачу, но не только разрѣшенія какой-нибудь задачи не вышло, не вышла даже постановка ея. Нѣкоторое поясненіе дѣла найдемъ мы въ „Дневникѣ писателя". Тамъ разсказывается слѣдующая исторія. Одинъ мужикъ взялся сдѣлать какую угодно „дерзостную" штуку. Другой и заказалъ ему: пойди причащаться, но причастія не глотай, а возьми въ руку и сохрани. Мужикъ сдѣлалъ. Тогда деревенскій Мефистофель повелъ его въ огородъ, велѣлъ положить причастіе на землю, зарядить ружье и выстрѣлить въ причастіе. „И вотъ только бы выстрѣлить, разсказывалъ потомъ мужикъ,—вдругъ передо мною какъ есть крестъ, а на немъ распятый. Тутъ я и упалъ съ ружьемъ въ безчувствіи". Затѣмъ, мужикъ пошелъ каяться въ грѣхахъ своихъ, почувствовалъ жажду искупленія и страданія, и отправился за совѣтомъ къ „схимнику", монаху-совѣтодателю, который и наложилъ на него подходящую эпитемью. Вотъ разсказъ. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ замѣчаній г. Достоевскаго, онъ могъ бы составить прекрасную монографію, въ смыслѣ описанія и разъясненія даннаго случая. Въ качествѣ поэта, г. Достоевскій могъ бы ограничиться собственно образнымъ представленіемъ развитія „дерзостной" мысли, страшнаго страданія, послѣдовавшаго за ея осуществленіемъ, и наконецъ наслажденія искупляющимъ страданіемъ. Могла-бы выйти великолѣпная вещь. Если г. Достоевскій не надѣется на силу своего поэтическаго таланта, то онъ могъ-бы, конечно, развести образы нѣкоторыми размышленіями. Но г. Достоевскій ведетъ дѣло въ этомъ отношеніи уже слишкомъ далеко. Онъ видитъ въ дерзостномъ и кающемся мужикѣ символъ ни больше ни меньше, какъ „всего русскаго народа въ его цѣломъ", и поэтому случаю предается нѣкоторой мало основательной публицистикѣ. Вотъ нѣкоторыя изъ характеристическихъ, по мнѣнію г. Достоевскаго, чертъ русскаго народа въ его цѣломъ. „Это прежде всего—забвеніе всякой мѣрки во всемъ (и замѣтьте, всегда почти временное и переходящее, являющееся какъ бы какимъ навожденіемъ). Это потребность хватить черезъ край, потребность въ замирающемъ ощущеніи, дойдя до пропасти, свѣситься въ нее на половину, заглянуть въ самую бездну и—въ частныхъ случаяхъ, но весьма рѣдкихъ—броситься въ нее, какъ ошалѣлому, внизъ головой... нѣкоторое адское на-

слажденіе собственною гибелью, захватывающая дыханіе потребность нагнуться надъ пропастью и заглянуть въ нее, потрясающее восхищеніе предъ собственною дерзостью“. Это одна черта, черта, по мнѣнію г. Достоевскаго, всенародная. Въ частности выразилась она и въ исторіи дерзостнаго мужика. Она же, очевидно, должна была составлять основу характера Ставрогина, ибо нѣкоторыя дѣйствующія лица романа говорятъ о немъ почти тѣми же словами, какія г. Достоевскій употребляетъ для характеристики народа. Потому-то г. Достоевскій такъ и хлопочетъ, чтобы Ставрогина не приняли за сумасшедшаго: онъ долженъ выражать собою одну изъ типическихъ чертъ русскаго народа, и всѣ его безобразія должны объясняться потребностью дерзости.

Другая черта народа состоитъ въ страстной потребности искупить дерзость, грѣхъ. „Съ такою-же силою, съ такою же стремительностію, съ такою-же жаждою самосохраненія и покаянія русскій человѣкъ, равно какъ и весь народъ, и спасаетъ себя самъ, и обыкновенно, какъ дойдетъ до послѣдней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчокъ возстановленія и самоспасенія бываетъ серьезнѣе прежняго порыва,— отрицанія и саморазрушенія. То бываетъ всегда на счетъ какъ бы мелкаго малодушія; тогда какъ въ возстановленіе свое русскій человѣкъ уходитъ съ самымъ огромнымъ и серьезнымъ усиліемъ, на отрицательное прежнее движеніе свое онъ смотритъ съ презрѣніемъ къ самому себѣ. Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русскаго народа есть потребность страданія, всегдашняго и неутомимаго, всегда и во всемъ. Этою жаждою страданія онъ, кажется, зараженъ искони вѣковъ. Страдальческая струя проходитъ черезъ всю его исторію не отъ внѣшнихъ только несчастій и бѣдъ, а бьетъ ключомъ изъ самаго сердца народнаго... Если онъ способенъ возстать изъ своего униженія, то мститъ себѣ за прошлое паденіе ужасно, даже болѣе, чѣмъ вымещалъ на другихъ, въ чаду безобразія, свои тайныя муки отъ собственнаго недовольства собою“. Вотъ другая черта народнаго русскаго характера, фигурирующая и въ исторіи дерзостнаго мужика. Есть она отчасти и въ Ставрогинѣ. Она прорывается въ немъ отдѣльными вспышками, напримѣръ, когда онъ объявляетъ о своемъ бракѣ съ Лебяд-

кной, когда она молча выноситъ пощечину отъ Шатова и т. д.

Прорывается, но не доходитъ до конца. Любопытно, что Шатовъ, представляющій собою вообще мнѣнія г. Достоевскаго, посылаетъ Ставрогина къ какому-то Тихону, бывшему архіерею, живущему по болѣзни на покоѣ, къ которому ходятъ за совѣтами. Это, очевидно, тотъ-же схимникъ, монахъ-совѣтодатель, къ которому дерзостный мужикъ идетъ за эпитемьей. Но Ставрогинъ не пошелъ за эпитемьей, не пошелъ за активнымъ, такъ сказать, страданіемъ, а страданія пассивнаго, предложеннаго стеченіемъ жизненныхъ обстоятельствъ, не вынесъ, и повѣсился. Вотъ въ чемъ, значитъ, разница между Ставрогинымъ и Власомъ, какъ г. Достоевскій зоветъ дерзостнаго мужика, мотивируя весь разсказъ объ немъ извѣстнымъ стихотвореніемъ г. Некрасова:

„Въ армякѣ, съ открытымъ воротомъ,
Съ обнаженной головой,
Медленно проходитъ городомъ
Дядя Власъ—старикъ сѣдой и т. д.“

И Власъ и Ставрогинъ одинаково чувствуютъ „наклонность къ преступленію“, наклонность, впрочемъ, только порывистую, наклонность согрѣшить для грѣха, для сильнаго ощущенія. Но Власа этотъ грѣхъ не выбиваетъ изъ его жизненнаго сѣдла окончательно; въ концѣ концовъ даже укрѣпляетъ въ немъ. Онъ идетъ искупать свой грѣхъ и въ страданіи искупленія находитъ примиреніе съ самимъ собою. Ставрогинъ этого сдѣлать не въ силахъ. Онъ падаетъ окончательно именно потому, что не можетъ или не хочетъ принять на себя крестъ; вѣрнѣе сказать, не можетъ, силъ не хватаетъ, хоть его и тянетъ къ этому.

Такимъ образомъ, благодаря „Дневнику писателя“, тусклый образъ Ставрогина нѣсколько уясняется. Но мы все-таки еще далеки отъ идеи романа,—отъ бѣсовъ, бѣсноватыхъ свиней и больной Россіи. Не ясенъ даже ближайшій пунктъ: что долженъ изображать собою Ставрогинъ, если только онъ не единица, не имѣющая никакого общаго значенія; почему, сохранивъ одну черту народнаго характера, онъ утратилъ другую; почему, наконецъ, у Власа хватаетъ силы на

искупленіе, а у Ставрогина нѣтъ. Пойдемъ дальше въ своихъ комментаріяхъ.

Одинъ изъ героевъ „Бѣсовъ“, Кирилловъ, сочинилъ эксцентрическую теорію, сущность которой, на сколько ее понимать можно, состоитъ въ слѣдующемъ: Бога нѣтъ; если бы онъ былъ, то я долженъ бы былъ повиноваться его волѣ; но такъ какъ Бога нѣтъ, то я остаюсь единственнымъ и полнымъ властителемъ своей судьбы, и долженъ заявить, что я человѣкъ вольный, никого надъ собой не признаю и никого и ничего не боюсь; такимъ полнымъ актомъ моей воли, или „своеволія“, можетъ быть только самоубійство, но самоубійство безъ всякой видимой причины: хочу и баста. Это вяжется у Кириллова съ разными другими вещами и между прочимъ со служеніемъ человѣчеству. Онъ вѣруетъ, что, убивъ себя, онъ докажетъ міру ложь бытія Божія и укажетъ человѣчеству новые пути. Въ силу этой теоріи Кирилловъ и рѣшаетъ убить себя. Этимъ пользуется шайка Петра Верховенскаго и заставляетъ безумца подписать передъ самоубійствомъ записку, въ которой Кирилловъ принимаетъ на себя убійство Шатова. Подписывая, Кирилловъ находится въ какомъ-то истерическомъ состояніи и непремѣнно хочетъ подписаться de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde, или „еще лучше“: gentilhomme—séminariste russe et citoyen du monde civilisé. Немедленно послѣ этихъ словъ Кирилловъ хватаетъ револьверъ и бѣжитъ стрѣляться. Въ словахъ этихъ звучитъ какая-то насмѣшка надъ самимъ собой, какая-то ирония, тѣмъ болѣе необъяснимая, что Кирилловъ, по собственному своему убѣжденію, исполняетъ священный долгъ. И ничто въ предыдущемъ не даетъ ни малѣйшаго намека на смыслъ французской подписи. Очевидно, здѣсь авторъ просто не утерпѣлъ и подсунулъ Кириллову, на свой собственный страхъ, насмѣшливое прозвище, въ устахъ Кириллова совершенно безсмысленное, невозможное. Къ счастію, у насъ есть опять таки „Дневникъ писателя“, въ которомъ это самое насмѣшливое прозвище является въ сопровожденіи нѣкотораго объясненія. Въ „Дневникѣ“ г. Достоевскій называетъ Герцена gentilhomme russe et citoyen du monde, г. Некрасова „общечеловѣкомъ и русскимъ (gentilhomme'омъ)“. Но опять-таки, съ которой стороны могутъ быть подведены къ одному знаменателю гг. Некрасовъ, Герценъ и Кирилловъ.

Мнѣ очень хочется добраться вмѣстѣ съ читателемъ до идеи „Бѣсовъ“. Г. Достоевскій имѣетъ полное право требовать, чтобы и къ его мыслямъ и произведеніямъ относились со всевозможнымъ вниманіемъ и осторожностью. Я это дѣлаю, и не моя вина, что это можетъ быть сдѣлано только при помощи цѣлаго ряда отступленій. Такъ ужъ г. Достоевскій свой романъ устроилъ. Но теперь мы сдѣлаемъ, надо думать, уже послѣднее отступленіе, мы у берега.

Я уже говорилъ о любопытномъ совпаденіи кровныхъ, задушевныхъ мыслей г. Достоевскаго, высказываемыхъ имъ въ „Гражданинѣ“, съ идеями Шатова. Въ прошлый разъ я привелъ мнѣніе г. Достоевскаго о тождественности соціализма съ атеизмомъ, мнѣніе, основанное на томъ, что „интернаціоналка“ объявила гдѣ-то, что она „прежде всего общество атеистическое“. Тотъ-же невѣрный аргументъ и тотъ-же нелогическій ходъ мыслей встрѣчается и у Шатова: „Соціализмъ, говоритъ онъ, по существу своему уже долженъ быть атеизмомъ, ибо именно провозглашено съ самой первой строки, что онъ установленіе атеистическое“. Но сходство между Шатовымъ и г. Достоевскимъ не ограничивается этимъ совершенно неправильнымъ показаніемъ. Оно (сходство) до такой степени полно, что, излагая мысли Шатова, можно цитировать „Дневникъ писателя“ и наоборотъ. Но при изложеніи этомъ надо устранить прежде всего одну двусмысленность. И г. Достоевскій и Шатовъ, къ сожалѣнію, играютъ словомъ „Богъ“. Иногда они придаютъ этому слову тотъ-же смыслъ, который ему придается всѣми людьми, какъ вѣрующими всѣхъ исповѣданій, такъ и невѣрующими. Но иногда они разумѣютъ подъ „Богомъ“ нѣчто иное, и именно, кажется, совокупность и высшую точку развитія національныхъ особенностей. Такъ, напримѣръ, они называютъ религіей древнихъ грековъ ихъ философію и искусство, римскимъ богомъ—государство. Куда при этомъ дѣваются Зевесъ и Юпитеръ со всей ихъ свитой—неизвѣстно. Г. Достоевскій и Шатовъ иногда громятъ атеистовъ въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, то-есть, въ качествѣ людей, отрицающихъ существованіе личности творца вселенной. И въ то же время Ставрогинъ пишетъ: „Шатовъ говорилъ мнѣ, что тотъ, кто теряетъ связи съ своей землей, тотъ теряетъ и боговъ своихъ, то-есть *всѣ свои цѣли*“. Да въ этомъ же смыслѣ выска-

зываются Шатовъ и г. Достоевскій. А между тѣмъ, на этой двусмысленности, на этой игрѣ словъ основываются многіе ихъ аргументы. Шатову, какъ человѣку, находящемуся въ постоянно возбужденномъ состояніи, наконецъ, какъ человѣку, не берущемуся никого поучать, это простительно. Но отъ г. Достоевскаго можно бы было требовать большей отчетливости и меньшей игривости. Онъ, вѣдь, романистъ, а теперь и публицистъ и редакторъ журнала. Любопытно наблюдать процессъ, которымъ обнаруживается это легкомысленное отношеніе г. Достоевскаго къ дѣлу. Шатовъ, смѣшалъ Бога съ богами въ смыслѣ цвѣтовъ и плодовъ народныхъ особенностей, доказываетъ, что человѣкъ, оторванный отъ народной, національной почвы, тѣмъ самымъ уже становится атеистомъ. Доказываетъ онъ это восторженно, но торопливо, нескладно, нелѣпо, что вполнѣ объясняется его ненормальнымъ состояніемъ; съ нимъ „жаръ“, онъ только что прожилъ три дня съ мыслію, что его убьетъ Ставрогинъ. И тѣмъ не менѣе г. Достоевскій считаетъ этотъ пунктъ доказаннымъ и говоритъ въ „Дневникѣ“: „Герценъ былъ продуктъ нашего барства“, gentilhomme russe et citoyen du monde. Въ полтораста лѣтъ предыдущей жизни русскаго барства, за весьма малыми исключеніями, истлѣли послѣдніе корни, расшатались послѣднія связи его съ русской почвой и съ русской правдой. Герцену какъ будто сама исторія предназначила выразить собою въ самомъ яркомъ типѣ этотъ разрывъ съ народомъ огромнаго большинства нашего образованнаго сословія. Въ этомъ смыслѣ это типъ историческій. Отдѣлясь отъ народа, они *естественно потеряли и Бога.* Безпокойные изъ нихъ стали атеистами, вялые и спокойные—„индеферентными“ и т. д. (Шатовъ говоритъ почти слово въ слово то-же самое о Бѣлинскомъ). Въ виду этого легкомыслія, я отказываюсь слѣдить за теоріей г. Достоевскаго-Шатова во всей ея полнотѣ. Это просто невозможно. Въ теоріи этой заключается, между прочимъ, такой пунктъ: каждый народъ долженъ имѣть своего бога, и когда боги становятся общими для разныхъ народовъ, то это признакъ паденія и боговъ и народовъ. И это вяжется какъ-то съ христіанствомъ, а я до сихъ поръ думалъ, что для христіанскаго Бога нѣтъ эллинъ ни іудей...

За вычетомъ этой двусмысленности, этой совершенно не-

прилипной игры словъ, воззрѣнія г. Достоевскаго-Шатова сводятся къ слѣдующему. Вѣками сложилась русская почва и русская правда, сложились извѣстныя понятія о добрѣ и злѣ. Петровскій переворотъ раздѣлилъ народъ на двѣ части, изъ которыхъ одна, меньшая, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе теряла смыслъ русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась этимъ движеніемъ. Когда первая часть, меньшинство, образованные классы обратили наконецъ свое вниманіе на большинство, на народъ, обратились къ нему даже съ любовью и желаніемъ добра, они уже не понимали его. Если они и любили народъ, то не этотъ, который тутъ, возлѣ нихъ реально существовалъ, а народъ идеальный, созданный ихъ воображеніемъ по западно-европейскимъ образцамъ. А любить идеальный народъ, любить „общечеловѣка", значитъ презирать или ненавидѣть народъ, существующій въ дѣйствительности. Этого мало. По мѣрѣ удаленія отъ народной правды, народныхъ понятій о добрѣ и злѣ, образованные citoyens du monde теряли *всякое* чутье въ различеніе добра и зла, потому что внѣ народныхъ преданій нѣтъ почвы для такого различенія, на него не способны ни разумъ ни наука. А между тѣмъ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, тянетъ къ этому различенію, и вотъ они мечутся, ищутъ, и ничего не находятъ, а назадъ вернуться уже не могутъ. Они и погибнутъ. Можетъ быть, они увлекутъ за собой временно и народъ, можетъ быть, уже и увлекаютъ, но въ концѣ концовъ Власы скажутъ свое слово и спасутъ себя и насъ.

Такова теорія г. Достоевскаго-Шатова. Шатовъ говоритъ, что это „или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всѣхъ московскихъ славянофильскихъ мельницахъ, или совершенно новое слово, послѣднее слово, единственное слово обновленія и воскресенія". Увы! кажется, и сомнѣнія не можетъ быть въ этомъ, что это дребедень. Теорія эта, да проститъ мнѣ почтенный авторъ, и слишкомъ стара и слишкомъ ребячески молода, чтобы изъ нея стоило вытаскивать ту крупицу истины, которая въ ней заключается. Г. Достоевскій справедливо говоритъ, что барство извращаетъ понятія о добрѣ и злѣ, но съ Петра-ли оно началось? Авторъ, повидимому, и самъ догадывается, что гораздо раньше, и что съ Петра оно явилось только въ другой формѣ. Онъ говоритъ, что бѣсы и бѣсенята, міазмы и нечистота накопились въ „нашемъ миломъ

больномъ за вѣка, за вѣка!“ Извѣстно, что это одинъ изъ камней преткновенія славянофильскаго ученія, и мы его трогать не будемъ. Мы воспользуемся только приведенной теоріей для объясненія идеи „Бѣсовъ“ и нѣкоторыхъ любопытныхъ соображеній г. Достоевскаго въ „Дневникѣ писателя“.

Бѣсноватый больной,—это Россія, въ которую вселились бѣсы, въ точности неизвѣстно когда. Бѣсы—это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко,—это оторванные отъ народной почвы citoyens du monde, это „мы, мы и тѣ, и Петрушка et les autres avec lui“. Всѣ они сохранили въ себѣ одну черту русскаго народнаго характера,—потребность дерзости, жажду отрицанія и разрушенія. Весь романъ представляетъ рядъ болѣе или менѣе дерзкихъ выходокъ и подвиговъ отрицанія и разрушенія, совершаемыхъ разными типами citoyen'овъ. Одинъ пускаетъ мышь въ кіоту образа, другой надругается надъ самыми святыми чувствами, третій хѣритъ всю вѣковую русскую исторію, четвертый безцѣльно и безсмысленно оскорбляетъ людей, пятый объявляетъ себя богомъ, шестой проповѣдуетъ всеобщій развратъ и проч. и проч. и проч. Все это совершается въ силу особенной черты русскаго характера, заставившей и дерзостнаго мужика, Власа, покушаться на разстрѣляніе причастія. Но изъ Власа бѣсъ забвенія границъ добра и зла немедленно выходитъ, Власъ не теряетъ чувства грѣха и жаждетъ искупленія, страданія. Citoyen'ы не способны къ этому. Отрицая, разрушая, дерзая, не только въ силу народной безсознательной особенности, а и во имя чуждыхъ, общечеловѣческихъ идеаловъ, они не чувствуютъ грѣха, они гордятся имъ, а если и чувствуютъ, то не въ силахъ понести искупляющее страданіе. Они вѣшаются, стрѣляются, окунаются въ омутъ разврата и подлости, впадаютъ въ систематическое, хроническое преступленіе, словомъ, такъ или иначе, одолѣваемые вселившимся въ нихъ бѣсомъ, бросаются со скалы въ море и тонутъ. Возврата, спасенія нѣтъ даже для Шатова, который съ болѣзненною ясностью сознаетъ ужасъ своего положенія. Онъ предлагаетъ Ставрогину нелѣпость, которую и самъ готовъ назвать „кунштюкомъ:“ „добыть Бога мужицкимъ трудомъ.“

„Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?“

Но вотъ свиньи бѣсноватыя побросались со скалы въ море и потонули. Что же, больной исцѣлился? сидитъ у ногъ Іисусовыхъ? Нѣтъ не исцѣлился, не сидитъ. Иначе г. Достоевскій не писалъ бы своего „Дневника". Можетъ быть, потому не исцѣлился, что еще не всѣ свиньи перетонули, а можетъ быть и потому, что народились новыя, особенныя, которыхъ г. Достоевскій просмотрѣлъ. Да, онъ многое просмотрѣлъ, онъ *все* просмотрѣлъ...

П. Михайловскій.

* * *

*) „Въ юности увлекался... съ лѣтами сознаъ свои заблужденія, раскаялся, отрекся отъ прошлаго и строго осудилъ свои юношескія мечтанія",—вотъ въ короткихъ словахъ исторія такихъ писателей, какъ г. Достоевскій. Я знаю, что нѣкоторые поверхностные умы находятъ это несовсѣмъ благовиднымъ и даже... хуже того. Но, очевидно, что эти поверхностные умы никогда не раскаивались и не отрекались,— въ противномъ случаѣ они должны были бы понять, сколько великаго самоуслажденія заключается въ актѣ публичнаго раскаянія и отреченія. „Глядите на меня, добрые люди, какъ я смѣлъ и независимъ: сегодня я говорю и дѣлаю какъ-разъ противное тому, что говорилъ и дѣлалъ вчера, и я не скрываюсь, не прячусь, — напротивъ, я открыто и торжественно объявляю, что вчера я былъ однимъ, а нынче другимъ". И этотъ герой дня сознаетъ себя несравненно выше всѣхъ этихъ ординарныхъ „людишекъ", которые имѣютъ глупость упорствовать въ увлеченіяхъ своей юности, которые приросли къ своимъ убѣжденіямъ, какъ улитка къ раковинѣ, которые считаютъ измѣну низостью, ренегатство—пошлостью. Разумѣется, если слишкомъ многіе и слишкомъ часто будутъ прибѣгать къ этому дешевому (а иногда и очень выгодному) средству самовозвеличенія и самоуслажденія, то можно думать, что „отреченіе" и „раскаяніе" утратятъ всѣ свои обаятельныя свойства,—изъ актовъ, требующихъ нѣкотораго геройства и смѣлости, они превратятся въ акты самые будничные и ординарные. Можно опасаться, что у насъ это скоро и случится: слишкомъ ужъ много развелось кающихся и отрекающихся.

*) П. Никитинъ. „Больные люди". „Дѣло" 1873 г., №№ 3 и 4.

Конечно, съ болѣе высшей, общественной точки зрѣнія, это фактъ весьма утѣшительный: юношескія увлеченія теряютъ свой вредный характеръ и становятся даже въ высокой степени полезными, служа постоянно предлогомъ къ самообличенію и самобичеванію...

Этотъ великій актъ публичнаго самозаушенія въ послѣднее время едва-ли кто производилъ надъ собою съ такимъ геройскимъ самоотверженіемъ, какъ разбираемый мною авторъ „Бѣсовъ“. Что г. Достоевскій въ юности увлекался—это ни для кого не составляетъ тайны. Ни для кого не составляло также тайны, что онъ давно, повидимому, *покаялся* и *отрекся*. Самъ г. Достоевскій употреблялъ всевозможныя усилія, чтобы разсѣять на этотъ счетъ всякія недоумѣнія. Началъ онъ, разумѣется, тихонько и исподволь съ гг. Страхова, Аполлона Григорьева и незабвенныхъ „кнутиковъ либерализма“, а кончилъ Мещерскимъ, „Гражданиномъ“ и „Бѣсами“. „Русскій Вѣстникъ“ служилъ ему превосходной ступенью изъ стойла „Эпохи“ въ причетническую „Гражданина“; „кнутики либерализма“ и „свистуны изъ куска хлѣба“ логически привели его къ бѣсовщинѣ г. Стебницкаго. Повидимому, раскаяніе и отреченіе полное: далѣе Лѣскова нельзя-же итти! Понятно, съ какимъ искреннимъ удовольствіемъ должны были слѣдить прежніе его противники за успѣхами автора „Мертваго дома“ на поприщѣ покаянія. Успѣхи эти оказались неподлежащими ни малѣйшему спору и вдругъ... и вдругъ—о, ужасъ!—г. Достоевскій отпирается и открещивается отъ собственнаго покаянія, г. Достоевскій жалуется, что его „не понимаютъ“, что его мысли превратно истолковываются, что его „аллегоріямъ“ придается смыслъ, котораго онѣ вовсе не имѣютъ. Бѣдный г. Достоевскій! Его постигла участь, уже разъ испытанная однимъ изъ его вѣрныхъ соратниковъ по „Эпохѣ“, г. Страховымъ. Сей философъ, въ тѣ дни, „когда намъ было ново сказанье правды и добра“ и когда онъ еще не писалъ о женскомъ вопросѣ, вздумалъ было, порѣшивъ съ цивилизаціею луны, заняться вопросомъ о цивилизаціи Польши. Вопросъ былъ очень тонкій и щекотливый; нашъ философъ, какъ говорятъ,—желалъ разрѣшить его въ смыслѣ гг. Каткова и Аксакова, но на самомъ дѣлѣ рѣшилъ его такъ, что навлекъ на себя нареканіе въ сѣяніи „смуты и крамолы“, и Аксаковъ съ Катковымъ не только не одобрили его, но едва-

ли не первые обличили его въ измѣнѣ и призвали къ порядку. Философъ, — какъ, вѣроятно, помнятъ читатели, — совсѣмъ растерялся: онъ публично расплакался и покаялся. Все оказалось однимъ недоразумѣніемъ: философа не поняли; слова его превратно истолковали. Теперь та же исторія повторяется съ г. Достоевскимъ. Лѣтъ восемь тому назадъ написалъ онъ небольшой фантастическій разсказъ, который приняли въ то время за пасквиль на „одно лицо". Г. Достоевскій, какъ теперь оказывается, очень хорошо зналъ, въ какомъ именно смыслѣ понимается и комментируется его „Крокодилъ въ Пассажѣ", и однако, онъ тогда молчалъ, а теперь, почти черезъ цѣлое десятилѣтіе, онъ вдругъ начинаетъ увѣрять, что его превратно поняли, и что ему и на умъ не приходило писать пасквиль на упомянутое лицо.

8-го января нынѣшняго (1873) года, тотъ-же Достоевскій написалъ въ „Гражданинѣ" фельетонъ (такъ называемый „Дневникъ писателя"), въ которомъ увѣрялъ, будто наши присяжные одержимы маніей прощать преступниковъ, и доказывалъ вредныя и разрушительныя послѣдствія такой странной маніи. Изъ этого фельетона вообще слѣдовало, по логикѣ обыкновеннаго читателя, что авторъ не доволенъ дѣятельностію нашихъ судовъ съ присяжными и отрицательно относится къ правосудію ихъ приговоровъ. Но г. Достоевскій въ слѣдующемъ-же номерѣ „Гражданина" торжественно заявилъ, что его опять не поняли, и что статьѣ его придали такой смыслъ, какого она не имѣла или, по крайней мѣрѣ, не должна была имѣть. Изъ этихъ примѣровъ можно, кажется, заключить, что авторъ „Мертваго дома" обладаетъ печальною способностью говорить не то и не такъ, какъ-бы онъ хотѣлъ сказать; хочетъ онъ, напримѣръ, сказать, что столъ черенъ а бумага бѣла, а по его словамъ выходитъ, будто столъ сѣръ, а бумага желта и т. п. Несчастное неумѣніе сообразовать свои мысли и желанія съ словами, или, лучше сказать, полнѣйшее отсутствіе такта,—того такта, безъ котораго и умный человѣкъ рискуетъ прослыть за полоумнаго,—вотъ это-то и составляетъ, какъ кажется, характеристическую, болѣзненную особенность таланта г. Достоевскаго. Въ головѣ у него точно сидитъ какой-то *злой духъ* и, помимо воли и желанія бѣднаго автора, постоянно заставляетъ его выдѣлывать такіе поступки и произносить такія рѣчи, отъ которыхъ ему самому впослѣд-

ствіи приходится отрекаться. Теперь онъ отрекается отъ крокодиловской аллегоріи и отъ очевиднаго смысла своихъ фельетонныхъ упражненій въ „Гражданинѣ“, завтра онъ будетъ отрекаться отъ того значенія, которое, по мнѣнію всякаго обыкновеннаго читателя, должны имѣть его „Бѣсы“. Онъ точно такъ же, какъ и теперь, воскликнетъ съ благороднымъ негодованіемъ: „но гдѣ-же тому доказательства? Принесите мнѣ, что хотите: „Записки сумасшедшаго“, оду „Богъ“, „Юрія Милаславскаго“, стихи Фета,—что хотите, и я берусь вамъ вывести тотчасъ-же изъ первыхъ десяти строкъ, вами указанныхъ, что тутъ именно аллегорія о франко-прусской войнѣ или пасквиль на актера Горбунова,—однимъ словомъ, на кого угодно, на кого прикажете“. И г. Достоевскій останется въ наивномъ убѣжденіи, что онъ „жертва вечерняя“, „оскорбленная невинность“, непонятый герой, и что только человѣческая злоба можетъ усмотрѣть въ *гражданскихъ* фельетонахъ, въ его аллегоріяхъ и бѣсахъ—пасквили и инсинуаціи, что они такъ чисты и невинны въ гражданскомъ отношеніи, какъ „безглагольныя“ пѣснопѣнія Фета или „Записки сумасшедшаго“. Мнѣ кажется, что съ г. Достоевскимъ (если судить о немъ по его теперешнимъ отнѣкиваньямъ) случилось то-же, что и съ однимъ изъ его героевъ, описанныхъ въ „Двойникѣ“; читатель, можетъ быть, помнитъ, что въ „Двойникѣ“ авторъ представилъ тонкій и необыкновенно искусный анализъ нѣкотораго *психіатрическаго случая*, характеризующагося *раздвоеніемъ* сознанія. Человѣку кажется (впрочемъ, самъ больной иногда этого и не сознаетъ), будто въ немъ сидятъ два человѣка, будто у него не одно, а *два* „я“, каждое *я* ведетъ независимую, самостоятельную жизнь и не только не отвѣчаетъ, но иногда даже и не сознаетъ поступковъ другого *я*. Случай этотъ хорошо извѣстенъ медикамъ и, вѣроятно, не безызвѣстенъ и самому г. Достоевскому. Въ г. Достоевскомъ тоже сидятъ два человѣка, его сознаніе раздѣлилось на два *я*: одно *я* сознаетъ себя неспособнымъ писать пасквили и гордо объявляетъ, что оно „не торгуетъ своимъ перомъ“ и гнушается даже самой мыслей о какихъ нибудь „заискиваніяхъ au haut lieu“. Другое *я*—амикошествуетъ съ Мещерскимъ, сочиняетъ крокодиловъ, пишетъ инсинуаціи на присяжныхъ и соперничаетъ съ Лѣсковымъ въ „Бѣсахъ“. Я не хочу дѣлать первое *я* отвѣтственнымъ за поступки вто-

рого *я*; я вѣрю на слово г. Достоевскому, когда онъ увѣряетъ, будто его „не понимаютъ“, и „невѣрно перетолковываютъ“, т. е. я вѣрю на слово, что г. Достоевскій искренно отказывается отъ солидарности съ нѣкоторыми изъ своихъ поступковъ и съ настоящимъ смысломъ нѣкоторыхъ изъ своихъ писаній. Такимъ образомъ, авторъ „Бѣсовъ“ представляется намъ не просто кающимся и отрекающимся, а *двойникомъ*, одна половинка котораго кается и отрекается, а другая отнѣкивается отъ этого покаянія и отреченія.

Случай не совсѣмъ ординарный, но не невозможный; и если вы вспомните, какъ странны и *бѣсноваты* почти всѣ дѣйствующія лица въ повѣстяхъ и романахъ г. Достоевскаго, если вы вспомните, что большинство ихъ отличается какими-нибудь психическими аномаліями, то вы должны будете согласиться, что аномалія самого автора не изъ самыхъ удивительныхъ.

Но дѣйствительно-ли это—только психическая аномалія, а не что-нибудь хуже... или лучше, смотря по воззрѣніямъ каждаго? Иными словами, имѣетъ ли мы право вѣрить г. Достоевскому на слово и дѣлать его, такъ сказать, невмѣняемымъ?

По правдѣ говоря, вопросъ этотъ, взятый самъ по себѣ, не особенно важенъ; по крайней мѣрѣ, что касается меня, то я бы не сталъ ни на единую секунду утруждать имъ своего вниманія; оцѣнка нравственнаго достоинства и личнаго характера автора „Мертваго дома“ нисколько меня не занимаетъ. Но дѣло въ томъ, что отъ того или другого разрѣшенія этого вопроса зависитъ рѣшеніе и вопроса о художественномъ талантѣ г. Достоевскаго, — а послѣдній литературная критика уже никакъ не можетъ обойти. Вотъ почему мы начнемъ именно съ провѣрки предположенія, допускающаго въ авторѣ не столько сознательную умышленность, сколько болѣзненное настроеніе ума.

Стоитъ только припомнить все, что писалъ г. Достоевскій, въ качествѣ публициста, въ журналѣ своего покойнаго брата, стоитъ вспомнить, какая тенденція была пришита къ роману „Преступленіе и Наказаніе“ и какъ многимъ „Бѣсы“ позаимствовались отъ „Некуда“, стоитъ, наконецъ, припомнить фельетоны „Гражданина“, и мы безъ труда поймемъ, почему г. Достоевскій прослылъ за „кающагося и отрекающагося“.

Но, съ другой стороны, въ публицистическихъ и беллетристическихъ писаніяхъ этого „покаявшагося“ грѣшника невольно обращаетъ на себя вниманіе слѣдующее обстоятельство: въ своихъ публицистическихъ статьяхъ г. Достоевскій имѣетъ обыкновеніе выражаться такъ неясно, неопредѣленно, такъ мистически-туманно, такъ аллегорично (онъ очень любитъ аллегорію), что легко можно усомниться въ томъ, понимаетъ ли онъ самъ внутренній смыслъ того, что пишетъ. Въ лучшемъ случаѣ, онъ двусмысленъ, потому онъ всегда имѣетъ и будетъ имѣть возможность жаловаться, что его не понимаютъ и превратно толкуютъ. При отсутствіи раздвоенности въ его мысляхъ, такой фактъ было бы трудно объяснить; тѣмъ болѣе, что откровенное покаяніе не должно, повидимому, допускать никакой двусмысленности, никакой неопредѣленности. Еще болѣе двусмысленности и раздвоенности представляютъ два только что упомянутыя беллетристическія произведенія автора „Мертваго дома“. Дѣло въ томъ, что г. Достоевскій во всѣхъ своихъ беллетристическихъ упражненіяхъ исключительно ограничивается анализомъ *психіатрическихъ* аномалій человѣческаго характера, живописаніемъ внутренняго міра психически больныхъ людей. Само собою понятно, что никакія тенденціозныя обобщенія тутъ невозможны: нельзя же по больнымъ людямъ судить о здоровыхъ, и *чертикъ* Достоевскаго всегда остается въ дуракахъ, а самъ Достоевскій всегда имѣетъ предлогъ отнѣкиваться отъ его проказъ. Только одна психическая раздвоенность можетъ объяснить такое удивительное явленіе: съ одной стороны, г. Достоевскій никогда не выходитъ изъ своей спеціальности, и постоянно занимаетъ насъ разсказами о душевныхъ состояніяхъ разныхъ идіотовъ, маніаковъ, меланхоликовъ, эпилептиковъ; съ другой—ему очень хочется провести какую-нибудь *покаянную* тенденцію, *нѣчто* обличить и *кого-то* заклеймить. Но такъ-какъ тенденція бьетъ на изобличеніе здоровыхъ людей, а романистъ всегда имѣетъ дѣло съ больными людьми, то его тенденціозность находится въ вѣчномъ разладѣ съ его художественностью, его первое *я* съ его вторымъ *я*. Нагляднѣе всего доказываетъ это послѣднее его произведеніе— „Бѣсы“.

Помимо детальныхъ подробностей, авторъ преслѣдуетъ въ романѣ какую-то не то благонамѣренную, не то мистиче-

скую тенденцію; тенденція эта, въ короткихъ словахъ, формулируется такимъ образомъ: всѣ эти ваши, тамъ, „мечтанія“, „начинанія“, „новыя люди“ и т. п.—все это не болѣе, какъ бѣсы, вышедшіе изъ больной Россіи и, подобно евангельскимъ бѣсамъ, перешедшіе въ *свиней*, т. е. въ „мечтающихъ юношей“. „Юношамъ“, обороченнымъ въ „свиней“, ничего, разумѣется, болѣе не остается, какъ „броситься со скалы въ море“ и потонуть; т. е. говоря не метафорически, а юридически, окончить жизнь самоубійствомъ или подпасть подъ дѣйствіе нѣкоторыхъ статей уголовнаго кодекса... Такъ просто, такъ удивительно просто формулируетъ *Бѣсъ* г. Достоевскаго свои отношенія къ окружающей его современности; г. Достоевскій могъ бы превзойти въ подвигахъ покаянія самыхъ аскетическихъ подвижниковъ россійской литературы. Но двойственность его внутренняго міра нейтрализуетъ ядовитость его чертика, и подвиги покаянія превращаетъ въ безцѣльное кривляніе. Не будь авторъ двойникомъ, — этого, конечно, никогда бы не могло случиться. Но почему эта двойственность автора почти или, лучше сказать, нисколько незамѣтная въ его первыхъ произведеніяхъ, съ такою откровенною рѣзкостью обнаруживается въ его послѣднихъ писаніяхъ и въ особенности въ „Бѣсахъ“? Я думаю: тутъ-то именно и доказалъ г. Достоевскій, на собственномъ примѣрѣ, что отрицать „философію среды“ еще не значитъ эмансипировать себя отъ капризныхъ „вѣяній“ этой „среды“. „Среда“ сыграла съ нимъ злую шутку. „Ты позволяешь себѣ отрицать меня, высокомѣрно относиться ко мнѣ, можетъ сказать ему „среда“—презрительно смотрѣть на людей, которые проповѣдуютъ *мою* философію, — „философію среды“ (слово, сочиненное самимъ г. Достоевскимъ), ты усматриваешь въ этой философіи подкопъ подъ общественную нравственность, обезличеніе человѣка, ниспроверженіе основъ уголовнаго, а слѣдовательно, и всякаго другого права, и т. д. Хорошо, посмотри теперь самъ на себя. Что ты такое, какъ не игрушка въ моихъ рукахъ, развѣ ты не продѣлывалъ всѣхъ тѣхъ штукъ, которыя я заставляю тебя продѣлывать? Развѣ ты не мечталъ и не увлекался, когда я мечтала и увлекалась? Развѣ ты не каялся и не отрекался, когда я каялась и отрекалась? „Среда“ жаждетъ теперь сплетенъ, скандаловъ, Офенбаха и танцъ-классовъ. Давайте больше и больше сплетенъ, сканда-

ловъ, раздражайте сильнѣе спинной мозгъ читателя, заставляйте его волосы подыматься дыбомъ, потѣшайте его, смѣшите его или пугайте, но только не заставляйте его думать и оглядываться. „Г. Достоевскій — человѣкъ среды, и онъ не могъ остаться глухъ къ ея потребностямъ; не онъ одинъ... большинство нашихъ беллетристовъ и публицистовъ на перерывъ спѣшатъ приспособиться къ капризнымъ вожделѣніямъ этой среды. Достоевскій поплылъ по теченію вмѣстѣ съ другими, но въ то время, какъ другіе умѣли отдаться этому теченію вполнѣ и нераздѣльно, нашъ бѣдный романистъ поплылъ какъ-то бокомъ, постоянно оборачивая одну половину тѣла назадъ, а другую впередъ. Тутъ-то ему и пришлось раздвоиться. Это была дань „духу времени“. И опять таки, не съ одного него была взята такая дань. Почти всѣ современные (это еще не значитъ *новые*; читатель знаетъ, что новое и современное давно уже перестали быть синонимами) беллетристы были захвачены, какъ бы въ расплохъ, новѣйшими требованіями среды. „Первнаго раздраженія, скандаловъ, ужасовъ, пикантностей“, предъявляетъ имъ среда свой ультиматумъ. А откуда имъ ихъ взять? Въ жизни, правда, никогда не ощущалось недостатка ни въ скандалахъ, ни въ ужасахъ, ни въ чертовщинѣ. Но на бумагѣ ничего не выходитъ; яркія черты дѣйствительности тускнѣютъ и стираются, все становится какъ-то вяло и безцвѣтно, какъ-то мутно и грязно. Въ результатѣ не оказывается не только никакого раздраженія, но даже и никакого пріятнаго препровожденія времени. Въ другомъ мѣстѣ я старался объяснить, почему именно это такъ и должно было случиться. У нашихъ беллетристовъ, въ силу чисто историческихъ причинъ, не могла развиться творческая фантазія, они не способны, какъ и ихъ читатели, ни глубоко чувствовать, ни смотрѣть прямо въ глаза неприглядной дѣйствительности; они способны только резонировать да анализировать, т. е. нагонять скуку, но скуки и безъ нихъ такъ много, что читатели не знаютъ, куда отъ нея дѣваться. Не обладая ни воображеніемъ ни глубиною чувствъ и въ то же время основательно опасаясь конкуренціи такихъ виртуозныхъ сочинителей скандаловъ, какъ Дрозъ, Габоріо и пр. — наши бѣдные романисты принялись за туземную фабрикацію „ужастей“ и „пикантностей“. Но тутъ-то и обнаружилась вся бѣдность ихъ творческихъ рессурсовъ; на первыхъ-же ша-

гахъ пришлось обратиться за помощью и совѣтомъ къ полицейскимъ агентамъ, судебнымъ слѣдователямъ и даже просто къ стенографисткамъ окружныхъ судовъ. Конечно, это еще не бѣда, почему же и не позаимствоваться, когда это такъ легко и общедоступно? Матеріалъ самый богатый, повидимому, изъ него можно-бы было выкроить столько романовъ, что на каждаго беллетриста пришлось-бы въ годъ, по скромному расчету, дюжины по двѣ. Но полицейскіе агенты, судебные слѣдователи и стенографы давали только грубые факты, сырье; чтобы воспользоваться ими, нужно было предварительно обработать ихъ, прогнать ихъ, какъ говорится, сквозь горнило творческаго вдохновенія; безъ такой обработки и прогонки они не только не могли произвести на читателя желаемаго эффекта, но скорѣе могли нагнать на него опять таки одну скуку. Что за удовольствіе читать въ двухъ изданіяхъ разсказъ объ одномъ и томъ-же происшествіи, что за удовольствіе, развертывая новый романъ, натыкаться на старую газетную корреспонденцію, на старый стенографическій отчетъ? Притомъ, если фактъ дѣйствительной жизни вклеивается цѣликомъ и безо всякихъ существенныхъ измѣненій въ рамки какой-нибудь вымышленной фабулы, то онъ всегда производитъ впечатлѣніе суконной заплаты на атласномъ платьѣ. Процессъ воспроизведенія и передача дѣйствительно совершившихся фактовъ — это два совершенно различные и, во многихъ отношеніяхъ, діаметрально противоположные процесса, смѣшивать ихъ никогда не слѣдуетъ. Чѣмъ болѣе второй процессъ будетъ вмѣшиваться въ дѣятельность перваго, тѣмъ несовершеннѣе и неудовлетворительнѣе будетъ послѣдній. Беллетристъ, пичкающій свои романическіе вымыслы сырыми и непереработанными фактами и анекдотами изъ дѣйствительной жизни, перестаетъ быть художникомъ, и превращается въ простого хроникера, а подчасъ и въ сплетника. Наши беллетристы способны лишь на живописаніе *внутреннихъ* состояній человѣка, на отдѣлку разныхъ психологическихъ тонкостей и деталей, а между тѣмъ, та-же среда, которая выработала въ нихъ этотъ ограниченный талантъ, та-же среда требуетъ отъ нихъ теперь „пикантнаго“ и „ужаснаго“. За отсутствіемъ у насъ литературы скандалезныхъ мемуаровъ и семейныхъ хроникъ, беллетристамъ по необходимости приходится дѣлать постоянныя вторженія въ область уголовно-

полицейскаго права. При нѣкоторомъ навыкѣ и при нѣкоторомъ (хотя бы и весьма поверхностномъ) знакомствѣ съ практикою полицейскихъ сыщиковъ, слѣдователей и т. п. можно, разумѣется, и не придерживаться слишкомъ слѣпо документальныхъ данныхъ, а сочинять уголовные случаи „изъ головы“, какъ это, напримѣръ, дѣлаетъ извѣстный Крестовскій. Но отъ такого „сочинительства“ произведеніе автора не становится ни на волосъ художественнѣе, оно только перестаетъ быть правдоподобнымъ и нерѣдко является, дѣйствительно, стоящимъ „внѣ законовъ“ всякаго здраваго смысла. Впрочемъ, г. Достоевскій не принадлежитъ къ числу подобныхъ „сочинителей“, онъ всегда строго и буквально придерживается „документовъ“; безъ ихъ помощи онъ не въ состояніи сочинить ни одной „ужасти“, даже ни одной сплетни, ни одного скандала. Да, даже простого скандала, если онъ требуется романическимъ вымысломъ, онъ не способенъ изобрѣсти путемъ самостоятельнаго творчества.

Романъ г. Достоевскаго „Бѣсы“ доказываетъ самымъ безспорнымъ образомъ то, что было, впрочемъ, очевидно и по первому его роману „Бѣднымъ людямъ“ — отсутствіе въ авторѣ всякой творческой фантазіи. Напрасно авторъ думалъ впослѣдствіи (въ „Преступленіи и Наказаніи“, и въ „Идіотѣ“), когда явился спросъ на „ужасное“, дополнить этотъ существенный недостатокъ своего таланта фантастическими вымыслами; напрасно онъ прибѣгалъ къ театральнымъ эффектамъ, безжалостно эксплуатируя и свои собственные нервы и нервы своихъ читателей,—изъ его потугъ ничего не выходило, кромѣ самыхъ безобразныхъ нелѣпостей, во вкусѣ французскихъ беллетристическихъ ремесленниковъ. Только у послѣднихъ фантастическій вымыселъ всегда отличается большею смѣлостью, чѣмъ у нашего автора. Въ „Бѣсахъ“ окончательно обнаруживается творческое банкротство автора „Бѣдныхъ людей“: онъ начинаетъ переписывать судебную хронику, путая и перевирая факты, и наивно воображаетъ, будто онъ создаетъ художественное произведеніе. Подобно большинству нашихъ беллетристовъ, и г. Достоевскій способенъ лишь на анализъ внутренняго міра человѣческой души, на психологическое резонерство; когда онъ выходитъ за предѣлы этого внутренняго міра, когда онъ даетъ волю своей творческой фантазіи, когда изъ анализирующаго психо-

лога онъ пытается стать обобщающимъ художникомъ, онъ впадаетъ въ нелѣпость и односторонность, и тутъ-то его талантъ выказывается во всей своей яркости. Вы видите, что дальше психологическаго анализа онъ не можетъ итти, что за предѣлами психологіи онъ совершенно безсиленъ. Но и внутренній міръ человѣческой души доступенъ его анализу только *отчасти*, только въ нѣкоторыхъ своихъ проявленіяхъ; и въ этомъ отношеніи г. Достоевскій мало чѣмъ отличается отъ прочихъ россійскихъ романистовъ. Я уже имѣлъ случай не разъ замѣтить, что наши романисты ограничиваются обыкновенно разработкою одной какой-нибудь группы человѣческихъ чувствъ, душевныхъ настроеній и т. п. одной какой-нибудь стороною человѣческаго характера. Излюбленное чувство ихъ—любовь, излюбленное душевное состояніе—почти всегда раздоръ съ самимъ собою и, такъ сказать, внутренній маразмъ,—привлекаетъ къ себѣ все вниманіе романиста, на нихъ сосредоточивается весь интересъ воспроизводимой имъ жизни,—все остальное стушевывается и отходитъ на задній планъ. Оттого нашему романисту никогда не удавалось и не удается создавать цѣлостные характеры, но за то часто удавалось и удается съ поразительною рельефностью живописать нѣкоторыя отдѣльныя чувства и изолированныя душевныя состоянія. У г. Достоевскаго есть тоже своя группа психическихъ явленій, и ихъ исключительнымъ анализомъ, ихъ постояннымъ воспроизведеніемъ исчерпывается весь его талантъ. Излюбленная имъ группа, съ одной стороны, довольно тѣсно примыкаетъ къ тѣмъ душевнымъ состояніямъ, которыя, по преимуществу, эксплуатируются россійскими беллетристами; но, съ другой стороны, она, если хотите, и весьма рѣзко отличается отъ нихъ. Впрочемъ, это различіе, на самомъ дѣлѣ не такъ велико, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Герои г. Достоевскаго почти всегда ненормальные люди съ рѣзко обнаруживаемыми признаками умственной болѣзни; авторъ съ особенною любовію анализируетъ именно болѣзненныя явленія человѣческой души, извращенія человѣческихъ чувствъ и мыслей; психіатрія—вотъ его спеціальность, и вотъ почему онъ занимаетъ какъ бы исключительное мѣсто въ стаѣ славныхъ нашихъ беллетристовъ; однако тѣ душевныя состоянія, которыя чаще всего воспроизводятся нашими беллетристами, не только не отли-

чаются никакою слишкомъ рѣзкою чертою отъ болѣзненныхъ явленій, воспроизводимыхъ г. Достоевскимъ, но, напротивъ, находятся съ ними въ близкомъ родствѣ: послѣднія составляютъ какъ-бы естественный продуктъ, окончательный результатъ первыхъ. Душевная дряблость и инертность, вѣчная возня съ своими внутренностями, вѣчный разладъ съ самимъ собою, вѣчное резонерство, отсутствіе живой, свободной, чуждой мелко-эгоистическихъ интересовъ дѣятельности, рѣшительная неспособность активнаго сопротивленія гнетущимъ вліяніямъ „среды“,—вотъ основной фонъ, вотъ тѣ существенные моменты, изъ которыхъ по преимуществу слагаются характеры героевъ, живописуемыхъ нашими романистами. Конечно, эти моменты выбраны не случайно, не въ силу какого-нибудь каприза; они дѣйствительно являются господствующими моментами въ характерахъ живыхъ людей нашей мѣщанско-интеллигентной среды, въ ея семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, въ ея теоретическихъ идеалахъ и нравственныхъ доктринахъ, во всемъ складѣ ея умственнаго міросозерцанія. Но хотя эти свойства нашего характера находятъ свое полное оправданіе въ условіяхъ нашихъ общественныхъ отношеній, хотя они составляютъ законный продуктъ нашего историческаго образованія, тѣмъ не менѣе въ нихъ нельзя видѣть здороваго, нормальнаго проявленія психической жизни человѣка. Не составляя сами по себѣ болѣзни, они составляютъ, однако, какъ-бы предверіе болѣзни, почву, въ высокой степени благопріятную для развитія психическихъ аномалій; ими начинается вырожденіе человѣческаго характера,—вырожденіе, оканчивающееся идіотизмомъ, эпилепсіею, нравственнымъ или мыслительнымъ помѣшательствомъ. Особенно легко и почти незамѣтно они переходятъ въ такъ называемую *меланхолію;* въ большей части случаетъ почти невозможно даже опредѣлить, гдѣ кончается та „ветхость внутренняго человѣка“, которую воспѣвалъ г. Тургеневъ, и гдѣ начинаются тѣ ясно выраженныя формы умственной болѣзни, которыя съ большимъ искусствомъ анализируетъ г. Достоевскій. Въ произведеніяхъ самого г. Достоевскаго читатель встрѣтитъ множество характеровъ, представляющихъ какъ бы переходную ступень отъ здоровья къ болѣзненному состоянію. Таковъ, напримѣръ, характеръ героя „Бѣдныхъ людей“, Раскольникова въ „Преступленіи и Наказаніи“, Прокофія въ „Идіотѣ“,

Вельчанинова въ „Вѣчномъ мужѣ“, наконецъ, Степана Трофимовича Верховенскаго въ „Бѣсахъ“ и т. д...“

Далѣе, переходя къ анализу дѣйствующихъ лицъ романа „Бѣсы“, Никитинъ говоритъ: „Люди изъ „либераловъ-идеалистовъ“ à la Верховенскій, или матери изъ категоріи помѣщицъ-самодурокъ à la Ставрогина, имѣли прекрасное обыкновеніе держаться относительно воспитанія своихъ дѣтей спокойнаго правила laissez-faire. Сбывъ ребенка въ какое-нибудь казенное заведеніе, сдавъ на руки гувернеру или учителю, они считали свою воспитательную роль оконченною и тщательно воздерживались отъ всякаго вліянія на подроставшее поколѣніе. Конечно, это дѣлалось не ради какого-нибудь отвлеченнаго принципа, а просто по лѣни, эгоизму да невѣжеству. Люди, подобные Верховенскимъ и Ставрогинымъ, очень хорошо знали, что въ тепличной атмосферѣ крѣпостного быта дѣти должны были расти чисто-растительною жизнію; отъ нихъ не требовалось ни развитія активной воли ни воспитанія общественнаго чувства, тѣмъ менѣе образованія, которое бы становилось въ разрѣзъ съ общественнымъ кодексомъ крѣпостныхъ понятій и привычекъ. Такъ какъ будущая карьера ребенка заранѣе опредѣлялась извѣстнымъ служебнымъ рангомъ, и матеріальное его обезпеченіе готовымъ крестьянскимъ оброкомъ, то родительскія заботы о раціональномъ воспитаніи были совершенно излишни. Да и къ чему бы послужило это воспитаніе, если бъ оно и сознавалось въ такой невѣжественной и лѣнивой школѣ, какъ маменьки Ставрогины и папеньки Верховенскіе, когда дальнѣйшее умственное развитіе дѣтей обусловливалось, по преимуществу, интересами и умственнымъ складомъ той среды, въ которую они попадали. Правда, въ большинствѣ случаевъ, интересы и умственное міросозерцаніе этой среды ничѣмъ существеннымъ не отличались отъ интересовъ и міросозерцанія родителей. Дѣти попадали обыкновенно въ житейскіе тиски такихъ же самодуровъ или такихъ же тряпичныхъ идеалистовъ, какими были и ихъ почтенные папеньки и маменьки. Но съ дѣтьми гг. Верховенскихъ и Ставрогиныхъ приключилась неожиданная штука: въ тотъ самый моментъ, когда имъ пришло время учиться, та среда, которой было препоручено ихъ обученіе, подверглась вторженію нѣкоторыхъ новыхъ, рутинно непредусмотрѣнныхъ умственныхъ элементовъ. Дѣ-

тей охватилъ потокъ какихъ-то „идей“, ни разу еще не попадавшихъ въ прописи, какихъ-то „высшихъ интересовъ“, весьма мало гармонировавшихъ съ реальными интересами ихъ отцовъ. Можетъ быть, эти дѣти, всѣ эти Верховенскіе, Ставрогины, Шатовы, Кирилловы, Виргинскіе etc. etc. при иной наслѣдственной организаціи и не оказались бы слишкомъ падкими на „новыя идеи“ и „высшіе интересы“; но организація то ихъ была ужъ очень воспріимчива. Восковыя свойства нашихъ душъ, конечно, еще не разъ дадутъ себя знать въ нашей послѣдующей исторіи, и мы имъ будемъ обязаны еще многими чудными метаморфозами въ близкомъ будущемъ. Но едва ли хоть одна изъ предстоящихъ намъ метаморфозъ будетъ заключать въ себѣ столько трагическаго элемента, сколько та метаморфоза, которая превратила законныхъ дѣтищъ гг. Верховенскихъ, Ставрогиныхъ, Шатовыхъ, Кирилловыхъ etc. въ „рыцарей идей“. Это была просто какая-то глупая и въ то же время безчеловѣчная иронія судьбы: изъ воска вздумали лѣпить фигуры, предназначенныя для мышленія! Какая несообразность! Но это еще не все: позволивъ этимъ фигуркамъ думать, желать, создавать великолѣпнѣйшіе идеалы, имъ не дали ни малѣйшей возможности осуществлять свои желанія, переводить теорію въ практику, идеалъ—въ дѣйствительность. Ихъ идеи были какъ бы законопачены въ ихъ головахъ; если имъ и позволялось иногда вылѣзать наружу, то все-таки не иначе, какъ подъ формою все той же абстрактной идеи. Вѣчно носить въ умѣ идеи, которымъ никогда не суждено перейти въ дѣло, т. е. дойти до послѣдняго фазиса развитія каждой мысли,—это уже само по себѣ пытка, и страшно-мучительная пытка. Однако, и это еще было не все. Можно жить, и даже очень пріятно жить, одними идеями, не мечтая объ ихъ практическомъ осуществленіи, если только въ запасѣ имѣется достаточное количество пищи для постояннаго обновленія и развитія этихъ идей. Въ этомъ случаѣ самый процессъ развитія идей до такой степени можетъ увлечь человѣка въ міръ безпечальнаго созерцанія „отвлеченностей“, что до всего прочаго, до практическаго міра реальныхъ конкретностей ему и дѣла никакого не будетъ; онъ станетъ самодовольно наслаждаться въ своемъ царствѣ, и хотя это царство только идеальное царство, но онъ не промѣняетъ его на царство реальное, земное. Какъ бы ни

шла въ разрѣзъ дѣйствительность съ его идеалами—это нисколько не разстроитъ его счастливаго настроенія духа, а только еще болѣе заставитъ его привязаться къ послѣднимъ и стать въ сторонѣ отъ первой. Не въ такомъ положеніи очутилось несчастное потомство господъ Верховенскихъ и Ставрогиныхъ. Въ ихъ головы было втиснуто нѣсколько идей, но имъ не надо было никакихъ прочныхъ рессурсовъ для питанія и развитія этихъ идей. Жить идеями, полюбить эти идеи, и въ то же время не имѣть возможности ни осуществлять ихъ во внѣ ни поддерживать внутренній процессъ ихъ развитія—вотъ по истинѣ великая пытка, способная сломить и *желѣзнаго*, не только *восковаго* человѣчка! И на эту пытку осудила жизнь ничѣмъ неповинное потомство Верховенскихъ и Ставрогиныхъ. Конечно, и сами родители не могутъ тутъ „умыть рукъ". Не могутъ они сказать: „мы тутъ не при чемъ; независящія отъ насъ обстоятельства сдѣлали изъ нашихъ дѣтей то, чѣмъ они никогда не сдѣлались бы, если бы..." и т. д. Правда, на счетъ идей—отцы неповинны; эти идеи, по большей части, забрались въ юныя головы, какъ уже сказано, безъ отцовской воли и благословенія. Но воскоподобный характеръ, но трусливая пассивность, слабость мозговъ, привычка къ умственной спячкѣ—развѣ это не отцовское наслѣдіе и развѣ не ему обязаны дѣти своей трагической судьбой? Конечно, тутъ были и другія условія, имѣвшія роковое значеніе въ ихъ жизни, но все-таки за ними никогда не слѣдуетъ просматривать вліяніе наслѣдственности. Спору нѣтъ, что дѣйствительность слишкомъ мало гармонировала съ лучшими стремленіями, навѣянными новыми идеями, конечно, требовалось много героизма, чтобы вступить съ нею въ борьбу; все это вѣрно. Однако-жъ вѣрно и то, что борьба, какъ бы она ни была сама по себѣ безнадежна, въ тысячу разъ лучше вѣчнаго приготовленія къ ней, безконечныхъ сборовъ и никогда неосуществляющихся ожиданій. Тамъ все-таки дѣятельность, тамъ жизнь, здѣсь пассивное, сонное прозябаніе. Человѣкъ, вступившій въ борьбу, не чувствуетъ ранъ, наносимыхъ ему вражескимъ оружіемъ, онъ не замѣчаетъ своей крови, ему некогда ни скучать ни отчаиваться; онъ забываетъ о самомъ себѣ, и хотя онъ погибаетъ, но вы не назовете его несчастнымъ. Несчастенъ, глубоко несчастенъ только тотъ человѣкъ, который падаетъ и изне-

могаетъ еще прежде, чѣмъ вступить въ реальную борьбу, который самъ вѣчно убиваетъ себя малодушнымъ сомнѣніемъ и, постоянно приготовляясь къ чему-то, постоянно опускаетъ руки, съ отчаяніемъ восклицая: Зачѣмъ? Что изъ этого выйдетъ? Что я могу сдѣлать? При подобномъ настроеніи духа, идея, требующая энергіи, является дѣйствительно мучителемъ человѣка, она тиранитъ его и, взамѣнъ этихъ мученій, не обѣщаетъ ему никакихъ радостей. Разъ попавъ въ человѣческую голову, и не находя тамъ никакихъ матеріаловъ для своего дальнѣйшаго внутренняго развитія и никакихъ средствъ для своего внѣшняго осуществленія на практикѣ, она становится какимъ-то уже чистопатологическимъ явленіемъ. Задержанная въ своемъ логическомъ развитіи, она безпорядочно вмѣшивается во всѣ сферы внутренней жизни человѣка, насильно ввязывается въ такія психическіе процессы, которые безъ нея совершались бы гораздо правильнѣе; она получаетъ какое-то уродливое, ненормальное развитіе... Прибавьте къ этому тотъ унаслѣдованный болѣзненный темпераментъ, о которомъ я говорилъ выше, и вы легко поймете, что метаморфоза, превратившая „либераловъ-идеалистовъ“, „самодуровъ“, лакействующихъ крѣпостныхъ въ „рыцарей идей“, въ протестантовъ, что эта метаморфоза создала почву, въ высокой степени благопріятную для развитія психическихъ аномолій, умственнаго помѣшательства. Я не хочу этимъ сказать, будто умственное помѣшательство было необходимымъ, естественнымъ продуктомъ тѣхъ психическихъ и общественныхъ условій, при которыхъ росли разные Шатовы, Кирилловы, Верховенскіе и имъ подобные,—что личности, въ родѣ названныхъ, должны быть типическими представителями своего поколѣнія. Нѣтъ, и у этого поколѣнія, несмотря на всѣ благопріятныя обстоятельства, болѣзненное вырожденіе характера уже потому не могло сдѣлаться общимъ, обыденнымъ явленіемъ, что оно имѣло, подобно поколѣнію отцовъ, восковую душу. Восковая душа, облегчивъ съ одной стороны, усвоеніе новыхъ идей, проникновеніе новыми интересами, съ другой, предохранила юношей отъ печальныхъ послѣдствій метаморфозы, ускорила или, по крайней мѣрѣ, сдѣлала возможнымъ ея обратный процессъ: отъ „рыцаря идеи“ къ либералу-идеалисту, отъ смѣлаго теоретика къ осторожному практику, отъ протестанта къ вялому самодуру или къ

пассивно подчиняющемуся человѣку. Восковая душа спасла многихъ отъ отчаянія и самыхъ непримиримыхъ превратила въ тихенькихъ овечекъ; она приспособила большинство къ новымъ или, лучше сказать новѣйшимъ требованіямъ жизни, и, такимъ образомъ, благодаря ей, дѣтская трагедія окончилась водевилемъ съ переодѣваніями. Восковая душа облегчила непосредственный переходъ дѣтей господъ Верховенскихъ и Ставрогиныхъ въ адвокатуру, земство, пристроила ихъ къ концессіямъ, ко всевозможнымъ акціонернымъ компаніямъ, къ желѣзнодорожному дѣлу, къ обществу поощренія русской торговли и промышленности и т. п. Вообще воскъ, какъ извѣстно, вещество весьма пригодное для выдѣлки маленькихъ фигурокъ, и воскового рыцаря идей очень легко было перелѣпить въ современнаго Молчалина. Для того, чтобы человѣкъ могъ помѣшаться на идеѣ, нужно, чтобы онъ былъ вообще способенъ крѣпко прилѣпиться къ идеѣ, чтобы она сдѣлалась выдающимся, господствующимъ факторомъ его душевной дѣятельности. Но воскъ очень мягокъ, и вылѣпленныя изъ него формы не отличаются большою прочностью; ихъ безъ особаго труда можно смять и передѣлать. Вотъ почему, какъ я уже сказалъ, помѣшательство, несмотря на условія, несомнѣнно ему благопріятствовавшія, все-таки не сдѣлалось явленіемъ общимъ, а скорѣе является, какъ нѣкоторое исключеніе. Но если рѣзко выраженныя формы умственныхъ болѣзней и составляютъ рѣдкое изъятіе изъ общаго правила, то нельзя того же сказать о формахъ, менѣе ясно выраженныхъ, о тѣхъ формахъ, которыя являются какъ-бы переходною ступенью между здоровымъ и больнымъ состояніемъ человѣческой души. Идеи, запертыя въ головахъ, въ уединенное заключеніе и посаженныя на весьма скудную діэту, не могутъ развиваться вполнѣ нормально; желанія, которымъ никогда не суждено удовлетворяться, не могутъ не оставлять слѣда какой-то приниженности, недовольства на общемъ фонѣ психической жизни. И пока уединенно законопаченныя идеи окончательно не повытряхаются изъ головы, пока не замрутъ желанія и не затушуются высшіе интересы другими интересами, хотя и не столь возвышенными, но за-то болѣе реальными, пока всѣ эти метаморфозы не совершатся въ восковой душѣ юноши, до тѣхъ поръ въ этой душѣ есть много поводовъ къ развитію психическихъ аномалій. Мы ука-

зали нѣкоторые изъ нихъ, но еще не всѣ; были и другіе и, быть можетъ, не менѣе существенные. Здѣсь намъ нѣтъ надобности перечислять ихъ отъ перваго до послѣдняго, но нельзя не остановить вниманія, по крайней мѣрѣ, хоть на одномъ изъ нихъ,—на рѣшительномъ преобладаніи интеллектуальной жизни надъ прочими сторонами характера дѣтей. Такое отсутствіе равновѣсія въ отправленіяхъ психическаго организма, взятое само по себѣ, можетъ быть, и не составляетъ недостатка, и во всякомъ случаѣ никто не увидитъ въ немъ болѣзненую аномалію. Но вспомните, что психическій организмъ младшихъ Ставрогиныхъ, Верховенскихъ и др. былъ весьма мало подготовленъ къ подобному казусу; вспомните, что длинный рядъ предшествующихъ генерацій велъ жизнь, по преимуществу, растительную; что у этихъ полу-людей элементъ чувственно-животный рѣшительно преобладалъ надъ элементомъ интеллектуальнымъ; вспомните, что нѣкоторыя изъ этихъ дѣтей, какъ, напр., Шатовъ, непосредственно вышли изъ той среды, „суровой среды“, гдѣ, по мѣткому замѣчанію одного современнаго поэта. „поколѣнія людей живутъ безмысленнѣй звѣрей и мрутъ безъ всякаго слѣда и безъ урока для дѣтей“. И вдругъ этотъ слабый интеллектъ, непривыкшій къ самостоятельной работѣ, всегда игравшій второстепенную подчиненную роль, возводится на степень главнаго, преобладающаго фактора душевной жизни; ему передаютъ всѣ бразды внутренняго управленія, ему стараются насильственно подчинить тѣ чисто-инстинктивныя проявленія человѣческой природы, которыя еще такъ недавно считались неподлежащими никакому разумному контролю. Развѣ подобный психическій переворотъ, развѣ это неожиданное перемѣщеніе центровъ тяжести психической жизни не грозитъ весьма серьезными опасностями бѣдному уму дѣтей? Правда, и тутъ восковыя свойства ихъ души помогли имъ и счастливо выручили изъ бѣды; „жизнь по принципу“, надъ которой въ свое время такъ много смѣялись, въ которой, дѣйствительно, часто встрѣчалось не мало нелѣпостей и эксцентричностей, но которая все-таки показывала, что у человѣка преобладаетъ критика надъ рутиною, разумность надъ животностью,—эта жизнь очень скоро выродилась въ пустое и водянистое резонерство, язву нашихъ дней.

Наконецъ, нельзя не указать еще на одно обстоятельство,

въ высокой степени благопріятствовшее болѣзненному вырожденію характеровъ,—это тѣ внѣшнія условія, та матеріальная обстановка, въ которой очутилось большинство дѣтей послѣ отмѣны крѣпостного права. Здѣсь не мѣсто говорить подробно объ этихъ условіяхъ, но никто не станетъ отрицать, что даже съ чисто-гигіенической точки зрѣнія они были крайне неудовлетворительны. Жизнь пролетарія, а именно такую жизнь приходилось вести разнымъ Верховенскимъ, Виргинскимъ, Шатовымъ, Кирилловымъ и т. п., уже сама по себѣ представляетъ весьма мало шансовъ для здороваго развитія человѣческаго организма. Только натуры энергическія, только дѣятельные и мужественные характеры, только люди, привыкшіе къ самостоятельному труду, не раздавленныя ея тяжелымъ бременемъ, только они въ состояніи выйти цѣлыми и невредимыми изъ той тяжелой борьбы, которую она имъ готовитъ. Но потомство людей сороковыхъ годовъ, какъ мы уже знаемъ, не отличалось подобными качествами; имъ негдѣ и некогда было выработаться. Крѣпостное право—завѣщало имъ лѣнь, непривычку къ дѣятельной жизни, пассивность и вялость. И съ такими свойствами имъ пришлось попасть въ обстановку пролетарія! Правда, и это вліяніе не долго имѣло мѣсто. Скоро для дѣтей открылись заманчивыя перспективы практической дѣятельности; потребовались „дѣятели и сѣятели", открылись вакансіи въ судебномъ вѣдомствѣ, пошли въ ходъ разные банки, акціонерныя, торговыя, техническія и иныя общества, бѣдняку была брошена довольно вкусная подачка, и настроеніе его духа совершенно измѣнилось. Но все это случилось уже нѣсколько позже. Условія жизни юношества измѣнились, и восковыя свойства его души гарантировали его отъ дальнѣйшихъ умственныхъ и нравственныхъ потрясеній. Тѣмъ не менѣе, однако, раньше, какъ мы старались выше объяснить, несомѣнно существовалъ такой моментъ, когда всѣ условія—и наслѣдственныя предрасположенія, и внѣшняя обстановка, и характеръ воспитанія,—были въ высокой степени благопріятны для развитія психическихъ аномалій, весьма близко приближающихся къ концу пограничной области, отдѣляющей болѣзнь отъ здоровья.

Г. Достоевскій беретъ на себя трудъ анализировать эти аномаліи. Задача, повидимому, вполнѣ соотвѣтствующая его таланту, весьма искусному въ психіатрическомъ анализѣ и

никогда не выходящему за предѣлы этого анализа. Однако, на этотъ разъ работа оказалась совершенно не подъ силу автору. Я уже выше сказалъ, что г. Достоевскій способенъ на анализъ лишь *нѣкоторыхъ* психіатрическихъ явленій; изъ „Бѣсовъ“ оказывается, что это именно тѣ явленія, которыя, такъ сказать, болѣе или менѣе присущи его собственной душѣ; что онъ, какъ и большинство нашихъ беллетристовъ, совершенно неспособенъ къ объективному наблюденію; созерцая собственныя внутренности, наблюдая за проявленіями своей личной психической жизни, г. Достоевскій, какъ истый русскій романистъ, воображаетъ, будто онъ изучаетъ дѣйствительность и создаетъ характеры живыхъ людей. Въ „Бѣсахъ“ авторъ представляетъ намъ цѣлую галлерею помѣшанныхъ юношей: Верховенскаго, Ставрогина (сыновей), Шатова, Кириллова, Шигалева, но ни въ одномъ изъ нихъ вы не увидите ни образа ни подобія живого человѣка, это какіе-то манекены, и къ каждому манекену нашитъ ярлыкъ съ означеніемъ характера бреда, которымъ онъ одержимъ. Одинъ бредитъ (въ буквальномъ смыслѣ этого слова) проэктомъ будущаго соціальнаго, устройства, по которому все человѣчество должно быть раздѣлено на двѣ неравныя части: одна десятая получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми; а эти послѣдніе превращаются въ какихъ-то вьючныхъ животныхъ; и путемъ длиннаго ряда перерожденій достигаютъ состоянія первобытной райской невинности. Другой бредитъ теоріею самоубійства; третій бредитъ теоріею самого г. Достоевскаго, изложенною въ „Гражданинѣ“, *о народѣ-богоносцѣ*,—теоріею, которая отождествляетъ понятіе о Богѣ съ понятіемъ о національности. Четвертый бредитъ теоріею какого-то разрушенія, долженствующаго произойти при помощи всеобщаго разврата, оглупѣнія, мошенничества и подставного Ивана Царевича. Пятый ничѣмъ особеннымъ не бредитъ, но развратничаетъ до самозабвенія, кусается и выкидываетъ всевозможныя эксцентрическія штуки. За вычетомъ бреда, манекены г. Достоевскаго ничѣмъ особеннымъ другъ отъ друга не отличаются: Шатова не распознаешь отъ Кириллова, Верховенскаго отъ Ставрогина и т. п. Ихъ бредъ не находится ни въ какой логической связи и съ ихъ характерами, да и характеровъ-то у нихъ никакихъ нѣтъ. Шатовъ и Кирилловъ внѣ сферы своего бреда совсѣмъ какъ бы не

существуютъ; Верховенскій сколько-нибудь своеобразенъ только въ своей фанатической исповѣди Ставрогину. Но эта исповѣдь нимало не гармонируетъ съ общимъ характеромъ героя, выкроеннаго по шаблону лѣсковскихъ нигилистовъ. Ставрогинъ—это какое-то бѣдное воплощеніе какой-то мистической теоріи о характерѣ „русскаго человѣка", подобно излагаемой авторомъ въ фельетонахъ „Гражданина". Съ точки зрѣнія этой теоріи русскій человѣкъ, съ одной стороны, постоянно хочетъ дерзнуть, съ другой стороны, — дерзнувъ, стремится къ смиренному покаянію и самобичеванію. Такого-то, на все дерзающаго и касающагося человѣка тщится г. Достоевскій изобразить въ взбалмошномъ сынкѣ Варвары Петровны. Впрочемъ, моментъ покаянія оттѣненъ весьма слабо. Ставрогинъ, хотя и терпѣливо, сноситъ плюхи „за грѣхи свои", но вообще кается не особенно усердно. За это авторъ истомляетъ его внутренними страданіями, доводитъ до отчаянія и заставляетъ повѣситься. Но, независимо отъ полнаго отсутствія художественности въ изображеніи характеровъ „юныхъ безумцевъ", субъективизмъ автора съ особою рельефностью высказывается въ содержаніи того бреда, который онъ влагаетъ въ уста своихъ манекеновъ...

Если бы наше юношество воспитывалось подъ исключительнымъ вліяніемъ достопамятнаго Ивана Яковлевича, если бы оно почерпало всю свою мудрость изъ богословскихъ писаній Хомякова и философскихъ трактатовъ Кирѣевскаго, еслибы его, вмѣсто гимназіи и университетовъ, отправляли въ монастыри и къ отцамъ-схимникамъ, если-бы оно съ пеленокъ было окружено спертою атмосферою семинарской схоластики, казарменной школы и юродствующаго невѣжества, — тогда, и только тогда, изъ его среды могли бы выходить больные, одержимые шатовскимъ и кирилловскимъ бредомъ. Авторъ какъ будто не подозрѣваетъ, что между міросозерцаніемъ сумасшеднаго и міросозерцаніемъ той среды, изъ которой онъ вышелъ, всегда существуетъ самая тѣсная, неразрывная связь. Его занимаютъ тѣ-же вопросы, онъ разрабатываетъ тѣ-же темы, которые занимаютъ и разрабатываются окружающими его людьми; онъ никогда не выходитъ изъ круга *ихъ* интеретовъ, *ихъ* мыслей. „Среда" доставляетъ ему весь тотъ психическій матеріалъ, весь тотъ умственный фондъ, изъ котораго его больной мозгъ строитъ свои болѣзненные пред-

ставленія и черпаетъ свои idées fixes. Идеи сумасшедшаго отличаются отъ идей породившей его среды не по своему содержанію, а по характеру своего развитія и въ особенности по своимъ отношеніямъ къ прочимъ факторамъ психической жизни человѣка. Какъ ни одинъ человѣкъ не можетъ видѣть во снѣ ничего такого, чего-бы онъ сознательно или безсознательно не передумалъ и не перечувствовалъ наяву, — такъ точно ни одинъ психически больной не можетъ формировать свои идеи независимо отъ данныхъ, сознательно или безсознательно усвоенныхъ отъ окружающихъ его людей. Поэтому, по характеру сумасшествія и по содержанію бреда больного, всегда возможно опредѣлить характеръ и міросозерцаніе среды, изъ которой онъ вышелъ. Въ болѣзненныхъ представленіяхъ уродцевъ, созданныхъ не совсѣмъ нормальной фантазіей г. Достоевскаго,—уродцевъ, помѣшавшихся на какихъ-то неопредѣленно мистическихъ пунктахъ, — очевидно, нисколько не отражается міросозерцаніе той среды, — среды лучшей образованной молодежи, изъ которой они вышли. Правда, пунктъ помѣшательства Верховенскаго нѣсколько болѣе правдоподобенъ. Его idée fixe рѣзко отличается отъ туманныхъ фантасмагорій Шатова и Кириллова. Между нею и вопросами, волнующими ту среду, изъ которой вышелъ Верховенскій, дѣйствительно существуетъ нѣкоторая связь, и помѣшательство на ней сына Степана Трофимовича, не представляя никакого абсурда, могло бы, напротивъ, стать очень благодарною темою для психіатрическаго анализа. Но тутъ-то вотъ и обнаружилось все безсиліе авторскаго таланта, способнаго лишь на воспроизведеніе своихъ субъективныхъ ощущеній. Онъ никогда не наблюдалъ и не можетъ себѣ представить, даже въ самыхъ общихъ, я не говорю уже — образныхъ, чертахъ психическое состояніе человѣка, помѣшавшагося на идеѣ разрушенія. Потому идея у него осталась сама по себѣ, а человѣкъ самъ по себѣ; между бредомъ и бредящимъ не существуетъ ни малѣйшей связи. Если бы какой-нибудь шутникъ вырѣзалъ изъ романа тѣ страницы, на которыхъ напечатанъ разговоръ Верховенскаго съ Ставрогинымъ объ Иванѣ Царевичѣ, то читателю и въ умъ бы никогда не пришло, что Верховенскій фанатикъ, одержимый несбыточными идеями. Вообще характеръ этой личности составленъ механически крайне грубымъ и топорнымъ образомъ, изъ двухъ частичекъ,

не имѣющихъ между собою ничего общаго: съ одной стороны, авторъ, позаимствовавъ изъ одного стенографическаго отчета нѣсколько біографическихъ данныхъ объ одномъ подсудимомъ, вздумалъ воспроизвести ихъ въ лицѣ своего героя; съ другой стороны, онъ подслушалъ гдѣ-то чью-то мысль о необходимости „разрушенія", не понялъ ея, перепуталъ, затѣмъ эту перепутанную мысль облекъ въ формы безсвязнаго бреда, и объявилъ, будто этотъ бредъ—idée fixe его героя. Но какой-же читатель этому повѣритъ? Читатель видитъ только плохое олицетвореніе одного стараго стенографическаго отчета и пришитую къ нему бѣлыми нитками какую-то нелѣпость, самимъ авторомъ изобрѣтенную и ничего общаго съ его стенографическимъ олицетвореніемъ не имѣющую. Совершенно не понимая, не имѣя даже ни малѣйшаго предчувствія о тѣхъ психическихъ и физіологическихъ феноменахъ, которые совершаются въ душѣ человѣка, одержимаго какою-нибудь idée fixe, авторъ наивно воображаетъ, будто достаточно заставить человѣка говорить безсвязный отрывочный вздоръ, при томъ вздоръ ни мало несообразный ни съ образомъ жизни этого человѣка, ни съ его поведеніемъ, ни съ дѣятельностію, — и характеръ больного субъекта очерченъ. Благодаря такой забавной мысли, герои романа г. Достоевскаго болѣе походятъ на пьяныхъ или на одержимыхъ острымъ delirium tremens, чѣмъ на хронически больныхъ или вообще на трезвыхъ людей. Когда Верховенскій начинаетъ излагать Ставрогину свое profession de foi, то у послѣдняго прежде всего является вопросъ: „гдѣ онъ успѣлъ напиться?" Вѣроятно, тотъ-же вопросъ приходилъ на умъ и гостямъ Виргинскаго, присутствовавшимъ при „бредѣ" Шигалева. Этотъ юноша задался идеею, что онъ изобрѣлъ какое-то удивительнѣйшее рѣшеніе соціальнаго вопроса, котораго до него никто и не подозрѣвалъ, и въ которомъ, по его мнѣнію, заключается все спасеніе человѣчества. „Кромѣ моего разрѣшенія общественной формулы, восторженно восклицаетъ онъ,—не можетъ быть никакого"... „все, что изложено въ моей книгѣ, не замѣнимо, и другого выхода нѣтъ, никто ничего не выдумаетъ". Но кромѣ этого восторженнаго заявленія, ничто не даетъ намъ права заключать, что Шигалевъ дѣйствительно одержимъ какою-нибудь idée fixe. Въ своемъ безсвязномъ бреду онъ даже самъ съ ироніею относится къ своей теоріи. „Я, бредитъ онъ, запу-

тался въ собственныхъ данныхъ, и мое заключеніе въ прямомъ противорѣчіи съ первоначальной идеею, изъ которой я выхожу“... Г. Достоевскій не подозрѣваетъ, кажется, что у сумасшедшаго, одержимаго хроническимъ однопредметнымъ помѣшательствомъ, есть своя логика, и логика очень сильная; онъ обыкновено излагаетъ свои мысли связно, пространно и совершенно спокойно (если только ему не противорѣчать); онъ слишкомъ убѣжденъ въ своей правотѣ и непогрѣшимости, онъ слишкомъ проникнутъ возможностью своихъ умозрѣній, чтобы лѣзть изъ-за нихъ на стѣну. Въ его рѣчахъ гораздо больше торжествующаго самодовольства, чѣмъ горячечнаго волненія. При томъ-же, въ настоящее время, при современныхъ успѣхахъ психіатріи, странно воображать, какъ это дѣлаетъ авторъ „Бѣсовъ“, будто мѣстное пораженіе мозга, помѣшательство на одной какой-нибудь идеѣ, можетъ имѣть мѣсто безъ общаго, болѣе или менѣе ясно выраженнаго разстройства всего психическаго организма; будто человѣкъ можетъ возрастить въ своей головѣ безумныя идеи, городить по поводу ихъ всякую чушь, и въ то-же время оставаться совершенно здоровымъ во всѣхъ прочихъ проявленіяхъ своей аффективной и интеллектуальной жизни. Только люди, впавшіе во временный горячечный бредъ, подъ вліяніемъ алкоголя или какихъ-нибудь иныхъ сильныхъ нервныхъ потрясеній, представляютъ нѣкоторую аналогію съ юными героями „Бѣсовъ“, въ особенности съ Верховенскимъ и Шигалевымъ. Шатовъ и Кирилловъ въ развитіи своихъ безумныхъ идей обнаруживаютъ болѣе логики, но они все-таки болѣе смахиваютъ на пьяныхъ, чѣмъ на больныхъ. Если бы они слишкомъ часто не впадали въ бредъ, читатель ни за что бы не догадался, что это хроническіе больные, помѣшанные одинъ— на отрицаніи, другой — на исканіи истины. Они бредятъ, „точно по книжкѣ читаютъ“, отчитаютъ — и все кончено и незамѣтно, что они сумасшедшіе. Одинъ Кирилловъ составляетъ нѣкоторое исключеніе и то только потому, что авторъ постоянно заставляетъ его бредить и, кромѣ этого бреда, не знакомитъ насъ рѣшительно ни съ чѣмъ, что не могло бы имѣть хоть какое-нибудь отношеніе къ его внутренней жизни. Вы получаете нѣкоторое понятіе о свойствѣ бреда Кириллова, но у васъ не остается ни малѣйшаго представленія о самомъ Кирилловѣ. О Шатовѣ уже и говорить нечего; это плохое

олицетвореніе фельетоновъ „Гражданина“ („Дневника писателя“), какъ Верховенскій олицетвореніе стенографическаго отчета, и ничего болѣе. Тутъ опять сказывается все безсиліе художественнаго таланта автора. Идеи, вложенныя въ уста Шатова и Кириллова, очевидно, его собственныя идеи, онъ самъ додумался до нихъ, онъ не подслушалъ ихъ гдѣ-то на улицѣ, какъ онъ подслушалъ у кого-то шигалевскую философію и верховенскія теоріи; потому онъ развиваетъ ихъ (т. е. заставляетъ своихъ героевъ развивать) довольно логично, до такой степени логично, что даже „Гражданинъ“ не прочь позаимствовать у Шатова его мистическія бредни. Видимо, что эти бредни—плоть отъ плоти, кровь отъ крови самого автора. Но за то ими одними и исчерпывается весь характеръ Шатова и Кириллова. Кромѣ отвлеченнаго, абстрактнаго бреда, въ нихъ нѣтъ рѣшительно ничего реальнаго, конкретнаго: онѣ изображаютъ собою одинъ горячечный бредъ и только. Авторъ пережилъ идеи, вложенныя имъ въ уста его двухъ героевъ, но онъ, вѣроятно, не помѣшанъ на этихъ идеяхъ, для него онѣ не болѣе, какъ нѣкоторыя отвлеченныя умозрѣнія, не играющія никакой господствующей роли въ его психической жизни. У него онѣ имѣютъ, такъ сказать, чисто мѣстный характеръ, занимаютъ лишь очень маленькій уголокъ въ его внутреннемъ мірѣ. Если бы значеніе ихъ измѣнилось, если бы онѣ превратились въ деспотическія idées fixes, то и весь внутренній міръ автора измѣнился бы, онъ испыталъ бы такія субъективныя ощущенія, которыхъ теперь и представить себѣ не можетъ. Тогда бы онъ могъ дать намъ если не художественный образъ (онъ, вообще, не обладаетъ способностью къ художественному синтезу) то, по крайней мѣрѣ, вѣрный и правдивый анализъ шатовскаго и кирилловскаго характеровъ. Теперь же онъ далъ намъ лишь анализъ своихъ идей, а изъ однихъ идей, да еще несомнѣнно нелѣпыхъ, нельзя выкроить характера. Вотъ отчего его Шатовъ и Кирилловъ вышли только манекенами. Но и манекеновъ то онъ не сумѣлъ создать порядочныхъ; вмѣсто того, чтобы соображаться при ихъ построеніи съ тѣми безумными идеями, которыя они должны были воплощать въ себѣ, онъ, подъ вліяніемъ, вѣроятно, своего шаловливаго чертика, вздумалъ соображаться съ тѣмъ несчастнымъ стенографическимъ отчетомъ, изъ котораго уже сдѣлалъ столько

ненужныхъ заимствованій и въ которомъ всегда менѣе могъ найти матеріалы, пригодные для своихъ манекеновъ. Въ самомъ дѣлѣ, есть ли какая-нибудь логическая возможность предположить, будто люди, долженствующіе служить олицетвореніемъ московскаго кликушества и философіи „Гражданина“, чтобы эти люди впутались въ тайное политическое общество, руководимое Верховенскимъ и преслѣдующее цѣли, не имѣющія ничего общаго съ ихъ idèes fixes? Между міросозерцаніемъ Ставрогиныхъ, Верховенскихъ, Виргинскихъ, Шигалевыхъ и т. п. и міросозерцаніемъ Шатова и Кириллова не было ни единой точки соприкосновенія; то, что волновало и интересовало первыхъ, было совершенно индиферентно для послѣднихъ, и наоборотъ. Зачѣмъ же романисту вздумалось свести всѣхъ этихъ людей вмѣстѣ? Вѣдь, они принадлежали не только къ различнымъ, но и противоположнымъ лагерямъ. Неужели г. Достоевскій не могъ понять, что на манекена, приноровленнаго къ средѣ Верховенскихъ и Ставрогиныхъ, нельзя нашивать кирилловско-шатовскаго міросозерцанія? Неужели его нисколько не шокировала дикая нелѣпость измышленнаго имъ сопостановленія? Безъ преувеличенія можно сказать, что ни одинъ изъ самыхъ даже лубочныхъ беллетристовъ отечественной прессы никогда еще не впадалъ въ такой психическій абсурдъ, никогда еще такъ грубо не нарушалъ самыхъ элементарныхъ правилъ художественнаго творчества, самыхъ законныхъ требованій правдоподобія.

П. Никитинъ.

* * *

*) Г. Достоевскій, несмотря на безспорный и выходящій изъ ряду талантъ, признаваемый за нимъ даже его литературными врагами, не можетъ назваться любимцемъ русской читающей публики, значительная часть которой просто на просто *боится* его романовъ. Читатель, принимаясь за романъ, въ большинствѣ случаевъ ищетъ въ немъ легкаго, занимательнаго чтенія, иногда извѣстнаго рода тенденціи, развитія какой-нибудь модной идейки; не прочь онъ, пожалуй, даже отъ драматическаго содержанія, лишь бы драма была въ мѣру и не слишкомъ разстраивала она нервы. Это и понятно:

*) Sine ira (В. С. Соловьевъ). „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1875 г., № 32.

человѣкъ усталъ отъ дневныхъ дѣлъ и заботъ своихъ, ему хочется отдохнуть, развлечься, стряхнуть съ себя хоть минутно пыль своей дѣятельности, часто очень некрасивой— и онъ идетъ къ писателю за развлеченіемъ, а не за тяжелой работой для мысли, за впечатлѣніями болѣе или менѣе легкими, скользящими, а не подавляющими.

Г. Достоевскій не можетъ удовлетворить этимъ требованіямъ. Съ первыхъ же страницъ схватываетъ онъ читателя и увлекаетъ противъ воли въ свое мрачное царство, гдѣ собрано все, что только есть темнаго, больного, мучительнаго, безобразнаго въ нашей общественной и личной жизни. Онъ вскрываетъ такую глубину человѣческаго *я* и освѣщаетъ въ ней такія явленія, что иногда, дѣйствительно, морозъ подираетъ по кожѣ; онъ находитъ выраженіе самымъ неуловимѣйшимъ ощущеніямъ и мыслямъ. Въ этомъ удивительномъ схватываніи и выраженіи неуловимыхъ, но, тѣмъ не менѣе, безспорно существующихъ явленій внутренняго міра человѣка, и заключается вся мощь таланта г. Достоевскаго; въ направленіи этого тончайшаго анализа, имѣющаго дѣло почти исключительно съ темными и болѣзненными проявленіями человѣческой общественной жизни, и выражается односторонность его таланта. Впечатлѣніе, оставляемое многими изъ его повѣстей и романовъ, можно сравнить съ тяжелымъ сновидѣніемъ, обусловленнымъ какимъ-нибудь особеннымъ состояніемъ организма: грезится что-то огромное, сложное, иногда съ несмѣтнымъ количествомъ лицъ или событій; все перепутано, все крутится, несется въ какомъ-то вихрѣ, и надо всѣмъ этимъ царитъ одно мучительное, давящее и необычайно сильное ощущеніе. Проснешься — даже не помнишь подробностей этого сна; но испытанное въ немъ ощущеніе сохранилось всецѣло, и никогда его не забудешь.

Подобное впечатлѣніе, разумѣется, помимо мыслей, ими вызванныхъ, оставляютъ, главнымъ образомъ, послѣднія произведенія г. Достоевскаго, всего же болѣе романъ „Бѣсы". Здѣсь авторъ нѣсколько отходитъ отъ своего исключительно субъективнаго взгляда въ анализѣ внутренняго міра отдѣльнаго человѣка и подвергаетъ анализу тѣ явленія современной общественной жизни, которыя представляются ему странными и безобразными. Что не выдуманы имъ эти явленія, а дѣйствительно существуютъ—въ этомъ долженъ убѣдиться

каждый зрячій человѣкъ, не ограничивающій свой кругозоръ тѣсными рамками той сферы, въ которой онъ постоянно вращается. Напрасно авторъ статьи, „Русская литература въ 1874 году“, помѣщенной въ 4 № „Недѣли“, говоря объ изданіи журнала „Время“, редакторомъ котораго былъ г. Достоевскій, замѣчаетъ, между прочимъ, слѣдующее: „...Сопоставляя это обѣщаніе съ именемъ г. Достоевскаго, славу котораго въ то время составляли не „Бѣсы“, а „Бѣдные люди“ и потомъ „Записки изъ мертваго дома“, общество встрѣтило новый журналъ съ замѣтнымъ сочувствіемъ...“ Исторія нашей литературы доказываетъ, что сочувствіемъ или несочувствіемъ читателей не всегда еще можно измѣрять значеніе и достоинство литературнаго просвѣщенія, и намъ кажется, что „Бѣсы“ дѣйствительно, встрѣченные весьма многими съ какимъ-то недоумѣніемъ, несмотря на это, все-же представляютъ одно изъ крупнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ явленій современной литературы. Въ романѣ много неяснаго и безпорядочнаго, и онъ напоминаетъ, какъ мы уже сказали, впечатлѣніе тяжелаго сна; но всѣ эти недостатки порождаются сущностью той задачи, которую взялъ на себя авторъ. Человѣкъ, окруженный атмосферой, въ которую медленно проникаютъ міазмы, не замѣчаетъ существованія этихъ міазмовъ, и если даже оно ему доказано, то нужно необыкновенно развитое обоняніе и много усилій, чтобъ уловить ихъ. Авторъ „Бѣсовъ“ живетъ въ нашей атмосферѣ и только необыкновенная чуткость его таланта позволяетъ ему замѣчать окружающіе насъ міазмы. Спѣша уловлять ихъ и подвергать анализу, онъ весь отдается этой работѣ, и вотъ почему не всегда можетъ удовлетворять нѣкоторымъ условіямъ, требуемымъ отъ романиста. Только спокойный взоръ человѣка, находящагося внѣ нашей атмосферы, въ извѣстномъ отдаленіи отъ нашей эпохи, увидитъ итогъ современныхъ явленій, ихъ результаты, и найдетъ въ твореніяхъ г. Достоевскаго богатый матеріалъ для уразумѣнія этихъ явленій. Поэтому намъ кажется, что вполнѣ вѣрная и безпристрастная оцѣнка „Бѣсовъ“ возможна только въ будущемъ.

В. С. Соловьевъ.

* * *

*) Если вы имѣли терпѣніе дочитать до конца это произведеніе нашего, когда-то чрезвычайно популярнаго беллетриста, то, кромѣ чувства досады и даже сильнѣе его, вы почувствуете сожалѣніе, можетъ даже грусть... Вамъ будетъ больно видѣть паденіе писателя, безъ сомнѣнія талантливаго, и паденіе человѣка въ этомъ романѣ, украшавшемъ собою въ прошломъ году страницы „Русскаго Вѣстника“. Теперь литературѣ особенно нужны талантливые и честные дѣятели, а предъ вами еще утрата. Конечно, никто не обвинитъ меня въ голословности сказаннаго: стоитъ сравнить—„Записки изъ мертваго дома“ съ „Дневникомъ писателя“, и тѣмъ г. Достоевскимъ—объ которомъ теперь достаточно сказать только то, что онъ состоитъ редакторомъ „Гражданина“—и это сравненіе краснорѣчивѣе всего подтвердитъ мое мнѣніе. Да,

Измѣнились и люди и нравы—

и какъ еще измѣнились! Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно было измѣниться и дѣйствительно измѣнилось къ нимъ и отношеніе литературы. Кто не помнитъ, какое произвели впечатлѣніе первыя произведенія г. Достоевскаго! Объ нихъ и по поводу ихъ писались критическія статьи, типы его подвергались тщательному анализу, лучшая часть литературы невольно отдавала ему дань уваженія. Теперь-же...—теперь достаточно небольшого библіографическаго отзыва для „сочиненій“ г.

*) „Сіяніе“ 1873 г., № 15.

*) Настоящая статейка помѣщается здѣсь, какъ особенно типичный образецъ тогдашнихъ отзывовъ и рецензій о романѣ „Бѣсы“, разбросанныхъ почти по всѣмъ газетамъ большой и малой прессы. Хотя и были исключенія въ пользу романа и его автора, но по своей немногочисленности они стушевывались среди общаго крика порицанія „Бѣсовъ“ и Достоевскаго. Нападкамъ подвергались со стороны печати, порицавшей романъ, даже тѣ литературные органы, которые позволяли себѣ отнестись къ нему одобрительно. Такъ, напр., „Русскій Міръ“ (1875 г., № 237), причислившій „Бѣсовъ“ „къ лучшимъ и талантливѣйшимъ явленіямъ нашей литературы за послѣдніе годы“, былъ неоднократно и зло осмѣянъ. Однако, несмотря на подобное отношеніе критики къ „Бѣсамъ“, романъ весьма охотно читался и распространялся въ публикѣ. Этотъ неоспоримый фактъ нѣкоторые критики объясняли тѣмъ, что „Бѣсы“ принадлежатъ къ разряду *уголовныхъ романовъ*, которые пошли у насъ въ большую моду со времени введенія въ дѣйствіе новыхъ судебныхъ уставовъ.—Здѣсь же умѣстнымъ считаю, въ видѣ куріоза, напомнить читателямъ слово одного рецензента „Бѣсовъ“, характеризующаго какъ свое личное понятіе и отношеніе къ критикѣ, такъ и взглядъ на нее своей-же братіи. „Присяжные наши критики, серьезно говоритъ рецензентъ,—высказались на счетъ романа съ разныхъ точекъ зрѣнія, иные одобрительно, другіе съ бранью, смотря по тому, въ какихъ отношеніяхъ, въ какой степени родства или свойства находился тотъ или другой критикъ къ Ѳедору Достоевскому“ (Искра 1873 г., № 6). Примѣч. В. Зелинскаго.

Достоевскаго, написанныхъ размашисто, отчасти по пословицѣ—„не любо не слушай, а врать не мѣшай“, густыми красками и кистью маляра, а не художника. Если-же изрѣдка и посвятятъ еще г. Достоевскому довольно обширную статью, то развѣ для того, чтобы яснѣе показать плачевные результаты ренегатства, особенно рѣзко отдѣлить его прежнюю дѣятельность отъ настоящей и въ концѣ концовъ признать его „больнымъ“, а его образы—произведеніями болѣзненно-разстроеннаго воображенія; да и то еще вопросъ: не составляютъ-ли подобныя длинныя статьи „по старой памяти“ ошибки?—Пожалуй, „игра не стоитъ свѣчъ?“ Да, волей неволей приходится признать, что съ романомъ „Преступленіе и Наказаніе“ мы разстались съ прежнимъ г. Достоевскимъ, которому могли сочувствовать и о которомъ должны были говорить. Теперь мы имѣемъ дѣло съ совершенно другимъ человѣкомъ. Къ нему критика можетъ отнестись лишь равнодушно или съ презрѣніемъ и съ сожалѣніемъ. Единственное не совсѣмъ пріятное оправданіе его, да и то лишь въ виду прежнихъ заслугъ, извѣстныя слова: не вѣдаютъ то, что творятъ...“

Въ виду ужасовъ и нелѣпостей, измышленныхъ всѣми этими господами, въ виду ихъ безцеремоннаго обращенія съ печатнымъ словомъ и тѣхъ клеветъ, которыя они взводятъ на все молодое и живое, ихъ остается лишь спросить словами поэта, да и то обращаясь въ третьемъ лицѣ, ибо имѣть дѣло съ подобными господами не всегда пріятно:

Съ кого они портреты пишутъ?
Гдѣ разговоры эти слышатъ?

Все это положительно неизвѣстно. А между тѣмъ, чего только, какихъ „происшествій“ и „ужасовъ“ нѣтъ въ романахъ этихъ „сочинителей“! И пожары, и убійства, и сѣти интригъ, и политическая агитація, и разбойники, и разные „тайные агенты“, и чуть даже не сходки и митинги—ну, словомъ, всѣ „изчадія революціи“. Помилусердуйте, господа!... Я ничего еще не сказалъ, спеціально относящагося къ „Бѣсамъ“, такъ сильно смущавшимъ г. Достоевскаго. Впрочемъ, послѣ всего сказаннаго нечего и говорить о нихъ. Развѣ можно только прибавить, что въ нихъ есть всѣ „эффекты“ и „махинаціи“, небылицы и ужасы, и нѣтъ, по обыкновенію, только одного: истины, справедливости жизненной правды...

Изъ „Сіянія“.

ОТДѢЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИГУРЪ РОМАНА „БѢСЫ“.

Степанъ Трофимовичъ Верховенскій.

*) Критикъ „Русскаго Вѣстника“ говоритъ, что эта личность по художественной рельефности изображенія представляетъ одинъ изъ самыхъ яркихъ типовъ въ нашей литературѣ. „Степанъ Трофимовичъ Верховенскій—человѣкъ сороковыхъ годовъ. Онъ стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ закопившагося кругомъ его подполья, хотя читатель чувствуетъ, что есть нѣкоторая внутренняя связь между этимъ человѣкомъ и молодыми героями романа. Связь эта весьма знаменательна и неограничивается однимъ только кровнымъ родствомъ съ главнымъ вожакомъ подполья, существуетъ еще несомнѣнное внутреннее родство между безтолковостью и безпринципностью этого смѣшного старика, воплотившаго въ себѣ отрицательную сторону движенія сороковыхъ годовъ, и сатурналіями умственными и нравственными молодого подполья. Указывается такимъ образомъ нѣкоторая преемственность въ развитіи идей, и между двумя поколѣніями кладется мостикъ, на которомъ нѣкоторые крайніе представители того и другого могутъ удобно подать другъ другу руку. Указанія эти весьма знаменательны, такъ какъ въ значительной степени обнаруживаютъ воззрѣнія автора на источникъ, изъ котораго вышли самыя дикія движенія новѣйшаго времени. Степанъ Трофимовичъ, отчасти презирая сгруппировавшееся подлѣ него подполье, отчасти втайнѣ ему сочувствуя (настоящее отношеніе его къ подполью есть вопросъ его личнаго самолюбія), поставленъ авторомъ надъ молодымъ поколѣніемъ въ качествѣ нѣкоего pater familias, весьма смѣшного въ глазахъ молодежи и совершенно ею пренебрегаемаго, но родство съ

*) (А). В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 8.

которымъ послѣдняя тѣмъ не менѣе все-таки признаетъ. Это, такъ сказать, старый бѣсъ, данный въ прародители бѣсовской мелюзгѣ, выросшей подъ сѣнью его сѣдинъ.

Внутреннее родство Степана Трофимовича съ молодыми героями романа знаменательно во многихъ отношеніяхъ. Важнѣе всего, конечно, то, что Степанъ Трофимовичъ — тоже *полунаука*, хотя и занималъ въ сороковыхъ годахъ каѳедру въ одномъ изъ университетовъ. Но, при извѣстныхъ недостаткахъ нашего университетскаго устройства, полунаука могла пріютиться на профессорской каѳедрѣ такъ же удобно, какъ и въ редакціи журнала. Въ сороковыхъ годахъ въ нашихъ университетахъ несомнѣнно встрѣчались люди полунауки, возмѣщавшіе такъ-называемыми „высшими взглядами“ отсутствіе серьезной эрудиціи и пользовавшіеся, благодаря тому-же пріему, замѣтною репутаціей. Степанъ Трофимовичъ принадлежалъ именно къ этой категоріи. Продержался онъ на каѳедрѣ очень недолго, вслѣдствіе нѣкоторой незначительной неосторожности, по поводу которой отъ него потребовали объясненій. Онъ успѣлъ прочесть всего только нѣсколько лекцій, „и, кажется, объ Аравитянахъ“, и вообще въ наукѣ сдѣлалъ „не такъ много и, кажется, совсѣмъ ничего“. Успѣлъ онъ также защитить нѣкоторую затѣйливую диссертацію, ловко и больно уколовшую тогдашнихъ славянофиловъ, да еще напечаталъ въ одномъ передовомъ журналѣ „начало одного глубочайшаго изслѣдованія — кажется, о причинахъ необычайнаго нравственнаго благородства какихъ-то рыцарей въ какую-то эпоху, или что-то въ этомъ родѣ“. Глубокое изслѣдованіе это такъ и осталось неоконченнымъ, будто-бы вслѣдствіе запрещенія, а въ сущности просто потому, что авторъ полѣнился его окончить. Имѣлась еще въ бумагахъ Степана Трофимовича поэма „въ лирико-драматической формѣ и напоминающая вторую часть *Фауста*. Увѣряли, будто эту поэму сочли въ свое время опасною“. „Я въ прошломъ году предлагалъ Степану Трофимовичу ее напечатать — разсказываетъ лицо, отъ котораго авторъ ведетъ свое повѣствованіе—за совершенною ея въ наше время невинностью, но онъ отклонилъ предложеніе съ видимымъ неудовольствіемъ. Мнѣніе о совершенной невинности ему не понравилось“. И вдругъ эту поэму печатаютъ въ заграничномъ революціонномъ сборникѣ, безъ вѣдома Степана Трофимовича...

„Онъ былъ сначала испуганъ, бросился къ губернатору и написалъ благороднѣйшее оправдательное письмо въ Петербургъ, читалъ мнѣ его два раза, но не отправилъ, не зная, кому адресовать. Однимъ словомъ, волновался цѣлый мѣсяцъ; но я убѣжденъ, что въ таинственныхъ изгибахъ сердца былъ польщенъ необыкновенно. Онъ чуть не спалъ съ экземпляромъ доставленнаго ему сборника, а днемъ пряталъ его подъ тюфякъ и даже не пускалъ женщину перестилать постель, и хоть ждалъ каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрѣлъ свысока. Телеграммы никакой не пришло".

Степанъ Трофимовичъ поспѣшилъ увѣрить себя, что карьера его разбита на всю жизнь „вихремъ обстоятельствъ", и потому рѣшился посвятить остатокъ дней своихъ,—впрочемъ, двадцатилѣтній—на то, чтобы стоять предъ отчизной „воплощенною укоризной", по выраженію поэта:

Воплощенной укоризною
Ты стоялъ передъ отчизною,
Либералъ идеалистъ!

Впрочемъ, позированье Степана Трофимовича нисколько не помѣшало ему пристроиться на благородныхъ условіяхъ приживальцемъ къ богатой вдовѣ, генеральшѣ Варварѣ Петровнѣ Ставрогиной, у которой онъ и прожилъ безмятежно цѣлыхъ двадцать лѣтъ, до той самой поры, когда засталъ его рядъ катастрофъ, давшихъ содержаніе роману. Вся суть Степана Трофимовича, какъ родоначальника *бѣсовъ*, заключается именно въ томъ, что онъ былъ полнѣйшимъ представителемъ полунауки сороковыхъ годовъ, отъ которой современная полунаука естественно ведетъ свое происхожденіе. Въ этомъ качествѣ человѣка полунауки, Степанъ Трофимовичъ привилъ къ своей невиннѣйшей душѣ нѣкоторое количество гражданскихъ мотивовъ, въ силу которыхъ не только безъ всякой основательной причины бросилъ университетскую карьеру, но и сохранилъ на всю жизнь увѣренность въ своемъ совершенномъ превосходствѣ надъ людьми своего поколѣнія, и также, хотя презрительное, но вмѣстѣ съ тѣмъ заискивающее отношеніе къ молодежи, отъ которой онъ все ждетъ какого-то призыва: вы, молъ, Степанъ Трофимовичъ, нашъ отецъ и руководитель, придите къ намъ и ведите насъ. Ожиданіе какой-то телеграммы, о которой иронически замѣчаетъ авторъ,

осталось у стараго чудака на всю жизнь. Онъ несомнѣнно принадлежитъ къ категоріи тѣхъ „старыхъ безстыдниковъ“, которые никакъ не могутъ забыть своего либеральничанья сороковыхъ годовъ, и все ждутъ отъ молодого поколѣнія признанія ихъ гражданскихъ заслугъ. Одни изъ этихъ людей, подобно выведенному въ романѣ знаменитому писателю Кармазинову, продолжаютъ до конца всячески заискивать у молодого поколѣнія, не подозрѣвая, что давно уже сдѣлались въ глазахъ его шутами; другіе, какъ Степанъ Трофимовичъ, глубоко оскорбляются тѣмъ, что гражданскія заслуги ихъ списаны со счетовъ, начинаютъ брюзжать и порою даже прорываются до такой степени, что сами торжественно провозглашаютъ разрывъ съ новымъ движеніемъ. Въ томъ и другомъ случаѣ отношенія этихъ людей къ новому времени и новому поколѣнію составляютъ вопросъ личнаго самолюбія; убѣжденіями эти представители идеалистической полунауки предшествовавшаго періода вообще не богаты, и вздумай молодое поколѣніе хоть немножечко поманить ихъ на свою сторону—они бросятся на встрѣчу съ распростертыми объятіями. Они инстинктивно сознаютъ, что между ними и „новыми людьми“ есть дѣйствительная связь—и они не ошибаются.

Со Степаномъ Трофимовичемъ такъ и случилось—его поманили, и онъ бросился съ распростертыми объятіями. Это случилось въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда на минуту вспомнили о всѣхъ вообще либеральныхъ репутаціяхъ предшествовавшаго тридцатилѣтія. Степанъ Трофимовичъ къ тому времени сильно захандрилъ, мучаясь мыслью, что его забыли, что онъ никому не нуженъ, поэтому и на все тогдашнее движеніе онъ смотрѣлъ въ высшей степени высокомѣрно, именно съ той точки, что „его забыли“. И вдругъ въ это-то самое время о немъ вспомнили въ заграничныхъ листкахъ и въ Петербургѣ. Въ газетахъ явилось даже извѣстіе, что онъ умеръ, и кто-то обѣщалъ напечатать его некрологъ...

„Степанъ Трофимовичъ мигомъ воскресъ и сильно пріосанился. Все высокомѣріе его взгляда на современниковъ разомъ соскочило, и въ немъ загорѣлась мечта примкнуть къ движенію и показать свои силы. Варвара Петровна тотчасъ же вновь и вовсе увѣровала и ужасно засуетилась. Рѣшено было ѣхать въ Петербургъ безъ малѣйшаго отлагательства, разузнать все на дѣлѣ, вникнуть лично, и, если возможно,

войти въ новую дѣятельность всецѣло и нераздѣльно. Между прочимъ, она объявила, что готова основать свой журналъ и посвятить ему отнынѣ всю свою жизнь. Увидавъ, что дѣло дошло до этого, Степанъ Трофимовичъ сталъ еще высокомѣрнѣе...“

Несмотря, однако, на то, что Степана Трофимовича явно понимали, ему не только не удалось „примкнуть всецѣло къ движенію“, но даже случилось быть скандально освистаннымъ...

Разрывъ этотъ разомъ и окончательно опредѣлилъ отношенія Степана Трофимовича къ молодому поколѣнію и ко всему такъ-называемому „движенію“. Старый бѣсъ, сидѣвшій въ немъ, не простилъ молодымъ бѣсамъ недостатка уваженія, и сохранилъ навсегда оскорбленное и уязвленное чувство. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Степанъ Трофимовичъ нисколько не сомнѣвался въ серьезности всего того дикаго вздора, который началъ на его глазахъ совершаться въ воображаемомъ губернскомъ городѣ, куда авторъ переноситъ разсказъ вслѣдъ за петербургскимъ fiasco. „Движеніе“ осуждалось Степаномъ Трофимовичемъ единственно въ силу того, что его самого при этомъ забыли; но, въ сущности, онъ даже любуется имъ, такъ точно, какъ любуется своимъ сыномъ, которому однакожъ не можетъ простить презрительнаго съ нимъ обращенія. Въ губернскомъ городѣ этомъ, пока не основало въ немъ своего пребыванія настоящее „подполье“, кружокъ Степана Трофимовича занимался „самою невинною, милою, вполнѣ русскою, веселенькою, либеральною болтовней“. Въ этой болтовнѣ Степанъ Трофимовичъ почерпалъ сознаніе, что „онъ исполняетъ высшій долгъ пропаганды идей“. Высокомѣріе все-таки, несмотря на петербургскую неудачу, заставляло его смотрѣть на себя, какъ на нѣкоторого рода центръ, котораго гдѣ-то опасаются; онъ даже не сомнѣвался, что находится подъ секретныхъ полицейскимъ надзоромъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ давно уже стоитъ на заднемъ планѣ, оттертый новыми дѣятелями, одинъ за другимъ наѣхавшими въ городъ и образовавшими въ немъ тотъ своеобразный кружокъ, которому всего болѣе приличествуетъ наименованіе *подполья нашей интеллигенціи*.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Это очень старый и общеизвѣстный характеръ одного изъ представителей такъ называемыхъ людей 40-хъ годовъ. Типъ изъѣзженный; каждая его черточка, каждая деталь были уже много разъ воспроизводимы нашими лучшими беллетристами, и притомъ беллетристами 40-хъ годовъ. Достоевскому пришлось тутъ, слѣдовательно, идти по проторенной дорожкѣ и не столько творить, сколько компилировать. И дѣйствительно, что Степанъ Трофимовичъ не болѣе, какъ компиляція, составленная по извѣстнымъ образцамъ, даннымъ Писемскимъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ и т. п. Во всѣхъ извѣстныхъ типахъ людей 40-хъ годовъ исключительно разрабатывались романистами однѣ и тѣ же стороны характера, однѣ и тѣ же свойства, одни и тѣ-же душевныя состоянія привлекали ихъ вниманіе. Оттого, несмотря на то, что этотъ типъ эксплоатировался очень многими, онъ все-таки отпечатлѣлся въ довольно однообразныя формы, сильно отзывающіяся абстрактностью, книжностью. Компиляція г. Достоевскаго отличается тѣми же свойствами, но, при всей своей абстрактной односторонности, она составлена съ большимъ психическимъ искусствомъ. Къ несчастію только, привычка автора постоянно пускаться въ психическій анализъ, постоянно стараться объяснять и подробно комментировать каждый шагъ, каждый поступокъ, каждую мысль своихъ героевъ, сдѣлала то, что и воспроизведеніе личности Верховенскаго вышло у него болѣе похожимъ не столько на объективное изображеніе характера, сколько на критическую оцѣнку его. Конечно, для критики это очень удобно: авторъ самъ исполнилъ всю работу за нее, и ей остается только заняться простымъ переписываніемъ. Но если мы взглянемъ на дѣло не съ точки зрѣнія интересовъ критики, а съ точки зрѣнія интересовъ художества, то нельзя не согласиться, что такой способъ отношенія къ изображаемымъ лицамъ очень мало способствуетъ чисто-художественнымъ цѣлямъ. Степанъ Трофимовичъ представляетъ собою не живое воплощеніе конкретнаго характера, а просто психологическій анализъ нѣкоторыхъ выдающихся и наиболѣе общихъ чертъ извѣстнаго типа людей. Я ограничусь здѣсь лишь самою общею характеристикою этихъ чертъ для того, чтобы читатель лучше могъ уяснить себѣ нѣкоторыя изъ тѣхъ об-

*) Н. Никитинъ. „Больные люди“. „Дѣло“ 1873 г., №№ 3 и 4.

щихъ причинъ, которыя вызываютъ наши психическія аномаліи, которыми обусловливаются до извѣстной степени наши умственныя болѣзни. Психическая болѣзнь, умственное вырожденіе подготовляется обыкновенно медленно и постепенно цѣлымъ рядомъ предшествующихъ поколѣній. Въ большинствѣ случаевъ она развивается изъ того умственнаго и нравственнаго наслѣдства, которое отцы завѣщаютъ своимъ дѣтямъ. Конечно, одного наслѣдства, т. е. одного предрасположенія, не всегда еще бываетъ достаточно: нужны еще *благопріятныя условія*, чтобы, такъ сказать, оплодотворить эти наслѣдственные зачатки умственнаго разстройства; въ противномъ случаѣ болѣзненное предрасположеніе можетъ погибнуть задаромъ, или перейти въ какія-нибудь другія, уже не просто нервныя болѣзни. Однако, съ другой стороны, и однихъ „благопріятныхъ условій", безъ предварительной унаслѣдованной отъ предковъ наклонности, тоже не всегда бываетъ достаточно. Поэтому, для большей ясности, мы должны разсмотрѣть, какъ то умственное наслѣдство, которое господа Верховенскіе и подобные имъ завѣщали своимъ дѣтямъ, такъ и тѣ внѣшнія условія, при которыхъ развивались эти дѣти. Тогда сами собою опредѣлятся и источникъ и общій характеръ ихъ психическихъ аномалій, которыя г. Достоевскій берется анализировать въ своемъ послѣднемъ романѣ и которыя онъ, съ наивностью средневѣковаго аскета, считаетъ за *бѣсовское навожденіе*.

Анализируя характеръ Верховенскаго, г. Достоевскій съ особенною рельефностью оттѣняетъ только нѣкоторыя, впрочемъ, наиболѣе выдающіяся и, такъ сказать, преобладающія свойства людей этого типа—нашихъ отцовъ. Степанъ Трофимовичъ былъ не героемъ, но „лучшимъ человѣкомъ" 40-хъ годовъ; онъ былъ личность заурядная, одна изъ единицъ толпы. Не о немъ, удостовѣряетъ насъ авторъ „Бѣсовъ", сказалъ народный поэтъ: „воплощенной укоризной ты стоялъ передъ отчизной, либералъ-идеалистъ". „Нашъ Степанъ Трофимычъ,—продолжаетъ авторъ,—былъ только подражателемъ сравнительно съ подобными лицами, да и стоять уставалъ и частенько полеживалъ на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и въ лежачемъ положеніи, надо отдать справедливость, тѣмъ болѣе, что для губерніи было и того достаточно. Посмотрѣли-бы вы на него у насъ

въ клубѣ, когда онъ садился за карты. Весь видъ говорилъ: карты! Я сажусь съ вами въ ералашъ! Развѣ это совмѣстно? Кто-же отвѣчаетъ за это? Кто разбилъ мою дѣятельность и обратилъ ее въ ералашъ? „Э, погибай Россія!“ и онъ осанисто козырялъ съ червей. Своимъ „лежачимъ позированіемъ“ онъ пріобрѣлъ себѣ нѣкоторую репутацію въ городѣ: его считали за человѣка умнаго, отмѣнно либеральнаго и „гонимаго“ за правду. Эта репутація вполнѣ удовлетворяла его тщеславію, и не потому, что его тщеславіе было слишкомъ уже не высокаго полета, а потому, что онъ и взаправду считалъ себя за нѣкотораго „гражданскаго дѣятеля“. Онъ искренно самъ вѣрилъ всю свою жизнь, что въ нѣкоторыхъ сферахъ, его постоянно опасаются, что шаги его постоянно извѣстны и сочтены, и что каждый изъ трехъ, смѣнившихся у насъ въ послѣднія двадцать лѣтъ губернаторовъ, въѣзжая править губерніею, уже привозилъ съ собою нѣкоторую особую и хлопотливую о немъ мысль, внушенную ему свыше...“ Эта мечта льстила самолюбію Степана Трофимовича, но, помимо самолюбія, она была естественною и, такъ сказать, законною дочкою его „заячьей“ трусости. Трусость—это была одна изъ преобладающихъ чертъ его характера. Она заставила его бросить профессуру, она законопатила его въ провинціальномъ городишкѣ, она внушила ему гордую мысль о собственной опасности и сдѣлала въ то-же время „тише воды, ниже травы“. Даже его тщеславіе, такъ непомѣрно развитое у людей 40-хъ годовъ, этихъ вѣчно позировавшихъ лежебоковъ, даже это тщеславіе пасовало предъ его трусостью. Въ 60-хъ годахъ, въ эпоху нашего „renaissance“, о Степанѣ Трофимовичѣ вспомнили въ Петербургѣ, „какъ о бывшей звѣздѣ въ извѣстномъ созвѣздіи“, даже ставили его почему-то на ряду съ Радищевымъ. Кто-то напечаталъ, что онъ умеръ, и обѣщалъ его некрологъ. Нашъ герой не помнилъ себя отъ восторга; безсмысленная помѣщица, г-жа Ставрогина, у которой онъ жилъ въ качествѣ приживальщика, и которая двадцать пять лѣтъ питала къ нему нѣжную дружбу „и давала деньги за его содержаніе, тоже возгордилась славой своего друга; и оба они, не долго думая, покатили въ Петербургъ съ тщеславною мечтою стать au courant „движенія“, а, быть можетъ, даже и во главѣ его. Безсмысленная помѣщица задумала издавать журналъ. Разу-

мѣется, для честолюбія Степана Трофимовича было-бы очень легко сдѣлаться руководителемъ предполагавшагося изданія, но онъ струсилъ. „Помните,—упрекала его потомъ его самодурная подруга,—„помните, какъ потомъ въ февралѣ, когда пронеслась вѣсть, (?) вы вдругъ прибѣжали ко мнѣ перепуганный и стали требовать, чтобы я тотчасъ же дала вамъ удостовѣреніе, въ видѣ письма, что затѣваемый журналъ до васъ совсѣмъ не касается, что молодые люди ходятъ ко мнѣ, а не къ вамъ, а что вы только домашній учитель, который живетъ въ домѣ, потому, что ему еще не додано жалованье, не такъ-ли? Помните это вы? Вы отмѣнно отличались всю вашу жизнь, Степанъ Трофимовичъ...“ Да, всю свою жизнь онъ отличался подвигами малодушной трусости. Изъ трусости онъ бросилъ и свою ученую карьеру: „какъ то и кѣмъ-то, разсказываетъ авторъ,—перехвачено было письмо къ кому-то, съ изложеніемъ какихъ-то „обстоятельствъ;“ вслѣдствіе чего кто-то потребовалъ отъ него какихъ-то объясненій“. Это до того обезкуражило Степана Трофимовича, что онъ почелъ за лучшее стушеваться и поспѣшилъ принять предложеніе какой то генеральши Ставрогиной, богатой помѣщицы, которая въ началѣ только ввѣрила ему воспитаніе своего единороднаго сынка, а потомъ сдѣлала его своимъ другомъ и приживальщикомъ.

Мнѣ кажется, что до сихъ поръ недостаточно было обращено вниманія на ту, такъ сказать, хроническую робость, запуганность, которая составляла едва-ли не самую существенную черту характера этихъ „либераловъ—идеалистовъ“, „стоявшихъ передъ отчизной воплощенной укоризной“. А между тѣмъ это душевное состояніе, это постоянное дрожаніе передъ дѣйствительными или воображаемыми опасностями можетъ служить ключомъ къ объясненію всей ихъ жизни, всей ихъ дѣятельности, которая, впрочемъ, всегда ограничивалась „лежаніемъ на боку“, да комическимъ „позированіемъ“. Не то, чтобы они были ужъ очень лѣнивы, или очень дряблы и неспособны, или черезчуръ ограниченны, правда, они не хватали звѣздъ съ неба, правда, они отличались довольно замѣчательною тупостью; но и эта тупость проистекала главнымъ образомъ изъ трусости: они *боялись* слишкомъ долго и слишкомъ послѣдовательно думать, они старались искусственно усыплять свою мысль, они собственными ру-

ками подрѣзывали себѣ крылья; это были, въ нѣкоторомъ родѣ, *нравственные самоубійцы*, и самоубійцы изъ трусости. Думать—это опасно; двигаться, жить—это тоже опасно: всего безопаснѣе лежать на боку, и они превращались въ Обломовыхъ. Ихъ нельзя обвинять за это; ихъ вѣчный страхъ, ихъ малодушная пугливость были естественнымъ продуктомъ всей обстановки ихъ жизни. Они имѣли свою весьма реальную, хотя, быть можетъ, и нѣсколько преувеличенную причину. Можемъ ли мы обвинять наковальню за то, что она дрожитъ и трясется подъ тяжелыми ударами желѣзнаго молота? А эти люди именно и были наковальнею. Удивительно тутъ лишь то, что они не только мирились съ своимъ положеніемъ, но даже какъ бы гордились имъ; повидимому, положеніе человѣка-наковальни настолько непривлекательно, что онъ долженъ бы употреблять всѣ силы выйти изъ него. Они же были довольны! И это ихъ странное довольство объясняется ихъ трусостью. Ихъ умственный кругозоръ, и безъ того довольно ограниченный, съ годами еще болѣе и болѣе суживался, подъ вліяніемъ гнетущей думы и собственной безопасности. Отсюда вторая черта нашихъ паненекъ изъ „идеалистовъ-либераловъ“—неумѣренное, до уродливости развитое чувство эгоизма, весьма миролюбиво уживавшееся съ довольно честными (говоря, конечно, сравнительно) идеалами, съ весьма гуманнымъ міровоззрѣніемъ. Замѣчательно при этомъ, что эти люди, эгоисты отъ головы до пятокъ, никогда не сознавали своего эгоизма. Они въ минуту самообличенія охотно обвиняли себя во всемъ, но только не въ животномъ эгоизмѣ; они были твердо убѣждены, будто все ихъ существо пропитано какою-то эссенціею любви и нѣжности; они и до сихъ поръ видятъ въ своемъ мягкосердечіи и любвеобиліи главное и самое существенное свое отличіе отъ дѣтей. Они высокомѣрно упрекаютъ свое потомство въ „черствости“ и „безсердечіи“, въ „узкомъ эгоизмѣ“ и, подобно евангельскому фарисею, съ гордостью восклицаютъ: „благодареніе Богу, мы были не таковы“! Да, они были не таковы, они были гораздо хуже. Посмотрите на одного изъ ихъ представителей, на Степана Трофимовича Верховенскаго: не есть-ли онъ воплощенная квинтъ-эссенція эгоизма? Онъ живетъ исключительно личною жизнію; онъ думаетъ только о себѣ; онъ возится съ своимъ „*я*“, какъ съ какимъ-то чирь-

емъ; весь свой вѣкъ онъ проводитъ около юбокъ Варвары Петровны Ставрогиной, которая за это поитъ его, кормитъ и даже платитъ за него долги; у него нѣтъ никакихъ серьезныхъ интересовъ, кромѣ интереса собственной безопасности; но сердце его способно только на эгоистическую, исключительную привязанность къ своей „кормилицѣ и поительницѣ", но и ее-то, предметъ своей двадцатилѣтней любви, онъ постоянно мучитъ и терзаетъ своимъ тщеславіемъ и своею вздорною мелочностью. Внѣ этой привязанности у него не было никакихъ другихъ симпатій; даже къ сыну своему онъ относился какъ человѣкъ посторонній. Забросивъ его въ Петербургѣ, когда онъ былъ еще ребенкомъ, онъ затѣмъ совершенно устранился отъ исполненія какихъ-бы то ни было родительскихъ обязанностей; даже офиціальныхъ обязанностей опекуна онъ не могъ добросовѣстно выполнить: съ имѣніемъ сына онъ обращался, какъ съ своею собственностью, разорилъ его, часть продалъ, надѣлалъ долговъ, и сыну не удалось-бы, вѣроятно, получить съ него ни копейки, если бы та-же добродѣтельная Варвара Петровна не взяла на себя грѣшковъ родителя-идеалиста и не заплатила изъ собственнаго кармана за всю его „родительскую любовь". И этотъ черствый и безсердечный родитель, который умѣлъ только дать сыну свою фамилію (онъ самъ сомнѣвался, былъ-ли этотъ сынъ — его сынъ, и эти сомнѣнія были извѣстны самому сыну), научилъ его презирать свою мать, наконецъ, разорилъ и научилъ презирать и отца, этотъ родитель вламывается въ амбицію, зачѣмъ этотъ сынъ не нѣжничаетъ съ нимъ, зачѣмъ онъ къ нему не пылаетъ сыновнею любовью, и позволяетъ себѣ обращаться съ нимъ безъ малѣйшаго лицемѣрія, но за то и безъ малѣйшей церемоніи. Онъ обижается, онъ негодуетъ! Онъ патетически вопрошаетъ: „Скажи мнѣ, наконецъ, извергъ, сынъ-ли ты мой или нѣтъ?" На это сынъ весьма резонно отвѣчаетъ, что „ему объ этомъ лучше знать... Не ты-ли, припоминаетъ онъ далѣе родителю, — не ты-ли самъ разсказывалъ мнѣ по ночамъ скоромные анекдоты про мою мать? И не все-ли равно тебѣ, твой-ли я сынъ или нѣтъ? Ты рубля на меня не истратилъ, всю жизнь, до шестнадцати лѣтъ меня не зналъ совсѣмъ, потомъ здѣсь ограбилъ, а теперь кричишь, что болѣлъ обо мнѣ сердцемъ всю жизнь и ломаешься предо мной, какъ актеръ!" Какъ вы ду-

маете, что дѣлаетъ почтенный родитель, выслушавъ эту, хотя и нѣсколько рѣзко выраженную, но тѣмъ не менѣе, совершенно очевидную и безспорную правду? Онъ проклинаетъ непочтительнаго сына и остается въ наивной увѣренности, что сынъ его безсердечный извергъ, а онъ невинно оскорбленная добродѣтель.

Говорятъ, что эгоизмъ есть великая нравственная сила, выростившая роскошное дерево современной цивилизаціи. Увѣряютъ, что онъ постоянно возбуждаетъ человѣческую дѣятельность, даетъ силы человѣку совершать богатырскіе подвиги, будитъ и изощряетъ его мысль, создаетъ прогрессъ, скопляетъ богатство, развиваетъ науку и завоевываетъ свободу. Пусть все это такъ; но все-таки не всегда это бываетъ такъ. Очень можетъ быть, что при извѣстныхъ условіяхъ эгоизмъ является могучею прогрессивною силою, великимъ двигателемъ цивилизаціи. Предоставьте эгоиста его собственной судьбѣ, поставьте его въ необходимость *самому* всего добиваться и до всего доходить, откройте ему, при этомъ, всюду доступъ, развяжите его руки, дайте ему хоть крошечку ума, и онъ дѣйствительно, подъ вліяніемъ одного своего эгоизма, въ состояніи будетъ продѣлать всѣ тѣ штуки, которыхъ вы отъ него ожидаете: онъ и богатство накопитъ, и науку подвинетъ впередъ, и цивилизацію распространитъ, и прогрессъ ускоритъ, и даже, если хотите, сдѣлается филантропомъ и защитникомъ „вдовъ и сиротъ“. Но поставьте того-же эгоиста въ другія условія: навяжите ему на руки десяти-пудовыя гири, наполните его желудокъ даровымъ хлѣбомъ, поставьте его, независимо отъ всякихъ его усилій, въ привиллегированное положеніе, пообѣщайте ему коврижку за то только, чтобы онъ какъ можно меньше думалъ и двигался, пропитайте его мозгъ вѣчнымъ, безотчетнымъ страхомъ, и вашъ эгоистъ собственноручно задушитъ въ себѣ всякія человѣческія стремленія, онъ покорно подчинится наложенному на него ярму, онъ безмятежно уединится въ самомъ себѣ, займется созерцаніемъ своего „я“, а ко всему прочему станетъ относиться съ тупою пассивностію лежебока.

Въ такихъ именно условіяхъ находились наши Степаны Трофимовичи. Эгоизмъ подстрекалъ ихъ не къ борьбѣ, а къ подчиненію, онъ побуждалъ ихъ не ко внѣшней дѣятельно-

сти, а къ внутреннему самоуглубленію, онъ дѣлалъ изъ нихъ не опытныхъ и энергическихъ практиковъ, не смѣлыхъ теоретиковъ, а пустыхъ и вздорныхъ людишекъ, весь вѣкъ живущихъ на чужой счетъ, постоянно резонирующихъ, постоянно роющихся то въ своей душѣ, то въ душѣ своихъ ближнихъ, постоянно обижающихся, пикирующихся, суетныхъ, тщеславныхъ, корчащихъ изъ себя какихъ-то „униженныхъ и оскорбленныхъ", и всегда одинаково пошлыхъ и одинаково безполезныхъ. Впрочемъ, не всегда наши отцы были поставлены въ положеніе Степановъ Трофимовичей. Иногда, и даже довольно часто, внѣшнія условія ихъ жизни были, повидимому, гораздо благопріятнѣе; ихъ эгоизмъ принималъ нѣсколько иное, болѣе дѣятельное направленіе, но, разумѣется, ихъ ближніе не были черезъ это слишкомъ осчастливлены; впрочемъ, ихъ объ этомъ не спрашивали. „Власть имущіе" отцы (или матери) исправляли въ общественной гармоніи роль молота и, въ качествѣ безсмысленнаго молота, имъ не могло быть никакого дѣла до того, какъ отзываются на наковальнѣ ихъ удары. Они били, производили шумъ, и этимъ исчерпывалась вся задача ихъ практической дѣятельности. Дѣятельность эта давно уже извѣстна у насъ подъ хорошо знакомымъ всѣмъ словомъ *самодурство*. Самодурство было естественнымъ вырожденіемъ эгоизма, съ одной стороны, слишкомъ избалованнаго окружающимъ подобострастіемъ крѣпостной эпохи, съ другой, поставленнаго въ условія совершенно непригодныя для какой-бы то ни было дѣятельности...

Степанъ Трофимовичъ не былъ злопамятенъ, но за-то онъ былъ очень самолюбивъ и до крайности обидчивъ, хотя и состоялъ въ скромной роли приживалки. Онъ донекалъ Варвару Петровну Ставрогину письмами, наполненными безконечными пререканіями, извиненіями, претензіями, слезными покаяніями и т. п.

Онъ писалъ къ ней, живя даже съ ней въ одномъ домѣ, въ экстренныхъ случаяхъ, по два раза въ день. Какъ ни мелочна такая подробность, а она бросаетъ очень яркій свѣтъ на характеръ этого человѣка: она показываетъ, до какой степени всѣ его мысли и интересы исключительно поглощались его личными отношеніями, его тщеславнымъ „я". Вообще, исторія этой „странной дружбы" (такъ ее называетъ и самъ авторъ), исторія, составленная съ мастерскимъ искус-

ствомъ и обнаруживающая въ авторѣ большую психологическую наблюдательность, эта исторія вполнѣ можетъ убѣдить каждаго, что если ея герои и не больные, то, во всякомъ случаѣ, ихъ нельзя назвать и здоровыми людьми; ихъ нравственный характеръ обнаруживаетъ несомнѣнные слѣды начинающагося вырожденія; сами-же они стоятъ, такъ сказать, на рубежѣ, отдѣляющемъ здоровье отъ болѣзни. Рубежъ этотъ очень неопредѣленъ, достаточно какого-нибудь одного обстоятельства, чтобы совершенно уничтожить его и почти, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, свести Степана Трофимовича съ ума. Дѣйствительно, ссора съ Варварой Петровной, болѣе крупная, чѣмъ всѣ предшествующія, охлажденіе, которое онъ замѣтилъ въ ней, оскорбительныя предложенія, которыя сдѣлала ему его „самодурная подруга“, не считавшая нужнымъ щадить его нравственное достоинство, все это окончательно потрясло его умственный аппаратъ. Наговоривъ глупостей и сдѣлавъ скандалъ на томъ литературномъ вечерѣ, о которомъ я уже упоминалъ, онъ убѣжалъ домой, просидѣлъ нѣкоторое время взаперти, никого къ себѣ не пуская, затѣмъ надѣлъ шинель и высокіе сапоги и, взявъ всѣ имѣющіяся у него деньги, въ количествѣ 40 рублей, пустился въ путь-дорогу. Какъ, куда, зачѣмъ? Онъ этого самъ не зналъ. Онъ просто вышелъ за городъ на большую дорогу и пошелъ по ней, куда глаза глядятъ. Въ умѣ его смутно мелькала мысль, что онъ идетъ къ какому-то „marchand“ наниматься въ гувернеры. Но гдѣ обрѣтается этотъ marchand, кто онъ такой, и существуетъ-ли вообще во всей Россіи какой-нибудь marchand, который-бы могъ нуждаться въ услугахъ Степана Трофимовича, всѣ эти вопросы если и приходили на умъ, то только на минуту, и онъ не трудился пріискивать отвѣтовъ на нихъ. Онъ, по словамъ автора, находился какъ бы въ *забытьи*, „основательно разсуждать или хоть отчетливо сознавать было для него невыносимо“. Встрѣтившись съ мужиками, которые посадили его на телѣгу и подвезли къ близъ лежащей деревнѣ, онъ обнаружилъ въ своихъ разговорахъ съ ними всѣ признаки несомнѣннаго умственнаго разстройства. Въ деревнѣ онъ наткнулся на какую-то особу, торговавшую книгами, еще не старую, и плѣнился ею. Мысль о миѳическомъ купцѣ какъ-то испарилась изъ его головы, и, вмѣсто нея, явилась другая, не менѣе блистательная, идея: вмѣстѣ

съ миловидной книгоношей распространять въ народѣ евангеліе. Замѣтьте при этомъ, Степанъ Трофимовичъ всю свою жизнь считалъ себя волтеріанцемъ и даже гордился своимъ вольнодумствомъ; теперь тотъ-же Степанъ Трофимовичъ вдругъ преобразился въ отчаяннаго скептика. Затѣмъ Степанъ Трофимовичъ начинаетъ городить безсвязную нелѣпость и, наконецъ, самъ чувствуетъ, что онъ, какъ говорится, сбился съ панталыку. „Я ужасно сбился, признается несчастный, я никакъ не могу вспомнить, что я хотѣлъ сказать. О, блаженъ тотъ, кому Богъ посылаетъ всегда женщину, и я думаю даже, что я въ нѣкоторомъ восторгѣ. И на большой дорогѣ есть высшая мысль! вотъ, вотъ, что я хотѣлъ сказать, про мысль...“ и т. д. Въ этотъ періодъ умственнаго разстройства Степану Трофимовичу пришла въ голову геніальная мысль „о бѣсахъ, вошедшихъ въ молодое поколѣніе“. Г. Достоевскому такъ понравилась эта идея, что онъ положилъ ее въ основу своего романа. Что сказать объ авторѣ, который руководится въ своемъ творчествѣ бредомъ сумасшедшаго? Впрочемъ, Богъ съ нимъ. Бредъ Степана Трофимовича продолжается не долго, и г. Достоевскому не удалось позаимствоваться у него слишкомъ многимъ. Доѣхавъ съ своей книгоношей до другого села, онъ внезапно занемогъ, и черезъ нѣсколько дней умеръ.

Степанъ Трофимовичъ постоянно находился въ перемежающейся лихорадкѣ самоуниженія и самовозвеличенія. То онъ плевалъ на себя, то съ тщеславною гордостію смотрѣлъ черезъ плечо на своихъ ближнихъ. Г. Достоевскій очень тонко подмѣтилъ этотъ замѣчательный психологическій феноменъ, и ярко очертилъ его въ отношеніяхъ своего героя къ подругѣ его Варварѣ Петровнѣ. Въ минуты самовозвеличенія Степанъ Трофимовичъ третировалъ свою подругу съ поистинѣ комическимъ высокомѣріемъ; въ эти минуты ему казалось, что Варвара Петровна боится его удивительныхъ талантовъ, завидуетъ ему, преклоняется передъ его гигантско-умственною силою и питаетъ преступныя намѣренія эксплоатировать своего даровитаго друга въ своихъ личныхъ интересахъ. Эти тщеславныя идеи до такой степени овладѣвали его умомъ, что онъ былъ даже не въ силахъ таить ихъ про себя; онъ откровенно сообщалъ ихъ не только своимъ друзьямъ, но даже и самой Варварѣ Петровнѣ. Варвара Петровна, никогда ничего не забывавшая, записывала въ своемъ сердцѣ забав-

ныя претензіи своего друга, и потомъ, черезъ много лѣтъ, жестоко мстила за нихъ. Ее не смягчало даже то обстоятельство, что у ея друга эти припадки самовозвеличенія быстро смѣнялись припадками самоуниженія, что вслѣдъ за письмами (хотя онъ могъ видѣться съ ней ежеминутно, потому что жилъ въ одномъ домѣ, но онъ имѣлъ обыкновеніе, какъ уже было замѣчено выше, формулировать свои душевныя состоянія въ эпистолярной формѣ), наполненными тщеславными притязаніями, упреками и высокомѣрными назиданіями, она получала письма, въ которыхъ ея другъ униженно просилъ ее не вмѣнять ему въ осужденіе его гордости, въ которыхъ онъ смѣшивалъ себя съ грязью, и ее ставилъ на недосягаемый пьедесталъ. Въ эти свои несчастныя минуты Степанъ Трофимовичъ считалъ себя едва-ли не за самаго жалкаго и ничтожнаго человѣка во всемъ мірѣ. Онъ не болѣе, какъ простой приживальщикъ богатой помѣщицы; она его благодѣтельница, и онъ настолько наглъ и безчестенъ, что принимаетъ ея благодѣянія! Да это-ли одно? Онъ сына своего ограбилъ, онъ крѣпостныхъ своихъ проигрывалъ въ карты, онъ ведетъ праздную, пошлую жизнь, онъ измельчалъ до того, что напивается пьянымъ и убиваетъ время за игрою въ ералашъ? О, какъ онъ жалокъ и ничтоженъ! Въ послѣднее время, какъ повѣствуетъ авторъ, Степанъ Трофимовичъ все чаще и чаще „началъ впадать въ хандру и въ шампанское“. Болѣзнь или, лучше сказать, симптомы—предвѣстники болѣзни, принимали все болѣе и болѣе угрожающую форму и привели его, наконецъ, къ этой роковой катастрофѣ, которая стоила ему жизни. Впрочемъ, исходъ могъ быть и другой. Степанъ Трофимовичъ могъ бы впасть, напримѣръ, въ тихій идіотизмъ и окончить свою жизнь „выжившимъ изъ ума“ старикомъ. Этотъ исходъ былъ очень обыкновененъ въ жизни людей, подобныхъ ему. Конечно, ихъ не называли идіотами, но это дѣлалось только изъ приличія или же по невѣжеству.—Я не хочу, разумѣется, этимъ сказать, что всѣ эти люди, или даже большинство ихъ, кончили сумасшествіемъ или идіотизмомъ. Подобная мысль шла-бы, очевидно, въ разрѣзъ съ фактами; я хочу только сказать, что при данныхъ условіяхъ ихъ жизни и ихъ психической организаціи, такой конецъ былъ весьма возможенъ, а при извѣстныхъ обстоятельствахъ, въ родѣ, напр., тѣхъ, въ которыя авторъ ставитъ Степана Трофимо-

вича, даже неизбѣженъ. Не случись этихъ обстоятельствъ (скандала на литературномъ вечерѣ, ссоры съ Варварой Петровной, сватовства на Дашенькѣ и т. п.), Степанъ Трофимовичъ могъ бы мирно и спокойно дожить свой вѣкъ, не обнаруживая никакихъ рѣзкихъ признаковъ умственнаго разстройства. Жизнь-же большинства нашихъ отцовъ и матерей, изъ среды интеллигентнаго мѣщанства и „дворянскихъ гнѣздъ", представляла такъ мало поводовъ къ сильнымъ душевнымъ волненіямъ, такъ рѣдко выходила изъ своей обычной колеи, что зародыши ихъ умственныхъ болѣзней не находили достаточно пищи для своего развитія; умственныя болѣзни являются обыкновенно, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ психіатръ, продуктомъ дѣятельнаго умственнаго напряженія. Только тамъ, гдѣ умственная жизнь, нервная дѣятельность достигаютъ высшихъ формъ своего развитія, только тамъ является возможность ясно выраженныхъ формъ умственнаго разстройства. У низшихъ животныхъ, у дикихъ и полуцивилизованныхъ народовъ, случаи помѣшательства очень рѣдки, и при томъ самое помѣшательство носитъ характеръ аффективнаго помѣшательства, т. е. почти исключительно ограничивается болѣзненнымъ разстройствомъ въ сферѣ чувствъ. Часто умственныя аномаліи, какъ и вся умственная жизнь, находятся у нихъ еще въ зародышѣ, и до такой степени перепутываются и смѣшиваются съ здоровыми, нормальными проявленіями человѣческаго организма, что никому и на умъ не приходитъ видѣть въ нихъ какую-нибудь особенную болѣзнь. Но умственная жизнь развивается, а вмѣстѣ съ нею развиваются и зародыши ея аномаліи, развиваются и принимаютъ, наконецъ, такія рѣзкія формы, что уже теперь никто не ошибется насчетъ ихъ истиннаго значенія и не смѣшаетъ ихъ съ здоровымъ состояніемъ человѣка. Такимъ образомъ, развитіе умственныхъ болѣзней прямо пропорціонально умственному прогрессу, развитію цивилизаціи. Это не значитъ, что ихъ порождаетъ цивилизація; нѣтъ, цивилизація (я употребляю это слово исключительно въ смыслѣ умственнаго прогресса) дѣлаетъ только *явнымъ* то, что до нея было *скрытымъ*, развиваетъ тѣ сѣмена, которыя запали въ человѣческую душу, когда человѣкъ былъ еще тупымъ невѣждою, когда его окружали ненормальныя условія дикой или полуцивилизованной жизни. За эти-то условія, за его

прежнюю дикость, она и заставляетъ его расплачиваться. Какъ мстительная Немезида—она никого не забываетъ, она тщательно сберегаетъ и дурныя и хорошія сѣмена, и зародыши здороваго развитія, и зародыши болѣзненнаго вырожденія, она не дѣлаетъ выбора, она съ одинаковою заботливостію вскармливаетъ и возвращаетъ и „зерна и плевелы“. Кто виноватъ, что плевелы разрослись? Конечно, тотъ, кто ихъ посѣялъ... Конечно, ни чрезмѣрно развитый эгоизмъ, ни чрезмѣрно развитое чувство страха, ни безпричинная тоска, перемежающаяся съ безпричиннымъ самовосхищеніемъ, ни самодурство, взятыя сами по себѣ, еще не составляютъ никакой умственной болѣзни, но они составляютъ то, что на языкѣ психіатровъ можетъ быть названо „insant temperament“, *нездоровое* умственное состояніе. Такой „insant temperament“ не всегда ведетъ къ умственному разстройству, но, передаваясь по наслѣдству, и при благопріятныхъ обстоятельствахъ онъ, въ большинствѣ случаевъ, вырождается въ помѣшательство. Условія, среди которыхъ жили наши Степаны Трофимовичи, какъ я уже сказалъ, мало благопріятствовали подобному вырожденію: почти совершенное отсутствіе дѣятельной нервной жизни, царящая кругомъ умственная спячка—вотъ что ихъ гарантировало отъ умственныхъ болѣзней. Зародыши умственныхъ аномалій остались зародышами, и въ этомъ видѣ перешли по наслѣдству къ ихъ дѣтямъ. Условія жизни послѣднихъ были, какъ всѣмъ извѣстно, нѣсколько иными, чѣмъ первыхъ.

П. Никитинъ.

Петръ Степановичъ Верховенскій.

*) Петръ Степановичъ сразу оцѣнилъ Шигалева: „Шигалевъ геніальный человѣкъ!“ восклицаетъ онъ, стараясь увлечь Ставрогина въ свои планы. „У него хорошо въ тетради—у него шпіонство, у него каждый членъ общества смотритъ одинъ за другимъ и обязанъ доносомъ. Каждый принадлежитъ всѣмъ, а всѣ каждому. Всѣ рабы и въ рабствѣ равны. Въ крайнихъ случаяхъ клевета и убійство, а главное—равенство. Первымъ дѣломъ понижается уровень образованія, наукъ и талантовъ. Высокій уровень наукъ и талантовъ до-

*) (А.). В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ“. „Русскій Вѣстникъ 1873 г., № 8.

ступенъ только высшимъ способностямъ, не надо высшихъ способностей! Высшія способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшія способности не могутъ не быть деспотами, и всегда развращали болѣе, чѣмъ приносили пользы: ихъ изгоняютъ или казнятъ. Цицерону отрѣзывается языкъ, Копернику выкалываютъ глаз , Шекспиръ побивается каменьями, вотъ шигалевщина! Расы должны быть равны: безъ деспотизма еще не бывало ни свободы ни равенства, но въ стадѣ должно быть равенство, и вотъ шигалевщина:

— Ха-ха-ха! Вамъ странно? Я за шигалевщину!"

Система такимъ образомъ найдена. Она до такой степени соотвѣтствуетъ міросозерцанію подполья, что Петръ Степановичъ, глава и коноводъ всего подпольнаго міра, самый практическій и дѣятельный человѣкъ въ своей средѣ, не находитъ нужнымъ вставить въ програму революціонной организаціи свое собственное слово, и безусловно принимаетъ „тетрадку" длинноухаго Шигалева, котораго даже въ подпольномъ кружкѣ считаютъ шутомъ или помѣшаннымъ.

Дѣйствительно, шигалевщина составляетъ послѣднее слово отвратительнаго безумія, къ которому можетъ привести болѣзнь подпольнаго міра въ ея самой острой формѣ—квинтъ-эссенцію дѣйствующихъ во тьмѣ стремленій и инстинктовъ. Петръ Степановичъ находитъ,что Шигалевъ—геній, въ родѣ Фурье, только смѣлѣе и сильнѣе. И дѣйствительно, шигалевщина имѣетъ то великое преимущество, что регулируетъ не одну только внѣшнюю сторону будущей организаціи человѣчества, разрушаетъ не одну только матеріальную силу стараго общества, но бьетъ по его нравственнымъ силамъ, опрокидываетъ тотъ творящій факторъ, дѣйствіемъ котораго создалась историческая жизнь. Что такое для Шигалева петролеумъ? Матеріальное разрушеніе не составляетъ для него конечной цѣли. Въ западной Европѣ, гдѣ революціонные элементы вышли изъ экономическаго и соціальнаго неравенства, подпольная агитація можетъ удовлетворяться политическимъ равенствомъ, уничтоженіемъ дворянскихъ привилегій, организаціей труда, разрушеніемъ частной собственности. Но Петръ Степановичъ не удовлетворится этимъ. Что ему, напримѣръ, въ уничтоженіи дворянскихъ привилегій, когда онъ самъ дворянинъ, и, слѣдовательно, нисколько не страдаетъ отъ политическаго неравенства? Неравномѣрное

распредѣленіе капиталовъ также не сильно его озабочиваетъ: онъ самъ наслѣдовалъ извѣстную собственность, онъ не нуждается въ дневномъ пропитаніи, присутствіе въ обществѣ крупныхъ собственниковъ не слишкомъ его шокируетъ. Есть въ этомъ старомъ, культурномъ, историческомъ обществѣ другого рода неравенство, котораго онъ не въ состояніи перенести, противъ котораго сосредоточена вся его ненависть, и не его только, но болѣе или менѣе всѣхъ противообщественныхъ и недовольныхъ элементовъ. Это — неравенство духовное, присутствіе въ обществѣ высшихъ способностей, высокаго уровня науки, образованности и таланта. И потому-то онъ такъ безусловно стоитъ за шигалевщину, что она выражаетъ собою, въ самой рѣзкой и острой формѣ, непримиримую вражду противъ духовнаго неравенства, отвѣчая тайнымъ, можетъ быть, даже не всѣми и не всегда сознаваемымъ вожделѣніямъ интеллигентнаго подполья. Цицерону отрѣзать языкъ, Коперникуыколоть глаза, Шекспира побить камнями—вотъ что можетъ насытить распутное самолюбіе Петра Степановича...

Дойдя до этой точки, больная мысль Петра Степановича уже ни предъ чѣмъ не останавливается. Онъ понимаетъ, что современный порядокъ созданъ именно тѣмъ творящимъ факторомъ, который онъ называетъ присутствіемъ въ человѣческомъ обществѣ высшихъ способностей. Слѣдовательно, прежде всего надо устроиться такимъ образомъ, чтобы въ новомъ обществѣ этимъ высшимъ способностямъ не было мѣста. Мысль его доходитъ до сатурналіи, до бѣснованія. „Не надо образованія, довольно науки! восклицаетъ онъ. И безъ науки хватитъ матеріалу на тысячу лѣтъ..... Жажда образованія есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вотъ уже и желаніе собственности. Мы уморимъ желаніе: мы пустимъ пьянство, сплетни, доносъ; мы пустимъ неслыханный развратъ; мы всякаго генія потушимъ во младенчествѣ. Все къ одному знаменателю, полное равенство... Но нужна и судорога; объ этомъ позаботимся мы, правители. Полное послушаніе, полная безличность, но разъ въ тридцать лѣтъ Шигалевъ пускаетъ и судорогу, и всѣ вдругъ начинаютъ поѣдать другъ друга, до извѣстной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущеніе аристократическое...“

Это очень похоже на бредъ сумасшедшаго, но и сумасшедшіе въ фантастическихъ построеніяхъ своей мысли отправляются отъ извѣстныхъ данныхъ, которыя они принимаютъ за положительныя. Петръ Степановичъ тоже наблюдаетъ данныя; онъ чувствуетъ, что въ воздухѣ носится нѣчто чадное, пьяное, какая-то безпринципность, какой-то „безпорядокъ умовъ.“ Онъ находитъ, что время близится, что почва достаточно подготовлена. Въ шутку подсмѣиваясь надъ легковѣріемъ „знаменитаго писателя, Кармазинова, создавшаго себѣ, изъ своего прекраснаго далека, фантастическое представленіе о положеніи дѣлъ въ Россіи, Петръ Степановичъ увѣряетъ его, что *все* кончится къ Покрову; но подсмѣиваясь надъ Кармазиновымъ, онъ и самъ наполовину вѣритъ своей шуткѣ.

В. Авсѣенко.

Кирилловъ.

*) Авторъ не объясняетъ, подъ какими вліяніями образовалась эта эксцентрическая натура. Мы знаемъ только, что Кирилловъ съ Шатовымъ „долго лежали вмѣстѣ“ въ Америкѣ, и, конечно, много выстрадали. Онъ выступаетъ въ романѣ уже съ созрѣвшею психическою болѣзнью, съ выработанною философскою системой, которая, при всей своей нелѣпости, есть результатъ умственнаго усилія, продуктъ мысли, болѣзненно, но сильно напряженной. Онъ еще болѣе, чѣмъ Шатовъ, придавленъ идеей и корчится подъ тяжестью ея; это маньякъ, съ задатками эпилептика. При недостаткѣ вѣры, столь обыкновенномъ въ людяхъ нашего вѣка, у него нѣтъ индифферентизма, и въ этомъ все его несчастье. Онъ не можетъ остановиться на одномъ легонькомъ отрицаніи; въ немъ есть потребность убѣжденнаго невѣрія, отрицательной вѣры, какъ для другихъ бываетъ настоятельна потребность положительной вѣры. Отправляясь отъ отрицанія, онъ напряженно выслѣживаетъ въ своемъ воспаленномъ мозгу рядъ силлогизмовъ, которые приводятъ его къ мысли о самоубійствѣ. „Если Богъ есть, разсуждаетъ Кирилловъ, то вся воля Его и изъ воли Его я не могу. Если нѣтъ, то вся воля моя, и я обязанъ заявить своеволіе. Я обязанъ себя застрѣлить, потому что

*) (А.). В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 8.

самый полный пунктъ моего своеволія — это убить себя самому.“ Конечно, никогда болѣе странная религіозно философская система не рождалась въ человѣческомъ мозгу; но дѣло не въ системѣ. Важно то, что въ лицѣ Кириллова мы видимъ человѣка, который въ нашъ практическій и индифферентный вѣкъ, когда философскіе и религіозные вопросы занимаютъ почти однихъ спеціалистовъ, израсходовалъ всю свою жизнь на эти вопросы, изсушилъ надъ ними свой мозгъ и, наконецъ, пустилъ себѣ пулю въ лобъ единственно для того, чтобы поставить послѣднюю точку къ своей теоріи... Насколько такое явленіе годится для обобщеній, къ какимъ прибѣгнулъ авторъ въ концѣ своего романа, насколько онъ выражаетъ собою дѣйствительную болѣзнь своего вѣка—это другой вопросъ, къ которому мы еще обратимся. Впрочемъ, въ самомъ романѣ практическія требованія вѣка какъ бы возстаютъ противъ идеализма Кириллова: самоубійство изъ-за идеи представляется чѣмъ-то до того неестественнымъ, неправильнымъ, что знаменитая „кучка“ спѣшитъ утилизовать его для своихъ практическихъ цѣлей, убѣдивъ Кириллова въ предсмертной запискѣ принять на себя убіеніе Шатова и прочія преступленія революціонной пятерки.

Самъ Кирилловъ вовсе не принадлежитъ къ революціонному типу; онъ слишкомъ равнодушенъ ко всякимъ практическимъ результатамъ для того, чтобы увлекаться соціальною перестройкой общества. Онъ принадлежитъ къ тѣмъ нервнымъ, идеальнымъ натурамъ, которыя сосредоточиваются всецѣло на напряженной дѣятельности духа. Ему открываются минуты „вѣчной гармоніи,“ онъ наклоненъ къ галлюцинаціи и эпилепсіи. „Есть секунды, объясняетъ онъ Шатову, ихъ заразъ приходитъ всего пять или шесть, и вы вдругъ чувствуете присутствіе вѣчной гармоніи, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человѣкъ въ земномъ видѣ не можетъ перенести. Надо перемѣниться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Какъ будто вдругъ ощущаете всю природу и вдругъ говорите: да, это правда. Богъ когда міръ создавалъ, то въ концѣ каждаго дня созданія говорилъ: да, это правда, это хорошо. Это... это не умиленіе, а только такъ, радость.“ Въ этомъ состояніи эпилептической прозрачности духа, Кирилловъ чувствуетъ бремя земной оболочки; по его мнѣнію,

человѣкъ долженъ переродиться физически для того, чтобы достигнуть предназначеннаго ему состоянія высшаго счастія, вѣчной гармоніи. „Если болѣе пяти секундъ, повторяетъ онъ, то душа не выдержитъ и должна исчезнуть. Въ эти пять секундъ я проживаю жизнь и за нихъ отдамъ всю мою жизнь, потому что стоитъ. Чтобы выдержать десять секундъ, надо перемѣниться физически. Я думаю, человѣкъ долженъ перестать родить. Къ чему дѣти, къ чему развитіе, коли цѣль достигнута? Въ Евангеліи сказано, что въ воскресеніи не будутъ родить, а будутъ, какъ ангелы Божіи. Намекъ"... Такія исключительныя натуры, какъ Кирилловъ, могутъ быть только случайнымъ матеріаломъ въ рукахъ дѣйствительныхъ революціонеровъ. И Кирилловъ въ самомъ дѣлѣ случайно столкнулся съ Верховенскимъ, случайно присталъ къ тайному обществу, отъ котораго когда-то пользовался матеріальною помощью. Онъ соглашается прикрыть своею смертью ихъ гнусное дѣло только потому, что ему *все равно*. На минуту онъ даже возмущается мерзостью преступленія, но опять приходитъ къ тому прозрачному равновѣсію духа, въ которомъ человѣку *все равно*.

В. Авсѣенко.

* * *

*) По словамъ г. Чижа, эпилептикъ Кирилловъ представляетъ собою весьма сложную картину психическаго разстройства. „Достоевскій не даетъ намъ полной исторіи его болѣзни, говоря медицинскимъ языкомъ, а ограничивается только указаніемъ на нѣкоторые болѣзненные симптомы. Въ жизни мы далеко не всегда можемъ вполнѣ изслѣдовать больного, и очень часто наше сужденіе бываетъ основано только на отрывочныхъ наблюденіяхъ, полученныхъ цѣною большихъ усилій. Это зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: или больной находится въ неблагопріятныхъ условіяхъ для наблюденія (напримѣръ, живетъ дома или въ дурно устроенномъ заведеніи для душевно-больныхъ), или же онъ тщательно скрываетъ какъ отъ врача, такъ и отъ окружающихъ его свои болѣзненные симптомы. Такая скрытность больныхъ обусловливается или самымъ характеромъ болѣзни; напр.,

*) В. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ". „Русскій Вѣстникъ" 1884 г., № 5 и 6, и отдѣльное изданіе, Москва 1885 г.

больной думаетъ, что онъ сдѣлалъ открытіе, которое всѣ хотятъ у него украсть; или же нерѣдко бываетъ такъ, что больной, замѣтивъ, что его считаютъ помѣшаннымъ, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ его взглядовъ и поступковъ, хочетъ добиться, чтобы его считали здоровымъ, и обманываетъ наблюдателей. Судебная психіатрія можетъ представить много примѣровъ тому, какъ многимъ талантливымъ психіатрамъ приходилось подолгу наблюдать больного, для того чтобы придти къ какому-нибудь заключенію; да и то въ концѣ концовъ являлось разногласіе между экспертами; самая-же существенная причина нашего частаго непониманія больного, это то, что природа неисчерпаема; напрасно люди создаютъ классификаціи, схемы, пытаются подвести отдѣльныя явленія подъ общія рубрики; всѣ эти усилія зачастую оказываются безплодными. Природа создаетъ новыя комбинаціи отдѣльныхъ явленій въ самой прихотливой, мало понятной намъ связи симптомовъ между собой, и человѣку поневолѣ приходится сознаться, что составленная ихъ схема только съ натяжкой можетъ быть припаровлена къ данному случаю. Конечно, разумный изслѣдователь не обвинитъ въ такомъ случаѣ ни природы ни науки, а только постарается сколько возможно сильнѣе освѣтить для себя наукой новый фактъ и сознается, что многое для него непонятно. Наконецъ, нельзя забывать, что для каждаго отдѣльнаго человѣка истина доступна только въ соотвѣтственной его способностямъ и трудолюбію степени. Все это нужно было припомнить для того, чтобы приступить къ разбору болѣзненнаго состоянія Кириллова.

Можетъ-быть, Достоевскій въ данномъ случаѣ только снялъ фотографическій снимокъ съ дѣйствительности, и не его вина, что получилось что-то для насъ не совсѣмъ ясное. Но такъ какъ, можетъ-быть, изслѣдованіе самаго талантливаго психіатра не могло бы разъяснить больше относительно болѣзни Кириллова, то остается ограничиться указаніемъ на то, что упомянулъ Достоевскій, отказавшись отъ попытки объяснить себѣ всю сумму паталогическихъ явленій въ связи между собой.

У Кириллова были эпилептическіе припадки. Вотъ что испытывалъ онъ въ эти моменты: „Есть секунды, ихъ всего за разъ приходитъ пять или шесть, и вы вдругъ чувствуете

присутствіе вѣчной гармоніи, совершенно достигнутой...“ „Это чувство ясное и неоспоримое...“ „Всего страшнѣе, что такъ ужасно ясно и такая радость“.

Уже однихъ этихъ припадковъ достаточно, чтобы съ большею вѣроятностію утверждать, что Кирилловъ былъ эпилептикъ, такъ какъ, благодаря изслѣдованіямъ послѣдняго времени, мы знаемъ, что эпилептическіе припадки нерѣдко не имѣютъ общеизвѣстнаго вида, то-есть не состоятъ изъ потери сознанія съ клоническими и тоническими судорогами. Рядомъ работъ Гризингера и другихъ изслѣдователей доказано, что эпилептическіе припадки могутъ состоять изъ приступа головокруженія, сопровождаемаго какъ бы опьяненіемъ, спутанностью мыслей; появляется смутный, похожій на сновидѣніе бредъ. Со временемъ такіе припадки могутъ перейти въ настоящіе, обыкновенные. Кромѣ того, Кирилловъ страдалъ упорною безсонницей, приступами тоски (часто бываетъ у эпилептиковъ) и наконецъ высказывалъ идеи, которыя правильнѣе всего назвать бредовыми. Насколько Кирилловъ ихъ высказывалъ, это слѣдующія: главный аттрибутъ божества—воля, своеволіе; безспорнымъ проявленіемъ воли будетъ самоубійство; поэтому онъ, рѣшившійся на самоубійство—человѣко-богъ или богъ. Какъ Кирилловъ дошелъ до этихъ идей, много-ли времени онъ посвятилъ на это, неизвѣстно (Кирилловъ уже съ этимъ бредомъ является на сцену), поэтому мы не можемъ прослѣдить, какъ онъ заболѣлъ. Естественно является другой путь объясненія: Кирилловъ эпилептикъ, у него идея бреда, что онъ богъ; не бываютъ-ли такія бредовыя идеи у эпилептиковъ, и если да, то какъ онѣ развиваются и почему?

Идеи бреда подобнаго содержанія наиболѣе характерны для эпилепсіи. Едва ли больные съ другими формами болѣзни такъ часто говорятъ о Богѣ, какъ эпилептики; нѣмецкіе психіатры даже считаютъ специфическимъ для эпилепсіи частое упоминаніе о Богѣ, бредъ религіознаго содержанія, какъ они называютъ Gottnomenclatur.

Впрочемъ, правильная оцѣнка этого частаго бреда эпилептиковъ сдѣлана весьма недавно: религіозный бредъ при эпилепсіи появляется какъ въ слѣдъ за припадками, такъ и независимо отъ нимъ; больные считаютъ себя богомъ, святыми, видятъ себя вознесенными на небо; отличительною чертой

такого бреда эпилептиковъ служитъ его чудовищность и сказочность; а что можетъ быть фантастичнѣе бреда Кириллова? Естественно, что результатомъ такого бреда будетъ самодовольное настроеніе больныхъ, горделивое отношеніе, какъ существа высшаго, ко всему; такъ Кирилловъ, человѣкъ по характеру крайне добродушный, ко всему относится свысока; даже самообладаніе Ставрогина не возбудило въ немъ уваженія или удивленія. Онъ счастливъ по своему, несмотря на то, что окружающая дѣйствительность крайне неприглядна; погруженный въ свои идеи бреда, онъ нѣсколько мѣсяцевъ проводитъ въ созерцательномъ настроеніи, нисколько не интересуясь тѣмъ, что происходитъ вокругъ него. Природа, повидимому, не отказала въ своеобразномъ счастіи и этимъ несчастнымъ.

Только исключительные умы могутъ находить столько наслажденія въ работѣ мысли, какъ нѣкоторые душевно-больные, съ громаднымъ трудолюбіемъ и большою любовью разрабатывающіе свои идеи бреда, ни мало не смущаясь ни окружающею ихъ обстановкой ни отсутствіемъ адептовъ своего ученія.

В. Чижъ.

Шатовъ.

*) Шатовъ до извѣстной степени стоитъ въ сторонѣ отъ пресловутой „кучки", сгруппированной Петромъ Степановичемъ въ губернскомъ городѣ. По своимъ убѣжденіямъ онъ даже въ полномъ разрѣзѣ съ подпольными революціонерами. Въ ранней молодости и онъ стоялъ въ ихъ рядахъ и даже эмигрировалъ безъ всякой основательной причины. За границей женился онъ на бойкой русской барышнѣ, изъ гувернантокъ; прожили они вдвоемъ недѣли съ три, и потомъ разстались, какъ вольные и ничѣмъ не связанные люди, тоже и по бѣдности". Жена вскорѣ затѣмъ сошлась съ Ставрогинымъ, а мужъ уѣхалъ въ Америку, гдѣ бѣдствовалъ вмѣстѣ съ Кирилловымъ года три.

Тамъ онъ рѣзко измѣнилъ свои убѣжденія, изъ атеиста и революціонера сдѣлавшись человѣкомъ вѣрующимъ. Впрочемъ, жизнь до такой степени изломала его, что онъ поте-

*) (А.) В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ". „Русскій Вѣстникъ" 1873 г., № 8.

рялъ характеръ и сталъ неспособенъ ни къ какой дѣйствующей роли. Камень придавилъ его, по выраженію автора, и вся послѣдующая жизнь его должна проходить въ корчахъ подъ этимъ камнемъ. Онъ застрялъ на распутьи жизни въ мучительной борьбѣ здравомыслія съ безхарактерностію и безволіемъ, отличающимъ русскихъ людей этого типа. Разорвавъ съ эмиграціей и революціей, онъ однако не могъ пристать ни къ какому дѣлу, ни къ какой установившейся формѣ жизни, и остался въ подпольѣ, измученный, страдающій, одинокій, сознающій всю мерзость среды, и не находящій изъ нея выхода. Обстоятельства толкнули его въ кучку; но внутренно онъ давно разорвалъ съ нею, и однако плетется подлѣ нея, единственно потому, что внѣ ея нѣтъ ничего, къ чему бы онъ могъ приткнуться. Открытая, широкая жизнь идетъ мимо его, какъ нѣчто совершенно чуждое: вышедшій изъ подполья, одичалый, неспособный ни къ какому практическому дѣлу, онъ видитъ себя замкнутымъ въ заколдованномъ кругѣ, среди трагической необходимости жить съ людьми, которыхъ искренно, убѣжденно презираетъ. „Я слышалъ, говоритъ онъ своей женѣ, что ты будто-бы презирала меня за перемѣну убѣжденій. Кого жъ-я бросилъ? Враговъ живой жизни, устарѣлыхъ либералишекъ, боящихся собственной независимости; лакеевъ мысли, враговъ личности и свободы, дряхлыхъ проповѣдниковъ мертвечины и тухлятины! Что у нихъ: старчество, золотая средина, самая мѣщанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство безъ собственнаго достоинства, равенство, какъ сознаетъ его лакей или какъ сознавалъ французъ 93 года... А главное, вездѣ мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!“ Въ этой неотвратимости—жить въ средѣ, такъ искренно презираемой, заключается весь трагизмъ людей, вышедшихъ изъ подполья и внутренно съ нимъ разорвавшихъ.

И вотъ въ ту минуту, когда заколдованный кругъ готовъ совсѣмъ замкнуться вокругъ несчастнаго Шатова, когда неестественное положеніе его между „кучкой“ и надпольною жизнью должно окончательно изломать и придавить его, судьба неожиданно указываетъ ему выходъ. Жена его, брошенная за границею Ставрогинымъ, возвращается къ нему, чтобы подъ его нищенскимъ кровомъ дать жизнь чужому ребенку. И Шатовъ до того измученъ, до того придавленъ,

что въ этомъ столкновеніи видитъ спасительный выходъ къ возрожденію... Но ему не суждено было выступить на новую дорогу: неестественныя отношенія его къ „кучкѣ“ привели къ кровавой катастрофѣ, которою оканчивается романъ.

В. Авсѣенко.

Ставрогинъ.

*) Ставрогинъ даже вообще мало говоритъ: у него болѣзнь сидитъ болѣе въ крови, чѣмъ въ мозгу, и вмѣсто того чтобы создавать системы à la Шигалевъ или Кирилловъ, онъ предпочитаетъ удивлять прямо своими поступками... Это зараженная кровь въ той-же степени, какъ и зараженный мозгъ. Еще при самомъ вступленіи въ свѣтъ, онъ вдругъ какъ-то дико закутилъ. „Не то, чтобъ онъ игралъ или очень пилъ; разсказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленныхъ рысаками людяхъ, о звѣрскомъ поступкѣ съ одною дамой хорошаго общества, съ которою онъ былъ въ связи, а потомъ оскорбилъ ее публично. Что-то даже слишкомъ ужъ откровенно-грязное было въ этомъ дѣлѣ.“ Разжалованный въ солдаты и очень быстро вновь выслужившійся, онъ опять появляется въ Петербургѣ, но уже совершенно въ другомъ обществѣ. „Доискались, что онъ живетъ въ какой-то странной компаніи, связался съ какимъ-то отребьемъ петербургскаго населенія, съ какими-то безсапожными чиновниками, отставными военными, благородно-просящими милостыню, пьяницами, посѣщаетъ грязныя ихъ семейства, дни и ночи проводитъ въ темныхъ трущобахъ и Богъ знаетъ въ какихъ закоулкахъ, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится.“ Вотъ въ этомъ-то *стало-быть, ему нравится* и заключается единственная причина и единственное объясненіе всѣхъ его поступковъ, заставившихъ Петра Степановича предполагать въ немъ „необыкновенную способность къ преступленію“. Отсутствіе въ мозгу всякихъ сдерживающихъ рефлексовъ, органическая порча крови, болѣзненная развращенность, которая „въ обоихъ полюсахъ находитъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія“; собственно политической закваски въ этой натурѣ нѣтъ ни-

*) (А.) В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ.“ „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 8.

какой, и онъ остается очень равнодушенъ къ дѣлу, въ которое всею силою тянетъ его молодой Верховенскій. Когда послѣдній объясняетъ ему планъ политической организаціи и программу тайнаго общества, Ставрогинъ дѣлаетъ замѣчаніе, которое заставляетъ Верховенскаго воскликнуть: „О, будьте поглупѣе, Ставрогинъ, будьте поглупѣе!“ Дѣйствительно, Ставрогинъ умнѣе подпольныхъ дѣятелей, хотя онъ на половину помѣшанный человѣкъ; его преимущество въ томъ, что его заразила не политическая и не соціальная идея. Въ политикѣ онъ настолько трезвъ, что когда Петръ Степановичъ развиваетъ предъ нимъ изумительный планъ дѣйствія революціоннаго общества, онъ серьезно задаетъ себѣ вопросъ: „если этотъ человѣкъ пьянъ, то гдѣ-же онъ успѣлъ напиться“? — „Охоты нѣтъ, такъ я и зналъ“! восклицаетъ съ уныніемъ Верховенскій, когда тотъ рѣшительно отказывается отъ предложенной ему роли Ивана-царевича.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Въ Раскольниковѣ художникъ изобразилъ состояніе *вѣрующаго отрицанія*, которое было не рѣдкостью въ приснопамятную эпоху шестидесятыхъ годовъ. Понятно само собою, что на этомъ дѣло не могло остановиться: колесо, пущенное подъ гору, продолжало свое движеніе. На рубежѣ слѣдующаго десятилѣтія мы опять встрѣчаемся и на этотъ разъ уже съ цѣлою компаніей отрицателей въ новомъ романѣ Достоевскаго „Бѣсы“. Во главѣ компаніи стоитъ Николай Ставрогинъ. Это новый Раскольниковъ, на котораго протекшее десятилѣтіе положило яркую печать. Въ сущности содержаніе мысли какъ у него, такъ и у всей компаніи, осталось прежнее: ни до чего новаго они не додумались за это время. Но отношеніе къ этому содержанію совсѣмъ не то, что было прежде. Раскольниковъ отрицалъ страстно, вѣрующе, ибо отрицаніе далось ему не легко: чтобы отказаться отъ своихъ прежнихъ вѣрованій, чтобы отрицать то, что ранѣе было предметомъ его поклоненія, чтобы разбить наслѣдственные кумиры, ему довелось, быть можетъ — провести не одну безсонную ночь. То было выстраданное, дорого купленное отрицаніе, и потому понятно, съ какою сердечностью относился къ нему Расколь-

*) Н. А. Звѣревъ. „Русь“ 1884 г., № 1.

никовъ. Это чувство интимной привязанности къ отрицательнымъ выводамъ своей мысли, беззавѣтная вѣра въ нихъ, поддерживалась и усиливалась тѣмъ отпоромъ, который должны были встрѣтить новыя идеи въ жизни: приходилось отстаивать ихъ право на существованіе, приходилось бороться за ихъ признаніе. А все, за что человѣкъ борется, уже по одному этому дорого и близко его сердцу. Ничего подобнаго нѣтъ въ Ставрогинѣ. Отрицаніе не было въ немъ плодомъ его пытливой мысли; оно не проникало въ его сердце болѣзненнымъ мучительнымъ процессомъ; онъ не страдалъ, не мучился утратою прежнихъ вѣрованій. Отрицаніе перешло къ нему по наслѣдству; оно пробиралось въ его душу постепенно и безболѣзненно. Кто былъ его первымъ учителемъ въ этомъ дѣлѣ — онъ и самъ бы не могъ сказать: ученіе носилось въ воздухѣ и невольно захватывало собою всякаго живого человѣка. Не встрѣчая прежней энергіи противодѣйствія, упрочивъ, такъ сказать, свои права гражданства, медленнымъ ядомъ вливалось оно въ душу человѣка, глубоко и прочно западало въ ней. Оно не было уже предметомъ вѣры; оно стало предметомъ холоднаго знанія, которое ровно ничего не говоритъ сердцу, какъ не говоритъ ему сухая математическая формула. Что люди поклонялись когда-то ложнымъ богамъ— это казалось столь простою и безспорною истиною, о которой не стоитъ и говорить, какъ не стоитъ говорить о томъ, что дважды два — четыре. Но если само отрицаніе утратило свою обаятельную силу, если уже оно ничего не говоритъ нашему сердцу, то что же любить, что ненавидѣть, чего добиваться, къ чему привязаться душою, зачѣмъ, наконецъ, жить?—Ради заботы о ближнихъ? ради облегченія страданій униженныхъ и оскорбленныхъ? ради водворенія счастія на землѣ? Все это, конечно, высокія и святыя цѣли, но не для Ставрогина. Во имя чего дорожить ему этими цѣлями? Ставрогинъ стоитъ на ступени отрицанія, на которой онъ ничего не приметъ на вѣру, зря; онъ не способенъ на мѣсто сброшенныхъ кумировъ воздвигать новые идеалы. Такъ во имя чего же стремиться ко всему этому? Ужъ опять не во имя ли „общаго блага?“ Но Ставрогинъ хорошо знаетъ цѣну этой идеи, и она уже не плѣняетъ болѣе его мысли. Онъ спокойно и холодно все отрицающій, не видитъ и не знаетъ, зачѣмъ онъ явился на свѣтъ Божій и для чего существуетъ. Неужели

же онъ, отрицаніе котораго приводитъ къ мысли о безцѣльности и безсмысленности своего личнаго существованія, будетъ хлопотать и ставить задачею жизни, чтобы столь же безцѣльно и безсмысленно существовали другіе? Нѣтъ, человѣкъ не отступающій передъ выводами своей мысли, онъ не сдѣлаетъ этого, и онъ, дѣйствительно, этого не дѣлаетъ. Отрицаніе,—холодное, безстрастное, неумолимое отрицаніе,—убило въ немъ все, смерчомъ пронеслось оно по его психическому міру и съ корнемъ вырвало въ немъ всѣ живые побѣги; оно выжало его душу и обратило ее въ полную и совершенную пустыню. Это уже не живой человѣкъ, любящій и ненавидящій: онъ ко всему относится безучастно и не знаетъ болѣе ни радости ни горя. Онъ живетъ изо дня въ день, колотится какъ рыба объ ледъ и не ищетъ даже исхода. Единственное чувство, которое еще не замерло въ немъ, это чувство тоски гнетущей, мучительной, ужасной:

Цѣли нѣтъ передо мною;
Сердце пусто, празднен умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ!

могъ бы воскликнуть Ставрогинъ вмѣстѣ съ великимъ поэтомъ. Чтобы избавиться отъ этой невыносимой тоски, которую онъ носитъ въ своемъ сердцѣ, ему остается одно — искать развлеченія: въ чемъ-нибудь потопить, чѣмъ-нибудь заглушить гнетущее чувство. И Ставрогинъ развлекается всѣмъ, что попадется ему на глаза, ни передъ чѣмъ не останавливаясь, ничего не щадя, не заботясь даже о самомъ себѣ. Сегодня онъ смиренно сноситъ тяжкое публичное оскорбленіе, завтра безъ особой нужды играетъ на дуэли своею жизнію, послѣзавтра губитъ встрѣтившуюся ему дѣвушку, которую, однако, вовсе не любитъ. Къ тому, другому и третьему онъ относится одинаково безучастно; онъ дѣлаетъ все это потому, что хочетъ заглушить въ себѣ смертельную тоску, которая его душитъ. Помните у Пушкина: Фаустъ приказываетъ съ тоски потопить корабль, на который указываетъ ему на концѣ сцены Мефистофель. Ну, вотъ это именно то душевное состояніе, которое переживаетъ Ставрогинъ, хотя оно происходитъ у него отъ другихъ причинъ, чѣмъ у Фауста.

Зачѣмъ потопить? кому и для чего это нужно! — Да такъ, чтобы хоть немножко забыться. Дѣло позволительное тѣмъ болѣе, что чего же жалѣть тѣхъ далекихъ пловцовъ, которые такъ же, какъ и онъ, безсмысленно живутъ и прозябаютъ? Но прихотливыми забавами не заглушить тоски и не наполнить содержаніемъ безцѣльной жизни. И вотъ, естественно, въ одну изъ минутъ, когда тоска сказалась съ особою силою, Ставрогинъ кончаетъ съ собою. Мы, впрочемъ, не знаемъ, какъ собственно онъ кончаетъ: быть можетъ, онъ лѣзетъ въ петлю такъ же спокойно и безучастно, какъ дерется на дуэли; въ смерти, быть-можетъ, онъ видитъ новое, еще неиспытанное имъ, развлеченіе и съ любопытствомъ идетъ къ нему навстрѣчу. Какъ бы тамъ ни было, но конецъ Ставрогина вытекаетъ съ необходимостью изъ всего прошлаго этого жалкаго человѣка. Однако, возлѣ Ставрогина цѣлая компанія, предводимая Петромъ Верховенскимъ, которая какъ будто дѣлаетъ что-то, стремится къ чему-то. Но Боже! Это опять развлекающаяся компанія, и развлекается она ужаснымъ дѣломъ: для счастья людей — она губитъ одного изъ своихъ членовъ и прикрывается самоубійствомъ другого. Что же? Это убійство товарища — результатъ увлеченія, въ которомъ убійцы будутъ горько раскаиваться?—О, нѣтъ, никакъ! Это дѣло холоднаго разсчета, и дѣльцы уже не новички, чтобы поддаваться той непростительной слабости, жертвою которой дѣлается Раскольниковъ. Убійство нужно имъ для осуществленія плана, имѣющаго сдѣлать людей счастливыми. Этотъ планъ не работа возбужденной фантазіи, а плодъ спокойнаго обсужденія. Компанія относится и къ своему плану и къ предполагаемому убійству дѣловымъ образомъ, — такъ точно, какъ всякій другой отнесся бы къ какому-нибудь практическому вопросу. Въ ней, въ этой компаніи, тотъ-же духовный строй, что въ Ставрогинѣ: тотъ съ тоски губитъ себя, а эти губятъ другого, чтобы на его погибели основать общее дѣло, которымъ они развлекаются. Безцѣльность, пустота души, полныя и совершенныя потемки внутри и внѣ, непроницаемый мракъ, окутывающій человѣка, — вотъ тѣ характерныя черты, которыми отмѣчаетъ усопшій писатель состояніе отрицанія, низведеннаго на степень холоднаго и безстрастнаго *знанія*. Ни въ своей ни въ чужой жизни нѣтъ уже болѣе смысла, нѣтъ и цѣны ей; не существуетъ ни правыхъ ни

ложныхъ путей, да и вообще нѣтъ никакихъ путей, которые вели бы къ чему-либо, стоющему хлопотъ.

Хоть убей, слѣда не видно!
Сбились мы; что дѣлать намъ?...

восклицаетъ въ отчаяніи Достоевскій, ставя этотъ стихъ эпиграфомъ своихъ „Бѣсовъ“.

П. Звѣревъ.

Варвара Петровна Ставрогина.

*) Представительницею поколѣнія родителей-самодуровъ является въ романѣ Достоевскаго помѣщица и генеральша Варвара Петровна Ставрогина. Особа эта, какъ и „другъ“ ея, Степанъ Трофимовичъ, много разъ уже, въ различныхъ костюмахъ, отрекомендовывалась русскимъ читателямъ; г. Достоевскій точно такъ же скомпилировалъ характеръ деспотической помѣщицы, какъ онъ скомпилировалъ и характеръ Верховенскаго. И вторая компиляція, какъ и первая, отличается тѣмъ-же отсутствіемъ художественной конкретности, и тѣмъ-же, хотя и односторонним, но въ высшей степени тонкимъ и остроумнымъ психологическимъ анализомъ. Я, впрочемъ, не стану здѣсь останавливаться на разборахъ этого характера. Достаточно сказать только, что Варвара Петровна представляетъ собою какъ-бы „дополнительный цвѣтъ“ по отношенію къ Степану Трофимовичу. Основной фонъ того или другого характера одинаковы: это болѣзненно-развитое себялюбіе, дѣлающее изъ своего „я“ высшее и конечное средоточіе всей своей жизни и дѣятельности. У одного только это себялюбіе приняло направленіе пассивной самосозерцательности, совершенно, впрочемъ, безобидной для окружающихъ его лицъ, у другой выродилось въ самодурный деспотизмъ. Само-собою понятно, что „дружба“ обоихъ этихъ эгоизмовъ не имѣетъ въ себѣ ничего привлекательнаго: оба друга двадцать лѣтъ взаимно одинъ другого мучаютъ, одинъ другому отравляютъ послѣднія спокойныя минуты жалкаго существованія.

Въ характерѣ этой дружбы рельефно обрисовывается, между прочимъ, вся пошлость и безсодержательность, вся мелочность и тупая ограниченность людей разсматриваемаго

*) П. Никитинъ. „Больные люди“. „Дѣло“ 1873 г., №№ 3 и 4.

типа. Чрезъ двадцать лѣтъ оказалось, что оба друга жаждали не простой дружбы, а взаимной любви, но во все это время ни у одного изъ нихъ не хватало смѣлости, чтобы взглянуть истинѣ прямо въ глаза и отдать себѣ ясный отчетъ въ своихъ чувствіяхъ. А между тѣмъ оба они были большіе охотники до само-анализированія. Но это такъ всегда бываетъ съ малодушными резонерами: резонеръ любитъ всегда пріискивать къ своимъ чувствамъ сотни самыхъ хитро-сплетенныхъ комментарій и оправданій, но всѣ они обыкновенно одинаково далеки отъ истины. Какъ трусъ, резонеръ инстинктивно избѣгаетъ послѣдней, онъ всегда предпочитаетъ то, что льститъ (хотя и на время) пустому тщеславію. Впрочемъ, у Варвары Петровны тутъ дѣйствовала не столько трусость, сколько болѣзненное самолюбіе. Какъ можно, чтобы она, генеральская вдова, богатая помѣщица, унизилась до любовныхъ объясненій хотя и съ другомъ, но все-же „другомъ“, сравнительно съ нею весьма ничтожнымъ, состоящимъ при ней въ качествѣ приживалки“. Но глупость ихъ взаимныхъ отношеній не исчерпывается однимъ этимъ двадцатилѣтнимъ недоразумѣніемъ. Они запоминали каждую мелочь, ставили „въ лыко“ каждую строку, а потомъ при случаѣ (а часто даже и безъ всякаго случая) подпускали другъ другу всякія шпильки; особенно памятлива была насчетъ всякаго вздора Варвара Петровна. Однажды Степанъ Трофимовичъ, слушая разсказъ одного заѣзжаго гостя барона о слухахъ по поводу предстоящей крестьянской реформы, не вытерпѣлъ и крикнулъ: „ура“; это взволновало Варвару Петровну, и она не спустила даромъ своему другу его неосторожное восклицаніе. Когда баронъ уѣхалъ, она молчала минуты три, а потомъ вдругъ „блѣдная, со сверкающими глазами, обернулась къ ничего не подозрѣвавшему „другу“ и шопотомъ процѣдила: „я вамъ этого не забуду“. И дѣйствительно, разсказываетъ авторъ, „тринадцать лѣтъ спустя, въ одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его и такъ-же точно поблѣднѣла, какъ и тринадцать лѣтъ назадъ, когда въ первый разъ попрекала...“

Варвара Петровна не умерла, но, по всей вѣроятности, она впала въ такое состояніе, въ которомъ даже и неопытный психіатръ усмотритъ симптомы умственной болѣзни. По крайней мѣрѣ, у нея еще раньше являлись такія дикія и

нелѣпыя фантазіи (въ родѣ, напр., сватовства Даши на Степанѣ Трофимовичѣ), что признать ее вполнѣ здоровою никогда нельзя было; подъ гнетущимъ вліяніемъ самодурнаго и ограниченнаго эгоизма, ея характеръ долженъ былъ съ годами точно такъ-же вырождаться, какъ вырождался характеръ Степана Трофимовича, подъ вліяніемъ эгоизма трусливаго, малодушнаго, пассивно-созерцательнаго самообожанія. Только вырожденіе въ томъ и другомъ случаѣ принимало различныя формы. У одной оно переходило въ „періодъ предвѣстниковъ" неистовства (такъ называемой маніи), у другого въ меланхолію. Внезапные порывы неистовства или приступы гнетущей тоски, эти психіатрическіе феномены, были самымъ обыденнымъ явленіемъ въ жизни нашихъ папенекъ и маменекъ, нашихъ Варваръ Петровнъ и Степановъ Трофимовичей.

П. Никитинъ.

Эркель.

Эркелю хотя предоставлена въ романѣ весьма второстепенная роль, но индивидуальность его отмѣчена авторомъ очень ярко. Это былъ „дурачокъ", но такой, у котораго только главнаго царя не было въ головѣ, а маленькаго подчиненнаго толку было довольно, „даже до хитрости". „Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, мало разсудочной, вѣчно жаждущей подчиненія чужой волѣ натуры". Чувствительный и даже добрый, дѣлившійся со старушкой матерью своимъ скуднымъ жалованьемъ, онъ „быть можетъ, былъ самымъ безчувственнымъ изъ убійцъ Шатова, и безъ всякой личной ненависти, не смигнувъ глазомъ, присутствовалъ при его убіеніи". Авторъ замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ, что „еслибъ онъ встрѣтился съ какимъ-нибудь преждевременно развращеннымъ монстромъ, и тотъ подъ какимъ-нибудь соціально романическимъ предлогомъ подбилъ его основать разбойничью шайку, а для пробы велѣлъ убить и ограбить перваго встрѣчнаго мужика, то онъ непремѣнно бы пошелъ и послушался. „Подобные фанатики „послушанія", безотвѣтно подчиняющіеся всякой чужой волѣ, достаточно нахальной, чтобъ импонировать имъ, въ такой же степени составляютъ пригодный революціонный матеріалъ, какъ и фанатики крови и рѣзни, подобные Шигалеву.

*) (А). В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ". „Русскій Вѣстникъ" 1873 г., № 8.

Фонъ-Лембке.

*) Развитіе буйнаго помѣшательства, или, говоря правильнѣе, суммы болѣзненныхъ симптомовъ, называемыхъ буйствомъ, не законченное въ повѣсти *Двойникъ*, съ необычайною полнотой и живостью описано въ другомъ произведеніи, явившемся почти на четверть вѣка позже: въ *Бѣсахъ*. Но, какъ и у всякаго крупнаго художника, тутъ нѣтъ повторенія, основная тема та же, но разработана другая варіація этой темы, такъ что въ одно и то же время мы имѣемъ и болѣе всестороннее изученіе и разъясненіе раньше недосказаннаго.

Фонъ-Лембке второстепенная личность въ этомъ романѣ, но характеристика его, какъ въ здоровомъ, такъ и въ больномъ состояніи, останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя.

Достоевскій не говоритъ о причинахъ помѣшательства Лембке; послѣднею дѣйствующею причиной были семейныя дрязги, безпокойство за служебное положеніе и усиленное напряженіе умственной дѣятельности. А что это напряженіе достигло высокой степени, ясно уже изъ того, что нелегко, хотя бы и плохо разыгрывать роль губернатора человѣку, проводившему время въ клееніи игрушекъ; задача не легкая перейти отъ столь несложной работы къ управленію людьми.

Прежде всего появился періодъ угнетеннаго настроенія; жена его, женщина вообще интеллигентная, замѣтила въ немъ уныніе еще мѣсяца за два до того, какъ помѣшательство вполнѣ обнаружилось; посторонніе, какъ это обыкновенно и бываетъ, ничего ненормальнаго не замѣчали.

Если бы нужно было доказывать, что Достоевскій—глубокій наблюдатель въ сферѣ психопатологіи, то указанія на одну эту подробность было бы достаточно. Едва ли можно допустить, чтобы только случайно въ двухъ произведеніяхъ, такъ рѣзко отличающихся другъ отъ друга, авторъ отмѣтилъ одно и то же обстоятельство; неужели и въ исторіи Голядкина и въ исторіи Лембке указаніе на предшествовавшій періодъ мрачнаго настроенія ничего не значащая обмолвка со стороны автора? Между тѣмъ, какъ психіатрамъ нужно было много времени и труда, чтобы подмѣтить это явленіе, Досто-

*) В. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., №№ 5 и 6, и отдѣльное изд. М. 1885 г.

евскому оно дѣлается извѣстнымъ, благодаря только его личнымъ наблюденіямъ.

Угнетенное состояніе духа въ этотъ періодъ обыкновенно бываетъ выражено такъ слабо, что только близкіе люди замѣчаютъ перемѣну въ характерѣ больного; и только когда помѣшательство разовьется вполнѣ, они отдаютъ себѣ уже ясный отчетъ въ замѣченномъ ими.

Ничѣмъ не мотивированное измѣненіе настроенія у Лембке сопровождалось сосредоточенностью, равнодушіемъ къ дѣйствительности его окружающей; появилась безсонница. Мало-по-малу стала замѣтна значительная перемѣна въ характерѣ. Сдержанный, спокойный, настойчивый, Лембке дѣлается уступчивымъ относительно вещей серіозныхъ, мелочно требовательнымъ относительно пустяковъ, крайне раздражительнымъ, болтливымъ, откровеннымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появляется переоцѣнка собственныхъ достоинствъ, хвастливость, неспособность понять болѣе сложныя обстоятельства. Благовоспитанный, скромный и сдержанный, Лембке пускается въ откровенности съ Петромъ Верховенскимъ, говоритъ ему о своемъ фантастическомъ для простого губернатора могуществѣ, поддается на грубую лесть и не понимаетъ, что его грубо обманываютъ. Пока, конечно, ничего абсолютно болѣзненнаго нѣтъ; помѣшательство вѣдь развивается постепенно, и рѣдко можно провести рѣзкую границу, гдѣ кончаются поступки здороваго и начинаются выходки больного. Во всякомъ случаѣ поведеніе Лембке за этотъ періодъ, принимая во вниманіе его прежній характеръ, по меньшей степени странно. Еще страннѣе, какъ наивная и безцѣльная хвастливость Лембке предъ женой тѣмъ, что онъ справится съ десятью губерніями, вышлетъ гувернантку изъ губерніи „съ казакомъ“, такъ и то, что этотъ образецъ благовоспитанности и приличія бросается съ кулаками на обожаемую имъ жену.

На слѣдующій день его слова и поступки кажутся и многимъ болѣе чѣмъ странными. Появилась усиленная возбудимость чувствъ, благодаря чему всѣ впечатлѣнія, получаемыя сознаніемъ, оттѣняются и сопровождаются сильными душевными волненіями, вмѣстѣ съ чрезмѣрнымъ ускореніемъ процесса представленій. Воспоминаніе о вчерашней ссорѣ съ женой вызываетъ столь сильное душевное волненіе, что онъ

бросаетъ важныя дѣла (а онъ былъ человѣкъ аккуратный) и ѣдетъ за ней, не успѣлъ еще доѣхать—новыя представленія, новое настроеніе: хорошее утро, окружающія поля производятъ столь сильное впечатлѣніе на этого обыкновенно деревяннаго чиновника, что онъ сходитъ съ коляски и рветъ цвѣты. Такіе ребяческіе, слабо мотивированные поступки весьма характерны для даннаго періода болѣзни. Вслѣдствіе повышенной возбудимости хорошее утро и поля такъ сильно повліяли на Лембке, что онъ, какъ ребенокъ отдается этому впечатлѣнію, забывъ о женѣ и о дѣлахъ. Легко себѣ представить, какъ при такомъ состояніи должно было подѣйствовать извѣстіе, сообщенное частнымъ приставомъ Флибустьеровымъ о томъ, что рабочіе шигулинской фабрики собрались на площади съ цѣлью принести жалобу губернатору. Въ такомъ состояніи, вслѣдствіе высокой возбудимости чувства и быстрой смѣны представленій, при безграничномъ въ то же время ихъ сочетаніи, наступаетъ быстрая смѣна самыхъ разнообразныхъ аффектовъ. Вслѣдствіе этого извѣстія развился гнѣвный аффектъ, гнѣвное настроеніе духа производитъ въ свою очередь вторичныя воспроизведенія соотвѣтственныхъ представленій, какъ попытку объяснить себѣ причины столь сильнаго волненія, то-есть является тотъ же процессъ, какъ и при развитіи идей бреда у меланхолика. У Лембке всплываютъ на поверхность сознанія старыя предположенія, прежде почти невѣроятныя для него самого, что на рабочихъ вліяли прокламаціи, Петръ Верховенскій и т. п.; но теперь для него это уже непреложный фактъ. Такія представленія опять, какъ это всякому понятно, сами дѣйствуютъ на гнѣвное настроеніе и поддерживаютъ его. Представленія эти, въ противоположность меланхоліи, гдѣ они имѣютъ стойкій характеръ, здѣсь носятъ характеръ вихря идей. Такъ какъ при чрезмѣрномъ ускореніи и возбужденіи всѣхъ психическихъ актовъ и при недѣятельности всѣхъ задерживающихъ представленій, *я* субъекта оказывается безсильнымъ противостоять этому процессу возбужденія, то душевныя волненія проявляются при помощи химическаго и двигательнаго аппаратовъ. Даже такихъ наблюдателей какъ Флибустьеровъ и кучеръ поразило выраженіе лица Лембке въ то время, когда тотъ срывалъ цвѣты. На площади онъ держалъ себя такъ неприлично по внѣшности, что даже люди, не видящіе ничего предосуди-

тельнаго въ публичной экзекуціи, и тѣ не одобрили его горячности.

Чрезмѣрное ускореніе хода представленій естественно ведетъ къ безсвязности ихъ, къ ассоціаціи идей низшаго порядка, то-есть ассоціаціи, обусловленной созвучіемъ или сходствомъ самихъ словъ: такъ Лембке, услышавъ фамилію частнаго пристава Флибустьерова, при его докладѣ о томъ, что рабочіе пришли на площадь, вдругъ называетъ самихъ просителей „флибустьерами" (фаланстеры, фурьеристы, вотъ, вѣроятно, что мелькало въ разгоряченномъ сознаніи), летитъ на площадь, кричитъ безсмысленныя слова „на колѣни", „флибустьеры", и ни мало не колеблясь, не разобравъ и даже не сдѣлавъ попытки разобрать дѣло, распоряжается объ экзекуціи. При бездѣйствіи всѣхъ задерживающихъ моментовъ, представленій о законѣ и могущей угрожать отвѣтственности, чувствъ справедливости и приличія, старой привычки къ порядку, такое распоряженіе вытекаетъ само собой, какъ у грубаго человѣка, когда тотъ лѣзетъ драться, при сопротивленіи ему въ чемъ-нибудь. Лембке не могъ разсуждать и не успѣлъ отдаться новымъ настроеніямъ, а въ его состояніи настроеніе и представленія быстро переходили въ дѣйствія.

То же самое мы видимъ въ его послѣдующей бесѣдѣ со Степаномъ Верховенскимъ. Лембке только отчасти узнаетъ его; до сознанія не сразу доходитъ и впечатлѣніе зрѣнія и слуховыя воспріятія; онъ не слышитъ, что собственно ему говорилъ Верховенскій, а кричитъ фразы, попавшія ему на языкъ подъ напоромъ занимающихъ его представленій о пропагандѣ, о заблуждающемся юношествѣ и т. п. Когда же онъ окончательно узнаетъ Верховенскаго и видитъ Блюма, то картина мѣняется, пріобрѣтаютъ живость представленія о неудачно сдѣланномъ обыскѣ, о скандалѣ отсюда вытекающемъ, и вотъ только-что сѣкшій людей Лембке униженно проситъ прощенія, чуть не плачетъ. Жена его, пользуясь этою перемѣною, на время заставляетъ его подчиниться себѣ, но вновь поднятый разговоръ о лекціяхъ производитъ волненіе въ Лембке, и онъ дѣлаетъ скандалъ въ гостиной жены.

Достоевскій безъ малѣйшей натяжки создалъ поразительную картину человѣка власть имущаго, съ полевыми цвѣтками въ рукахъ распоряжающагося поркой невинныхъ людей на публичной площади, среди негодующей и одобряющей публики.

Что еще болѣе оттѣняетъ реальность и выразительность этой картины, это зависимость всей кутерьмы отъ простой случайности: не будь фамилія частнаго пристава Флибустьеровъ, вѣроятно, не было бы и такого трагическаго конца. Не знаю, можно ли лучше, сохраняя полную правдивость, заставить читателя содрогнуться и задуматься. Если вспомнить многое изъ прошлаго и посмотрѣть на жизнь вокругъ, то много найдемъ такихъ же Лембке, дѣйствующихъ столь же разумно, какъ и онъ. Впрочемъ, пояснять дальше выразительность этой картины излишне; я хотѣлъ только указать, какъ мастерски пользовался Достоевскій своимъ знаніемъ психопатологіи для созданія наиболѣе выразительныхъ картинъ.

Однако такіе больные еще могутъ успокаиваться; посторонним они кажутся даже здоровыми, но и въ эти сравнительно свѣтлые промежутки, при внимательномъ наблюденіи, видны болѣзненныя явленія: сильное мозговое возбужденіе перешло въ угнетеніе. Лембке сдѣлался вялъ, безучастенъ, не могъ уже заниматься дѣлами до вечера слѣдующаго дня, когда новыя, сильно подѣйствовавшія впечатлѣнія (крики публики, человѣкъ, танцующій кверху ногами) вызвали прежнее состояніе, но еще въ сильнѣйшей степени; онъ сталъ говорить безсмыслицу, то есть слова, первыми попавшія на языкъ: „пожаръ въ головахъ“, „обыскать всѣхъ“ и т. п. Какъ и всякій буйный больной, онъ проявляетъ усиленную дѣятельность и подвижность, ѣдетъ на пожаръ, тамъ суетится безо всякаго толку, кричитъ, бѣгаетъ и, наконецъ, бросается помогать старухѣ тащить изъ загорѣвшагося дома перину. Одни и тѣ же законы руководили имъ все время: та же болѣзненная возбудимость чувства, повышенные аффекты, ускоренное теченіе представленій при отсутствіи контролирующихъ моментовъ.

Мнѣ кажется, что этимъ примѣромъ Достоевскій показалъ, какимъ путемъ человѣкъ можетъ дойти до нарушенія всѣхъ законовъ; конечно, у Лембке все это выразилось очень рѣзко, но суть дѣла остается та же. Кто знаетъ, не будутъ ли наши потомки смотрѣть на нашихъ Лембке, какъ мы смотримъ на Нерона, и такое проявленіе душевной болѣзни, какъ у Лембке, будетъ имѣть быстрое и соотвѣтственное послѣдствіе—заключеніе въ больницу. Если бы Лембке приказалъ шнигулинскихъ рабочихъ повѣсить, то, конечно, полицеймейстеръ не

усомнился бы, что его начальникъ сошелъ съ ума, между тѣмъ какъ подобныя приказанія въ извѣстныя эпохи ни въ комъ не возбуждали сомнѣнія относительно состоянія умственныхъ способностей Лембокъ того времени.

В. Чижъ.

Елизавета Николаевна Дроздова.

*) У Елизаветы Николаевны Дроздовой истерическій характеръ выразился не такъ рѣзко, какъ у Лизы Хохлаковой („Братья Карамазовы"). Елизавета Николаевна можетъ даже считаться здоровою дѣвушкой и пользоваться свободой; такихъ дѣвушекъ въ образованномъ классѣ весьма много; однако при неблагопріятныхъ условіяхъ эти зачатки болѣзни могутъ развиться вполнѣ. Кромѣ того, нужно сказать, что относительно Елизаветы Николаевны Достоевскій нѣсколько идеализуетъ: онъ описалъ только хорошія стороны ея характера; гораздо чаще, однако, съ тою порывистостью и измѣнчивостью, которыя составляютъ сущность характера Елизаветы Николаевны, проявляются эгоистическія, низменныя стремленія; истерическія проявляютъ себя чаще капризами, чѣмъ благородными поступками. Поэтому образъ Елизаветы Николаевны представляется неяснымъ, неестественнымъ, неизмѣримо слабѣе очерченнымъ, чѣмъ образъ Лизы (само собой разумѣется, что я говорю только съ медицинской точки зрѣнія) **).

В. Чижъ.

---

*) В. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ". Русскій Вѣстникъ" 1884 г., №№ 5 и 6 и отдѣльное изданіе М. 1885 г.

**) Кромѣ помѣщенныхъ здѣсь критическихъ разборовъ о романѣ „Бѣсы", интересующіеся могутъ прочитать о немъ отзывы еще въ слѣдующихъ періодическихъ изданіяхъ: „Дѣло" 1871 г., № 11, стр. 54—75 (статья, подъ заглавіемъ: „Невинныя замѣтки"); „Голосъ" 1873 г., № 18; „Искра" 1873 г., № 6; „Новое Время" 1873 г., № 16 (рец. А. С.); „Русскій міръ" 1872 г. № 315 и 1873 г., № 5 („Очерки текущ. литер."); „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1871 г., №№ 65 и 250, 1872 г., №№ 15 и 345, 1873 г., №№ 6 и 13; „Сынъ Отечества" 1873 г., № 40; „Биржевыя Вѣдомости" 1872 г., № 83 и „Одесскій Вѣстникъ" 1872 г., № 83.

Примѣч. В. Зелинскаго.

„ПОДРОСТОКЪ“.

(1875 г.) *).

**) По поводу „Бѣсовъ“ мнѣ уже разъ приходилось бесѣдовать о талантѣ г. Достоевскаго; сознаюсь, поводъ этотъ былъ выбранъ не особенно удачно. „Бѣсы“, безспорно, одно изъ самыхъ слабыхъ, самыхъ „нехудожественныхъ“ произведеній автора „Преступленія и Наказанія“. Я старался объяснить тогда „нехудожественность“ и „слабость“ этого романа, главнымъ образомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ вышелъ изъ своей сферы, и забрался въ такія палестины, гдѣ его художественный инстинктъ неспособенъ ничего видѣть, кромѣ обратной стороны медали... Дѣло въ томъ, что г. Достоевскій, хотя и безспорно талантъ крупный, но въ высшей степени односторонній. Главная сила этого таланта заключается въ психологическомъ анализѣ. Очень немногіе изъ современныхъ художниковъ — тутъ ужъ я имѣю въ виду не однихъ только русскихъ беллетристовъ—умѣютъ такъ глубоко заглядывать въ человѣческую душу, какъ онъ. Однако, какъ ни глубокъ этотъ анализъ, но онъ все-таки страдаетъ крайнею односторонностью. Копаясь во внутреннемъ мірѣ человѣка, авторъ съ особенною любовью останавливается лишь на нѣкоторыхъ его сторонахъ и почти совершенно игнорируетъ остальныя. Вслѣдствіе этого почти всѣ дѣйствующія лица въ его произведеніяхъ являются людьми односторонними, не вполнѣ нормальными, весьма сильно смахивающими на паціентовъ изъ сумасшедшаго дома. Въ ихъ психической

*) Первоначально былъ помѣщенъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1875 г., въ книгахъ: 1, 2, 4, 5, 9, 11 и 12.

**) П. Никитинъ (П. Н. Ткачовъ). „Литературное попури“. „Дѣло“ 1876 г., № 5. Примѣч. В. Зелинскаго.

жизни нѣтъ ни порядка ни гармоніи, она почти всегда находится подъ фатальнымъ гнетомъ одного какого-нибудь психическаго мотива—одного какого-нибудь чувства или мысли. Сосредоточивая на этомъ преобладающемъ мотивѣ все свое вниманіе, авторъ, по необходимости, долженъ утрировать его, доводить до болѣзненной напряженности. Онъ смотритъ на человѣческую душу сквозь увеличительное стекло, и это стекло онъ всегда наводитъ лишь на извѣстныя душевныя состоянія, на извѣстныя явленія и факты психическаго міра; эти-то излюбленныя имъ состоянія, явленія и факты всегда выдвигаются у него на первый планъ, принимаютъ чрезвычайные непропорціонально огромные размѣры и, само-собою понятно, производятъ на читателя рѣзкое, сильное, нерѣдко потрясающее впечатлѣніе.

Съ эстетической точки зрѣнія, это, если хотите, большой недостатокъ. Авторъ не въ состояніи создать цѣлостнаго, всесторонне, гармонически-развитаго художественнаго характера. Всѣ его герои, говоря словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Подросткѣ", это — „люди безумія". Тою-же печатью „безумія" запечатлѣнъ у него обыкновенно и самый планъ романа. И это вполнѣ понятно: отъ столкновенія „безумныхъ людей" ничего другого и произойти не можетъ, кромѣ вещей дикихъ, нелѣпыхъ, безумныхъ. Какъ въ ихъ внутреннемъ мірѣ, такъ и въ ихъ жизни, все поражаетъ васъ своею странностью, безпорядочностью, несообразностью, своею неожиданностью. Событія слѣдуютъ одно за другимъ безъ всякой, повидимому, внутренней необходимости; элементъ случайнаго является преобладающимъ элементомъ и поверхностный читатель долженъ составить себѣ очень невыгодное мнѣніе о художественной фантазіи автора. А между тѣмъ у этой фантазіи есть своя логика, и логика весьма послѣдовательная. Авторъ ни на минуту не забываетъ, съ какого рода субъектами онъ имѣетъ дѣло; онъ понимаетъ, что подобные субъекты не могутъ такъ говорить и такъ поступать, какъ говорятъ и поступаютъ обыкновенные нормальные люди. То, что для послѣднихъ будетъ и странно, и случайно, и дико, и нелѣпо, то для первыхъ вполнѣ естественно, разумно и логично.

Но какъ бы ни былъ авторъ правъ съ своей точки зрѣнія, во всякомъ случаѣ его произведенія, благодаря только что

указаннымъ причинамъ, никогда не производятъ и не могутъ производить цѣлостнаго художественнаго впечатлѣнія. Правда, въ нихъ попадаются отдѣльныя мѣста и вводные эпизоды (въ родѣ, напримѣръ, разсказа чиновника Ермолаева (?) *) въ романѣ „Преступленіе и Наказаніе“, или эпизода съ Олей— въ „Подросткѣ“), въ высшей степени замѣчательные по своей художественной правдѣ, но эти отдѣльныя мѣста и эпизоды совершенно теряются и исчезаютъ въ общей массѣ несообразностей и уродливостей.

Поэтому повторяю опять то, что уже я, кажется, говорилъ по поводу „Бѣсовъ“, и что гораздо раньше меня высказывалъ Добролюбовъ по поводу „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“:— значеніе г. Достоевскаго, какъ художника съ чисто-эстетической точки зрѣнія, очень и очень не велико. Въ самомъ дѣлѣ, эстетика требуетъ отъ художника прежде всего художественной правды. Но вотъ именно этому-то ея основному, элементарному требованію,—въ которомъ, впрочемъ, уже содержатся и всѣ остальныя ея требованія, — г. Достоевскій никогда не удовлетворялъ и не можетъ удовлетворить; художественная правда, какъ и правда научная, есть ничто иное, какъ правильное обобщеніе частныхъ единичныхъ явленій; она отличается отъ послѣдней только тѣмъ, что выражается не въ отвлеченной логической формулѣ, а въ живомъ конкретномъ образѣ. Но для того, чтобы обобщеніе было правильно, чтобы въ немъ не было никакихъ натяжекъ, никакой искусственности, никакого произвола, необходимо обладать способностью отличать въ явленіи случайное отъ постояннаго, ненормальное отъ нормальнаго, второстепенное отъ главнаго. Г. же Достоевскій если и обладаетъ этой способностью, то только въ весьма и весьма слабой степени. Особенность его таланта въ томъ-то именно и состоитъ, что онъ всегда склоненъ исключительное, анормальное, временное, преходящее, случайное возводить въ нѣчто постоянное, нормальное, преобладающее. Не говоря уже о томъ, что его „художественнымъ взорамъ“, какъ замѣчено выше, доступны лишь нѣкоторые уголки человѣческой души, и что поэтому его художественныя наблюденія страдаютъ односторонностью, онъ даже и въ этихъ хорошо знакомыхъ ему уголкахъ, даже и въ этихъ

*) Критикъ, вѣроятно, имѣлъ въ виду Мармеладова.
Примѣч. В. Зелинскаго.

односторонних наблюденіяхъ никогда почти не въ состояніи сохранить вполнѣ объективнаго безпристрастія; всегда онъ что-нибудь да вложитъ отъ себя, что-нибудь прикрасить, расцвѣтитъ, преувеличитъ и исказитъ.

Въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, это, если можно такъ выразиться—хотя я знаю, что выраженіе не вполнѣ соотвѣтствуетъ моей мысли — субъективно-пристрастное отношеніе къ наблюдаемымъ явленіямъ переходитъ за предѣлы всякаго благоразумія и приличія... Происходитъ ли это отъ автора сознательно или безсознательно—рѣшить это, конечно, трудно, потому что роль критика не есть роль психіатра. Однако, въ большинствѣ случаевъ, эту особенность авторскаго творчества, по всей вѣроятности, слѣдуетъ объяснять тѣмъ, что Бѣлинскій, въ одномъ разговорѣ съ Достоевскимъ, называлъ „блудодѣяніемъ таланта“ (см. „Дневникъ писателя“, № 2, февраль, стр. 48). Объ этомъ „блудодѣяніи“ самъ г. Достоевскій очень недурно говоритъ въ своемъ „Дневникѣ“. „Мнѣ кажется, откровенно сознается онъ, говоря, очевидно, о себѣ, хотя имѣетъ въ виду другихъ,—мнѣ кажется, чрезвычайно рѣдко человѣкъ способенъ совладать съ своимъ дарованіемъ, и что, напротивъ, почти всегда талантъ порабощаетъ себѣ своего обладателя, такъ сказать, какъ бы схватывая его за шиворотъ (да, именно въ такомъ унизительномъ нерѣдко видѣ мы находимъ самого г. Достоевскаго) и унося его на весьма далекія разстоянія отъ настоящей дороги. У Гоголя гдѣ-то (забылъ гдѣ) одинъ враль началъ о чемъ-то разсказывать и, можетъ-быть, сказалъ бы правду, „но сами собою представились такія подробности“ въ разсказѣ, что уже никакъ нельзя было сказать правду“. „Во всякомъ талантѣ есть всегда эта нѣкоторая, почти неблагодарная, излишняя „отзывчивость“, которая всегда тянетъ увлечь самаго трезваго человѣка въ сторону.

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ...

или тамъ что-бы ни случилось, тотчасъ же и пошелъ, и пошелъ человѣкъ, и взыгралъ, и размазался, и увлекся“... Въ томъ же „Дневникѣ“ г. Достоевскій удачно сравниваетъ талантливаго человѣка съ однимъ московскимъ купчикомъ, которому папаша оставилъ, послѣ своей смерти, капиталъ. У купчика была мамаша; она тоже вела какую-то коммерцію и — запуталась. Чтобы выручить ее, нужно было заплатить

много денегъ, Купчикъ очень любилъ мамашу, но все-таки платить за нее не сталъ: „Все-же намъ нельзя никакъ безъ капиталу. Это чтобы капиталу нашего лишиться — это намъ никоимъ образомъ невозможно, потому какъ намъ никакъ невозможно, чтобы самимъ безъ капиталу“.—„Примите за аллегорію, говоритъ Достоевскій, — и приравнивайте талантъ къ капиталу, что даже и похоже, и выйдетъ такая рѣчь: „это чтобъ намъ безъ блеску и эффекту—это намъ никоимъ образомъ невозможно, потому какъ намъ никакъ невозможно, чтобы намъ совсѣмъ безъ блеску и эффекту“.

Примѣните всѣ эти мѣткія и нелишенныя остроумія замѣчанія къ таланту автора „Идіота“, „Бѣсовъ“, „Подростка“, „Преступленія и Наказанія“, и вы безъ всякихъ дальнѣйшихъ комментаріевъ поймете его частыя уклоненія „на весьма далекія разстоянія отъ настоящей дороги“; вы поймете, почему онъ иногда „и сказалъ бы правду, но сами собою представляются такія подробности въ разсказѣ, что ужъ правды никакъ нельзя сказать“... Талантъ его, видите ли, обладаетъ „почти неблагодарною“, излишнею отзывчивостью, а отзывчивость эта такого рода, что чуть „тамъ что случилось“ — убьетъ ли студентъ ростовщика, нагрубитъ-ли дочь своему отцу, всплыветъ ли наружу какое-либо ловкое мошенничество,—онъ сейчасъ же „и пошелъ, и пошелъ, и взыгралъ, и размазался, и увлекся“.

Очень можетъ быть, что эта „неблагодарная“ отзывчивость, эта наклонность къ безсознательному вранью присуща болѣе или менѣе всякому таланту. Такъ, по крайней мѣрѣ, утверждаетъ самъ г. Достоевскій; ему и книги въ руки! Кому-же лучше и судить о талантѣ, какъ не самому таланту. Но, во всякомъ случаѣ, его-то таланту она присуща въ наивящшей степени, такъ что въ плодахъ этого таланта всего труднѣе провести границу, гдѣ собственно оканчивается вранье и начинается правда... Мало того, она составляетъ характеристическую особенность его художественнаго творчества.

Этой особенности критика никогда не должна терять изъ виду: только непрестанно памятуя о ней, она можетъ придти къ правильной оцѣнкѣ характеровъ, воспроизводимыхъ авторомъ, и уберечься отъ тѣхъ увлеченій и отъ того „блудодѣйствованія“, въ которое самъ онъ такъ часто впадаетъ.

Однако, позвольте, замѣтитъ намъ, пожалуй, придирчивый

читатель,—позвольте: если г. Достоевскій, какъ вы изволили сказать, не даетъ намъ цѣлостныхъ, художественныхъ характеровъ, если онъ все свое вниманіе обращаетъ на явленія болѣе или менѣе исключительныя, на такія душевныя состоянія, которыя относятся скорѣе къ области психіатріи, чѣмъ психологіи, то какой же особенный интересъ могутъ представлять его произведенія для обыкновеннаго критика, для критика не спеціалиста по душевнымъ болѣзнямъ?".

Для критика-эстетика—весьма небольшой, готовъ съ этимъ безусловно согласиться. Но вѣдь наша же критика (по крайней мѣрѣ, петербургская критика) и не претендуетъ на эпитетъ „эстетической". Эстетическія красоты, художественныя достоинства и недостатки того или другого беллетристическаго произведенія интересуютъ ее очень мало, почти даже совсѣмъ не интересуютъ. *Какъ* живописуетъ авторъ — этотъ вопросъ для нея не особенно существенъ. Для нея несравненно важнѣе вопросъ, *что* онъ живописуетъ и представляетъ-ли или не представляетъ собою это *что* какой-нибудь общественный интересъ.

И вотъ именно съ этой-то точки зрѣнія общественнаго интереса произведенія г. Достоевскаго и представляютъ критикѣ весьма благодарный и весьма обильный матеріалъ. Хотя живописуемыя имъ душевныя состоянія и относятся болѣе къ психіатріи, чѣмъ къ психологіи, но, въ большинствѣ случаевъ, ихъ болѣзненный, патологическій характеръ зависитъ не столько отъ самой природы, сколько оттого, что авторъ черезчуръ ужъ ихъ утрируетъ, черезчуръ выставляетъ ихъ на первый планъ, черезчуръ размазываетъ и разукрашиваетъ. Они отъ него получаютъ непропорціонально-сильное освѣщеніе, а потому и кажутся исключительными, ненормальными. Но вотъ, именно благодаря этому обстоятельству, ихъ пониманіе значительно облегчается, они становятся видимыми для самыхъ близорукихъ людей, а критика черпаетъ въ нихъ драгоцѣнный матеріалъ для характеристики цѣлаго типа не только отвлеченныхъ чувствъ и страстей, но и живыхъ, конкретныхъ характеровъ.

Разумѣется, все это было-бы не особенно важно, если бы эти явленія нашего внутренняго міра, тѣ „душевныя состоянія", на которыхъ авторъ останавливаетъ свое исключительное вниманіе, если бы они, взятыя сами по себѣ, не имѣли

никакого другого значенія, кромѣ чисто-медицинскаго, если бы они не находились ни въ какомъ болѣе или менѣе непосредственномъ отношеніи къ общественнымъ интересамъ. Въ этомъ случаѣ произведенія автора могли бы подлежать лишь спеціальной, научно-медицинской критикѣ; для критики же публицистической они имѣли бы столько же, если не менѣе, значенія, сколько они имѣютъ для критики эстетической.

Но вотъ въ томъ-то и дѣло, что въ романахъ г. Достоевскаго затрогиваются обыкновенно*) такія психическія явленія, которыя играютъ весьма видную роль въ жизни извѣстныхъ классовъ, извѣстной среды нашего общества, и которыя представляютъ, слѣдовательно, весьма любопытный матеріалъ для оцѣнки общественнаго и умственнаго состоянія, этой среды, этихъ классовъ.

Въ двухъ своихъ первыхъ большихъ произведеніяхъ — въ романахъ „Бѣдные Люди“ и „Униженные и Оскорбленные“ — и во многихъ другихъ мелкихъ очеркахъ авторъ выдвигаетъ на первый планъ и съ необыкновенною подробностью анализируетъ ту группу явленій, то „душевное состояніе“, которое по преимуществу характеризуетъ русскихъ интеллигентныхъ забитыхъ людей, пришибленныхъ судьбою и обстоятельствами, постоянно оскорбляемыхъ и попираемыхъ мимоидущими счастливцами, трепещущихъ, запуганныхъ, то безсловесныхъ и приниженныхъ, то озлобленныхъ и ожесточенныхъ. Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ, Голядкинъ, Прохарчинъ, наконецъ, личность болѣе интеллигентная — Иванъ Петровичъ (въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“) — съ одной стороны; Ихменевъ, Нелли, Свидригайловъ, Рогожинъ и т. п. — съ другой — все это представители „забитыхъ“ людей, воплощающихъ въ себѣ, хотя и въ различныхъ степеняхъ, одни и тѣ-же чувства, одно и то-же душевное состояніе. У однихъ только это душевное состояніе проявляется въ какой-то холопской приниженности, въ вѣчномъ оплевываніи своего собственнаго человѣческаго достоинства, въ непрестанномъ самоуниженіи, въ какой-то кроткой, почти даже трогательной

*) Я говорю обыкновенно, но не исключительно. Независимо отъ этихъ явленій, представляющихъ, такъ сказать, общій интересъ, авторъ любитъ останавливаться и на явленіяхъ уже чисто-патологическихъ, какъ, напр., на анализѣ симптомовъ, сопровождающихъ падучую болѣзнь, на раздвоеніи нашего „я“ и т. п. Анализъ этотъ у него превосходенъ, но литературной критикѣ тутъ нечего дѣлать. Пусть этимъ занимаются гг. Балинскіе и Чечотовы.

безотвѣтности и безобидности. У другихъ, напротивъ, въ злобномъ ожесточеніи на все и всѣхъ, въ постоянномъ недовольствѣ самимъ собою, въ глухомъ, затаенномъ протестѣ, проявляющемся обыкновенно наружу въ какихъ-нибудь дикихъ, безсмысленныхъ и совершенно нецѣлесообразныхъ формахъ. Первые прячутся, трепещутъ, не шелохнутся, дышать даже боятся; послѣдніе самодурничаютъ, бушуютъ, и за отсутствіемъ дѣйствительнаго самоуваженія, напускаютъ на себя суетную гордыню и усвоиваютъ себѣ пренебрежительно-злобный взглядъ на всѣхъ окружающихъ ихъ людей.

Но обо всѣхъ этихъ характерахъ мы здѣсь не будемъ распространяться; критика уже сказала о нихъ свое слово и дала имъ надлежащую оцѣнку. „Приниженные“ и „ожесточенные“ исчерпали, повидимому, полный типъ „забитыхъ“ и „несчастныхъ людей“. Итогъ былъ подведенъ, — итогъ не особенно утѣшительный. „Мы нашли, — такъ заканчиваетъ критикъ свою статью „о забитыхъ людяхъ“,—что забитыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у насъ много въ среднемъ классѣ, что имъ тяжко и въ нравственномъ и въ физическомъ смыслѣ, что, несмотря на наружное примиреніе съ своимъ положеніемъ, они чувствуютъ его горечь, готовы на раздраженіе и протестъ, жаждутъ выхода... Гдѣ этотъ выходъ, когда и какъ онъ совершится — это должна показать сама жизнь“.

Съ тѣхъ поръ, какъ были написаны эти строки, прошло много времени и утекло много воды. Что-же найденъ ли выходъ, указана ли его жизнь? Въ самомъ этомъ вопросѣ заключается уже и отвѣтъ на него. Но дѣло не въ отвѣтѣ; его заранѣе можетъ предугадать даже и такой проницательный критикъ, какъ г. Заурядный. Дѣло въ томъ, что хотя выходъ-то и по сіе время еще не отысканъ, но безцѣльное и безсмысленное озлобленіе перестало удовлетворять наиболѣе развитую и сравнительно наиболѣе счастливую часть забитыхъ людей. Они, эти наиболѣе развитые и счастливые, поняли, наконецъ, что сколько тамъ ни ворчи и не злись, а легче отъ этого не будетъ. А между тѣмъ и примириться имъ съ своимъ положеніемъ никакъ было невозможно, да и выбиться то изъ него казалось еще невозможнѣе. Они стали задумываться, мысль напряженно работала; идеи наростали за идеями; умъ все болѣе и болѣе отвлекался отъ будничной, практической дѣятельности, все дальше и дальше уносился въ

безпечальную область отвлеченныхъ идеаловъ. Скоро оказалось, что въ этой-то области и слѣдуетъ искать спасенія. Входъ въ нее никому возбраненъ не былъ; она гостепріимно открывала свои объятія всякому желающему. И такъ — какъ она при этомъ обѣщала душевное спокойствіе (по крайней мѣрѣ, хоть на время) и забвеніе, то, разумѣется, желающихъ оказалось не мало. И вотъ на мѣсто, или, лучше сказать, рядомъ съ людьми „ожесточенными“ и „озлобленными“, появились теперь люди идейные. Первые искали выхода въ чувственной разнузданности, въ дикихъ и безумныхъ порывахъ животныхъ чувствъ и инстинктовъ; вторые — въ мірѣ идей и „высшихъ идеаловъ“.

Такимъ образомъ, идейные люди представляютъ третью, наиболѣе интеллектуальную, категорію забитыхъ людей. Анализу ихъ „души“ г. Достоевскій посвятилъ „Преступленіе и Наказаніе“ и „Подростка“. Въ первомъ изъ этихъ произведеній анализъ этотъ крайне одностороненъ и не полонъ, а въ „Подросткѣ“ онъ достигаетъ той глубины, той обстоятельности и той сравнительной объективности, никогда, однакожъ, неспособной отрѣшиться — какъ мы замѣтили выше, — отъ чисто-субъективнаго элемента, благодаря которымъ автору такъ хорошо удалось воспроизвести въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ господствующее настроеніе души забитыхъ людей двухъ первыхъ категорій, — людей „приниженныхъ“ и „ожесточенныхъ“. И мнѣ кажется, романъ „Подростокъ“ г. Достоевскаго имѣетъ почти такое же значеніе для оцѣнки *идейныхъ* забитыхъ людей, какое имѣлъ его первый романъ („Бѣдные Люди“) для оцѣнки людей типа Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ и имъ подобныхъ.

Вотъ почему критика, не вполнѣ еще забывшая свое прошлое, критика, оставшаяся вѣрною къ своимъ принципамъ и не утратившая сознанія своихъ обязанностей и своихъ задачъ, должна отнестись къ этому роману съ особеннымъ вниманіемъ. Я это и постараюсь сдѣлать, хотя, сознаюсь напередъ, въ немъ собрано такъ много дрогоцѣннаго матеріала для характеристики души русскаго „идейнаго человѣка“, что заранѣе отказываюсь исчерпать ихъ вполнѣ и всесторонне. Ограничусь только опредѣленіемъ наиболѣе общихъ чертъ и наиболѣе существенныхъ особенностей людей этого типа,—типа, хотя и новаго, но уже отжившаго, сходящаго со сцены, усту-

пающаго свое мѣсто людямъ иного закала, иного характера...

„Идейные люди“ вырабатывались и развивались на той-же почвѣ, которая выростила Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ, Прохарчиныхъ и т. п. Они состоятъ съ ними въ самомъ близкомъ родствѣ, они родные братья Ивановъ Петровичей (герой „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, отъ лица котораго ведется разсказъ), законныя дѣти Ихменевыхъ, Свидригайловыхъ, Версиловыхъ и иныхъ представителей поколѣнія „отцовъ“. Не радостно проходило дѣтство этихъ дѣтей подъ кровомъ ихъ разоренныхъ, ожесточенныхъ и „униженныхъ и оскорбленныхъ“ родителей. Они росли въ загонѣ; съ самыхъ раннихъ лѣтъ имъ приходилось быть невольными свидѣтелями униженія ихъ отцовъ; на ихъ глазахъ оплевывались и оскорблялись самыя святыя права и человѣческія чувства... Мало того, имъ самимъ не разъ доводилось подвергаться этому процессу оплеванія и пассивно подчиняться господству безсмысленной, дикой силы. Прежде, чѣмъ они начали что-нибудь понимать, прежде, чѣмъ они начали мыслить, они уже были озлоблены и ожесточены. Озлобленный, „униженный и оскорбленный“ ребенокъ — всегда эгоистъ. Они и были эгоистами, они и выросли эгоистами, эгоизмъ навсегда остался выдающеюся и наиболѣе существенною чертою ихъ характера.

Ну что же могло выйти изъ подобныхъ подростковъ? По-видимому—копіи отцовъ, вторыя изданія Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ, Свидригайловыхъ, Рогожиныхъ, Ихменевыхъ и ихъ близнецовъ. Разумѣется, такъ-бы и случилось, такъ-бы и должно было случиться, еслибы нѣкоторыя посторонія обстоятельства не вмѣшались въ дѣло и не внесли нѣкоторой смуты, хаоса и взаимнаго недоразумѣнія въ темный и таинственный міръ забитыхъ людей. Вѣковѣчные устои ихъ жизни на минуту пошатнулись, почва заколебалась подъ ихъ ногами. Каждый почувствовалъ себя *какъ будто* независимѣе, а въ то-же время и *безпомощнѣе*. Начались сомнѣнія и вопросы: „Да какъ-же теперь быть? Да что-же изъ этого выйдетъ? Да неужели-же и взаправду приходитъ конецъ всему тому, къ чему такъ и привыкли и о чемъ уже такъ давно перестали думать „униженные и оскорбленные?“ Явился спросъ на *мысль*. Сознавалась необходимость приспособиться къ новымъ формамъ жизни, къ новымъ условіямъ житейской обстановки. И

какъ разъ, въ эту-то, можно сказать, роковую минуту дѣти Версиловыхъ, Ихменевыхъ и др. вступали въ тотъ возрастъ, который изъ всѣхъ человѣческихъ возрастовъ отличается наибольшею воспріимчивостью, наибольшею „отзывчивостью“ на всѣ впечатлѣнія внѣшняго міра. Само собою понятно, для нихъ не могло пройти безслѣдно то, что смутило даже ихъ отцовъ. Имъ пришлось *задуматься,* задуматься крѣпко о самихъ себѣ,—о чемъ никогда не задумывались ихъ родители. Такимъ образомъ, ихъ развитіе получило неожиданный толчокъ, выбившій ихъ изъ обыкновенной колеи, заставившій ихъ рано встать на собственныя ноги и прокладывать себѣ новые, еще непроторенные пути. Въ сущности-же новые пути мало чѣмъ отличались отъ старыхъ, но все-таки они требовали нѣкоторыхъ особыхъ приспособленій; явилась необходимость въ нѣсколько иной дрессировкѣ, чѣмъ та, чрезъ которую проходили отцы. Дрессировка была неумѣлая, такъ сказать, пробная, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что многіе изъ нихъ даже поотстали отъ отцовъ по части цѣлостности и законченности характера. Въ жизнь имъ, дѣйствительно, пришлось вступать какими-то неоперившимися *подростками.* Однако уже и въ этихъ неоперившихся подросткахъ можно было прослѣдить двѣ господствующія черты отцовскаго типа, на которыя я указывалъ выше. Въ характерѣ однихъ ясно обрисовывалась наслѣдственная приниженность и забитость, ищущая отрады и утѣшенія въ уединенномъ созерцаніи своего реальнаго ничтожества въ настоящемъ и своего возможнаго возвышенія въ будущемъ. Въ характерѣ другихъ на первый планъ выступало то злобно-эгоистическое ожесточеніе, которое нерѣдко приводило отцовъ къ самымъ возмутительнымъ и самымъ безсмысленнымъ злодѣйствамъ.

Но у дѣтей эти черты значительно видоизмѣнились. Дикая разнузданность темныхъ эгоистическихъ инстинктовъ приняла видъ болѣе благообразный, но за то и болѣе омерзительный. Разгулъ озлобленной натуры, безумные порывы „униженнаго и оскорбленнаго“ человѣка, выродились въ холодный, разсчетливый развратъ, въ самую ординарную нравственную испорченность. Свидригайловы и Рогожины заставляютъ васъ по временамъ содрогаться; Ламберты и Тришатовы внушаютъ къ себѣ одно лишь презрѣніе, и даже не презрѣніе, а какое то гадливое... сожалѣніе. Нравственные безумцы выродились

въ нравственныхъ идіотовъ. Этого требовали новыя условія жизни; заурядное мошенничество, „пакостничанье“ изъ-за угла, „потихоньку и понемножку“, стало теперь дѣломъ болѣе выгоднымъ и менѣе опаснымъ сравнительно съ „злодѣйскими“ чудодѣйствіями „широкихъ натуръ“. Широкимъ натурамъ пришлось сократиться. Дѣти это уразумѣли и сократились... по крайней мѣрѣ, на первое время. Не меньшей метаморфозѣ подверглась и другая типическая черта забитыхъ людей. Мечты отцовъ оказались уже совсѣмъ неутѣшительными для дѣтей; горизонтъ ихъ мысли настолько расширился, что Дѣвушкинская философія перестала ихъ удовлетворять; она годилась только до тѣхъ поръ, пока „устои жизни“ были настолько тверды и непоколебимы, что въ голову забитыхъ людей и мысли даже не могло запасть о ихъ переходномъ состояніи и тлѣнности. Дѣвушкинъ былъ, напр., рѣшительно не въ состояніи себѣ представить, какъ можетъ начальство „не задавать тону“ своему подчиненному и приниженному. „Да, вѣдь, на томъ и свѣтъ стоитъ, разсуждаетъ онъ,—что всѣ мы одинъ передъ другимъ тону задаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другого распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свѣтъ-бы не стоялъ и порядка-бы не было“. Далѣе, онъ твердо вѣровалъ, что „всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ“.

Разъ человѣкъ усвоилъ себѣ такую философію, онъ необходимо долженъ не только примириться съ некрасивой дѣйствительностью, но даже и умиляться передъ нею, находить свой міръ лучшимъ изъ наилучшихъ міровъ. Его мечты и утопіи не могутъ идти далѣе несбыточныхъ желаній сдѣлаться вдругъ генераломъ, жениться на богатой купчихѣ, заслужить благоволеніе начальства и т. п. Голядкинъ (въ „Двойникѣ“), желая какъ-нибудь утѣшиться послѣ всѣхъ своихъ жизненныхъ неудачъ, превращаетъ себя въ мечтахъ, конечно, въ идеально-ловкаго, умнаго, красиваго, пронырливаго и находчиваго малаго, отъ котораго всѣ безъ ума, который всюду принимается съ распростертыми объятіями и который не

только не трепещетъ, но, въ нѣкоторомъ родѣ, даже за носъ водитъ свое начальство. Онъ испытываетъ невыразимое удовольствіе сравнивая самимъ имъ созданнаго, идеальнаго Голядкина (двойника) съ Голядкинымъ реальнымъ. Онъ находитъ, что послѣдній все-таки лучше перваго, и эта мысль успокоиваетъ его.

Разумѣется, подобными игрушками „дѣти“ не могли уже болѣе тѣшиться. Утративъ вѣру (подорванную въ нихъ самою жизнію) почти во все то, во что вѣрили ихъ отцы, они не могли успокоиться на ихъ философіи и, подобно имъ, примириться съ житейскими невзгодами и вообще со всею массою разныхъ „прижимокъ“, оскорбленій и униженій. Отсюда само собою понятно, что ихъ „идеи“ должны были рѣзко отличаться отъ ребяческихъ фантазій ихъ отцовъ. Понятно также, въ чемъ именно должно было состоять это различіе. Впрочемъ, если-бъ даже для нѣкоторыхъ изъ читателей это было и непонятно, то пусть они обвиняютъ въ этомъ не меня, а самого автора. Самъ Достоевскій говоритъ о содержаніи этихъ идей или черезчуръ двусмысленно, или... или черезчуръ ужъ глупо. Руководится-ли онъ въ этомъ случаѣ какими-нибудь посторонними соображеніями, или же онъ и въ самомъ дѣлѣ не понимаетъ и путаетъ—рѣшать этого я не берусь, да оно и неособенно интересно. Для характеристики идейныхъ забитыхъ людей важно не столько самое содержаніе „идеи“, сколько ея общее направленіе и въ особенности ихъ отношеніе къ ней. Каково-же это общее направленіе и какъ относятся къ „идеѣ“ мечтательные барчуки? Это само собою выяснится изъ анализа характера одного изъ ихъ представителей, Аркадія Макаровича Долгорукаго, незаконнаго сына помѣщика Версилова и одной изъ его крѣпостныхъ „дѣвокъ“.

*) Долгорукій былъ незаконнорожденный сынъ, помѣсь дворянской и мужицкой крови. Отца и матери онъ до 17 лѣтъ совсѣмъ не зналъ. „Съ дѣтства, разсказываетъ онъ, — меня отдали въ люди, для комфорта Версилова (отца)“. До семи лѣтъ жилъ онъ гдѣ-то въ деревнѣ, потомъ отдали его на „выучку“ въ пансіонъ къ Тушару, „плотненькому французику, лѣтъ сорока пяти и дѣйствительнаго парижскаго происхожде-

*) „Дѣло“ 1876 г., № 6. (Продолженіе той-же критической статьи).

нія, разумѣется, изъ сапожниковъ... человѣку глубоко необразованному". Пансіонъ считался аристократическимъ, въ немъ воспитывались все „князья и сенаторскія дѣти". Незаконный сынъ являлся въ нѣкоторомъ родѣ пятномъ среди этихъ княжескихъ и сенаторскихъ свѣтилъ, поэтому Тушаръ потребовалъ надбавки къ условленной платѣ. Ему отказали; онъ, разумѣется, пришелъ въ негодованіе. „Я припоминаю, говоритъ Подростокъ,—какъ онъ (т. е. Тушаръ), весь багровый, вошелъ тогда въ нашу классную, съ письмомъ въ рукахъ, подошелъ къ нашему большому дубовому столу, за которымъ мы всѣ шестеро что-то зубрили, крѣпко схватилъ меня за плечо, поднялъ со стула и велѣлъ захватить мои тетрадки. „Твое мѣсто не здѣсь, а тамъ", указалъ онъ мнѣ крошечную комнатку налѣво изъ передней, гдѣ стоялъ простой столъ, плетеный стулъ и клеенчатый диванъ... Я перешелъ съ удивленіемъ и очень оробѣвъ, — никогда еще со мною грубо не обходились... А между тѣмъ недѣли двѣ я ужасно важничалъ передъ товарищами, хвастался моимъ синимъ сюртукомъ и моимъ папенькой Андреемъ Петровичемъ. И вдругъ такой афронтъ!" Въ первую минуту, однако, Подростокъ еще не понималъ, что такое случилось и за что разгнѣвалось на него начальство. Когда Тушаръ вышелъ изъ классной, я сталъ переглядываться съ товарищами и пересмѣиваться; конечно, они надо мною смѣялись, но я о томъ не догадывался и думалъ, что мы смѣемся оттого, что намъ весело. Тутъ какъ разъ налетѣлъ Тушаръ, схватилъ меня за вихоръ и давай таскать. „Ты не смѣешь сидѣть съ благородными дѣтьми, ты подлаго происхожденія и все равно, что лакей!" и онъ пребольно ударилъ меня по моей пухлой румяной щекѣ. Ему это тотчасъ-же понравилось, и онъ ударилъ меня во второй и въ третій разъ. Цѣлый часъ просидѣлъ я, закрывшись руками, и плакалъ-плакалъ"...

Съ этого дня жизнь мальчика въ пансіонѣ совсѣмъ измѣнилась. Тушаръ вымещалъ на немъ свою злобу, по поводу несбывшейся надежды на прибавку платы; онъ всячески унижалъ и оскорблялъ его передъ „князьями и сенаторскими дѣтьми", желая, быть можетъ, внушить имъ возвышенное мнѣніе о своемъ собственномъ происхожденіи. Впрочемъ „билъ онъ меня какихъ-нибудь мѣсяца два. Я, помню, все хотѣлъ его чѣмъ-то обезоружить, бросался цѣловать его руку и цѣ-

ловалъ ее и все плакалъ. Товарищи смѣялись надо мною и презирали меня, потому что Тушаръ сталъ употреблять меня иногда, какъ прислугу, приказывалъ подавать себѣ платье, когда одѣвался... Кончилъ онъ тѣмъ, что полюбилъ болѣе пинать меня колѣнкомъ сзади, чѣмъ бить по лицу; а черезъ полгода такъ даже сталъ меня иногда ласкать; только нѣтъ, нѣтъ, а въ мѣсяцъ разъ навѣрное побьетъ для напоминанія, чтобы не забывался...“

„Была-ли во мнѣ злоба? Не знаю, можетъ быть, и была. Странно, во мнѣ всегда была, и, можетъ быть, съ самаго перваго дѣтства, такова черта: коли уже мнѣ сдѣлали зло, унизили окончательно, оскорбили глубоко, до послѣднихъ предѣловъ, то всегда тутъ-же являлось у меня неутолимое желаніе пассивно подчиниться оскорбленію и даже пойти впередъ желаніямъ обидчика: „На-те, вы унизили меня, такъ я еще пуще самъ унижусь, вотъ, смотрите, любуйтесь!“ Тушаръ билъ меня и хотѣлъ показать, что я лакей, а не сенаторскій сынъ, и вотъ я сейчасъ-же самъ вошелъ въ роль лакея. Я не только подавалъ ему одѣваться, но я самъ схватывалъ щетку и начиналъ счищать съ него послѣднія пылинки, вовсе уже безъ его просьбы или приказанія, самъ гнался иногда за нимъ со щеткою, въ пылу лакейскаго усердія, чтобы смахнуть какую-нибудь послѣднюю соринку съ его фрака, такъ что онъ самъ останавливалъ меня иногда: „Довольно, довольно, Аркадій, довольно“. Онъ придетъ, бывало, сниметъ верхнее платье, а я его вычищу, бережно сложу и накрою клѣтчатымъ шелковымъ платочкомъ. Я знаю, что товарищи смѣются и презираютъ меня за это, отлично знаю, но мнѣ это-то и любо. „Коли захотѣли, чтобы я былъ лакей, ну, такъ вотъ я и лакей: хамъ, такъ хамъ и есть“. Пассивную ненависть и подпольную злобу въ этомъ родѣ я могъ продолжать годами...“

Въ этомъ мастерскомъ анализѣ прекрасно обрисовывается одна изъ характеристическихъ особенностей „души“ забитаго человѣка. Забитый человѣкъ—когда онъ даже злобствуетъ и протестуетъ,—старается (впрочемъ, не старается, это у него само собою выходитъ) такъ злобствовать и такъ протестовать, чтобы этого никто не замѣтилъ; онъ забирается какъ можно глубже въ сокровенныя нѣдра своей души и тамъ только позволяетъ себѣ ворчать и хмуриться. Онъ протестуетъ, но

протестуетъ весьма оригинальнымъ способомъ: его бьютъ по одной щекѣ, онъ подставляетъ другую. „Бей, бей сколько влѣзетъ, чѣмъ больше будешь бить, тѣмъ мнѣ лучше! Что взялъ? Ты думалъ меня обидѣть, а я, вѣдь, нисколько не обижаюсь, напротивъ, мнѣ это доставляетъ даже нѣкоторое удовольствіе“. Да, какъ это ни странно, а это такъ: забитый человѣкъ находитъ наслажденіе въ созерцаніи своего самоуничиженія. Ему пріятно поразить своихъ притѣснителей неожиданнымъ сюрпризомъ. Когда Подростка заподозрили на рулеткѣ у Зерщикова въ кражѣ денегъ, онъ крикнулъ на всю залу: „Донесу на всѣхъ, рулетка запрещена полиціей“. „Клянусь, говоритъ онъ,—что и тутъ было нѣчто подобное: меня унизили, обыскали, огласили воромъ, убили, ну, такъ знайте-же всѣ, что вы угадали: я не только воръ, но я и доносчикъ“.

Но, само собою разумѣется, этотъ протестъ собственными своими боками и щеками, протестъ рабскаго безсилія, не можетъ вполнѣ успокоить забитаго человѣка, не можетъ примирить его съ окружающею дѣйствительностью. И вотъ онъ или создаетъ себѣ особую философію, подобную философіи Дѣвушкина, или, подобно Аркадію Макаровичу, уединяется въ себя, отрекается отъ людей и всецѣло погружается въ міръ фантазіи и воздушныхъ замковъ. Аркадій Макаровичъ (Подростокъ), по его собственнымъ словамъ, только тогда и былъ счастливъ, когда, „ложась спать и закрываясь одѣяломъ, начиналъ уже одинъ, въ самомъ полномъ уединеніи, безъ ходящихъ кругомъ людей и безъ единаго отъ нихъ звука, пересоздавать жизнь на иной ладъ“. „Самая яростная мечтательность, разсказываетъ онъ,—сопровождала меня вплоть до открытія „идеи“, когда всѣ мечты изъ глупыхъ разомъ стали разумными и изъ мечтательной формы романа перешли въ разсудочную форму дѣйствительности“. У всякихъ мечтаній, у всякой фантазіи непремѣнно есть своя логика. Эта логика безсознательно приводитъ человѣческій умъ къ извѣстнымъ обобщеніямъ, въ которыхъ сливается и исчезаетъ все частное, единичное и отрывочное. „Идея“ Подростка именно и была однимъ изъ такихъ обобщеній. Она весьма послѣдовательно вытекала изъ его положенія. О чемъ всегда мечтаетъ голодный? О вкусномъ обѣдѣ. О чемъ мечтаетъ больной? О здоровьи. О чемъ мечтаютъ люди непривлекательной наружности,

конфузливые, неловкіе, ненаходчивые? О чемъ мечталъ Голядкинъ? Онъ воображалъ себя свѣтскимъ, развязнымъ и весьма недурнымъ собою молодымъ человѣкомъ, который вездѣ умѣетъ найтись, всюду пролѣзть, который не постоитъ за словомъ, передъ которымъ таютъ сердца всѣхъ барышень и настежь отворяются двери начальническихъ кабинетовъ, аристократическихъ салоновъ и даже таинственныхъ будуаровъ великосвѣтскихъ красавицъ. О чемъ же долженъ мечтать человѣкъ, ежеминутно сознающій свое безсиліе, свою бѣдность, необезпеченность и рабскую зависимость отъ окружающихъ людей? Понятно, онъ будетъ мечтать именно о томъ, чего у него нѣтъ: о силѣ, о могуществѣ, о независимости. Объ этихъ предметахъ онъ именно и мечталъ, „легши на постель и закрывшись одѣяломъ“. Сначала эти мечты были „глупы“, неясны, спутаны. Но „подъ ними работала, получившая уже толчокъ, до извѣстной степени уже возбужденная мысль мальчика-юноши. Мысль эта черпала свои матеріалы изъ окружающей жизни и изъ ограниченнаго, неполнаго, односторонняго опыта Подростка. Эта жизнь и этотъ опытъ убѣждали юношу, что у людей, конечно, у тѣхъ людей, которыхъ онъ зналъ,—во всѣхъ ихъ дѣлахъ и отношеніяхъ самую главную, самую выдающуюся роль играютъ деньги и богатство. Только богатый человѣкъ можетъ дѣлать все, что вздумаетъ, только богатаго всѣ уважаютъ, только ему все прощается и все забывается. И какъ это легко сдѣлаться богатымъ! Для этого не нужно обладать никакими чрезвычайными талантами, не нужно быть ни особенно умнымъ, ни особенно благороднымъ, ни особенно ловкимъ и находчивымъ: нужно только умѣть копить деньги“. Умѣть копить деньги,—но, вѣдь, это именно дѣло посредственности, дѣло человѣка, не способнаго ни на какія увлеченія, ни дурныя ни хорошія, ни на какія сильныя страсти ни на какія возвышенныя идеи, — человѣка, привыкшаго ко всякаго рода лишеніямъ, съ ограниченными потребностями, безъ претензій и излишней гордости,—однимъ словомъ, человѣка самаго зауряднаго, даже ничтожнаго. „Деньги разсуждаетъ Подростокъ,—это единственный путь, который приводитъ на первое мѣсто даже самое ничтожество“. Какъ же не схватиться за этотъ путь человѣку забитому, самоуничижающемуся, сознающему свое безсиліе и въ то же время мечтающе-

му о силѣ и могуществѣ? Пусть я не особенно уменъ, разсуждаетъ Подростокъ, но разъ у меня деньги—меня прославятъ чуть-чуть не геніемъ. „Я, напримѣръ, знаю по зеркалу, что моя наружность мнѣ вредитъ, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богатъ, какъ Ротшильдъ, кто будетъ справляться съ лицомъ моимъ и не тысячи-ли женщинъ, только свисни, налетятъ ко мнѣ съ своими красотами? Я даже увѣренъ, что онѣ сами совершенно-искренно станутъ считать меня подъ конецъ красавцемъ".

Подростокъ разсуждалъ, какъ видите, вполнѣ логично. И сколько подростковъ разсуждаютъ точно такимъ же образомъ! Для сколькихъ изъ нихъ, какъ и для него, всѣ мечты о силѣ, о могуществѣ и т. п., воплощаются въ идею о деньгахъ!

Попавъ на эту идею, Аркадій Макаровичъ сдѣлалъ ее главнымъ предметомъ своихъ уединенныхъ мечтаній, своихъ ночныхъ бдѣній. Мало-по-малу она стала его господствующею идеею, его idée fixe; онъ весь ушелъ въ нее, она примиряла его съ дѣйствительностью, она его утѣшала и успокоивала. Постоянно вдумываясь и развивая ее, онъ окончательно формулировалъ ее такимъ образомъ: „Хочу стать Ротшильдомъ, стать такъ-же богатымъ, а именно, какъ Ротшильдъ",—не просто богатымъ, а именно, какъ Ротшильдъ. Чтобы достичь осуществленія этого желанія, нужно одно лишь „упорство (въ накопленіи денегъ) и непрерывность". Средства, которыя выбираетъ человѣкъ для достиженія своей цѣли, всегда въ извѣстной степени опредѣляются его характеромъ. И въ этомъ отношеніи для характеристики забитаго идейнаго человѣка весьма интересно познакомиться съ мечтами Подростка о томъ, какимъ образомъ считалъ онъ возможнымъ осуществить свою завѣтную идею — стать Ротшильдомъ. Несомнѣнно, что эта идея—въ нѣсколько иной, быть можетъ, постановкѣ—преслѣдуетъ очень многихъ, и старыхъ и юныхъ, и забитыхъ и незабитыхъ личностей. Всѣ (за исключеніемъ развѣ самаго ничтожнаго меньшинства) гоняются за деньгами, за богатствомъ, за „наживою"; исканіе богатства—это одинъ изъ самыхъ всеобщихъ и самыхъ могущественныхъ двигателей человѣческой дѣятельности. Анна Андреевна (законная дочь Версилова, слѣдовательно, сестра по отцѣ, Подростка) и князья Сокольскіе, и Катерина Николаевна, и самъ Версиловъ, и Ламберты, и Тришатовы, и Стебельковы—всѣ они

одержимы желаніемъ заполучить побольше денегъ и разбогатѣть. Подростокъ въ этомъ случаѣ законный сынъ своей среды, онъ воплощаетъ въ себѣ ея самый насущный интересъ, ея господствующую идею. Однако Анна Андреевна, князь Сокольскій, Стебельковъ, Тришатовъ, Ламбертъ etc. дѣйствуютъ, такъ сказать, безсознательно; пріобрѣтеніе денегъ—это для нихъ не отвлеченная, теоретическая идея, какъ у Подростка, а простой, малоосмысленный эгоистическій интересъ, выгода; они не пытаются даже идеализировать этой выгоды, они не скрываютъ и не прячутъ ея, какъ нѣчто святое, завѣтное, напротивъ, они открыто ее заявляютъ какъ вещь самую ординарную, всѣмъ извѣстную и для всѣхъ понятную. Они не подходятъ къ ней разными извилинами и окольными путями; они идутъ прямо, не слишкомъ задумываясь передъ средствами. Нужно продать себя — они съ удовольствіемъ себя продадутъ, какъ дѣлаетъ Анна Андреевна; требуется поддѣлать фальшивый вексель или акціи—они поддѣлаютъ, подобно Стебелькову; нужно, чтобъ выманить деньги, пуститься въ шантажъ—они займутся шантажомъ (Ламбертъ, Тришатовъ) и т. п. Болѣе хищные изъ нихъ не отступятъ передъ открытымъ грабежомъ и убійствомъ, если обстоятельства и сила характера выведутъ ихъ на большую дорогу.

Но человѣкъ забитый и запуганный никогда не рѣшится практиковать этихъ нелегальныхъ и нерѣдко черезчуръ смѣлыхъ средствъ. Онъ будетъ собирать по грошамъ, собирать на основаніи такихъ-то и такихъ-то статей закона, прятать собранное и мало-по-малу скапливать свой, собственнымъ трудомъ, законно пріобрѣтенный капиталецъ. Вмѣсто того, чтобы дерзновенно запускать лапу въ карманъ ближняго, онъ будетъ не допивать, не доѣдать, лишитъ себя всего необходимаго. На Волгѣ, на одномъ изъ пароходовъ, умеръ какъ-то одинъ нищій, ходившій въ лохмотьяхъ, собиравшій милостыню, всѣмъ тамошнимъ хорошо извѣстный. У него, послѣ смерти, нашли зашитыми въ рубищѣ до трехъ тысячъ кредитными билетами. Этотъ нищій — типъ пріобрѣтателя-капиталиста изъ забитыхъ людей. Онъ, какъ и всякій хищникъ, одержимъ страстью къ деньгамъ, къ богатству, но пріобрѣтаетъ онъ это богатство путями самыми невинными и, если хотите, самыми наивными: онъ урываетъ кусокъ не у сосѣда,

еще живетъ желаніе протеста, можетъ быть, дикаго, безсмысленнаго, однако, все-таки протеста. Они не могутъ настолько примириться съ своимъ „унизительнымъ и оскорбительнымъ“ положеніемъ, чтобы не чувствовать жгучей потребности, хоть разъ, хоть на одну минуту, выйти изъ него и дать волю своимъ вѣчно подавляемымъ, вѣчно сдерживаемымъ „страстямъ и похотямъ“. Они еще думаютъ о возмездіи, въ глубинѣ ихъ души еще таится нѣкоторая надежда, ихъ натура не окончательно надломлена, она еще способна къ реакціи; они согнулись, притихли, принизились, но они еще могутъ когда-нибудь, при благопріятныхъ условіяхъ, выпрямиться и разогнуться во весь ростъ. Люди же совсѣмъ забитые не могутъ даже и этого: они до такой степени ушли внутрь себя, что ихъ уже оттуда ничѣмъ не выгонишь. Дайте имъ деньги, силу, могущество — они не воспользуются ими; они откажутся отъ власти, и съ руками, полными золота, будутъ жить нищими. „Будь только у меня могущество, — разсуждалъ Подростокъ, — мнѣ и не понадобится оно вовсе; увѣряю, что самъ, по своей волѣ, займу вездѣ послѣднее мѣсто. Будь я Ротшильдъ, я бы ходилъ въ старенькомъ пальто и съ зонтикомъ. Какое мнѣ дѣло, что меня толкаютъ на улицѣ, что я принужденъ перебѣгать въ припрыжку по грязи, чтобы меня не раздавили извозчики. Сознаніе, что это я, самъ Ротшильдъ, даже веселило бы меня въ ту минуту. Я знаю, что у меня можетъ быть обѣдъ, какъ ни у кого, и первый въ свѣтѣ поваръ; съ меня довольно, что я это знаю. Я съѣмъ кусокъ хлѣба и ветчины, и буду сытъ моимъ сознаніемъ“. Пусть надъ ними смѣются и топчутъ ихъ въ грязь—они не станутъ протестовать, съ нихъ вполнѣ достаточно одного сознанія, что они могутъ сдѣлать. „О, мечтаетъ идейный человѣкъ — пусть обижаетъ меня этотъ нахалъ генералъ на станціи, гдѣ мы оба ждемъ лошадей; если бы зналъ онъ, кто я, онъ побѣжалъ-бы самъ ихъ запрягать и выскочилъ бы сажать меня въ скромный тарантасъ... О, пусть, пусть эта страшная красавица, эта дочь этой пышной и знатной аристократіи, случайно встрѣтясь со мною на пароходѣ или гдѣ-нибудь, косится и, вздернувъ носъ, съ презрѣніемъ удивляется, какъ смѣлъ попасть въ первое мѣсто, рядомъ съ нею, этотъ скромный и плюгавый человѣчекъ съ книжкою или газетою въ рукахъ! Но, если бы только она знала, кто сидитъ подлѣ нея!“...

Вникните-же въ душевное состояніе человѣка, способнаго разсуждать такимъ образомъ. Онъ такъ освоился съ своимъ „униженнымъ,“ затертымъ положеніемъ, что въ его головѣ даже и мысли не является высвободиться изъ него. Онъ можетъ себя представить Ротшильдомъ, но Ротшильдомъ забитымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ,“ гордымъ однимъ только внутреннимъ сознаніемъ, что я, молъ, все-таки Ротшильдъ! Богатство и сила нужны ему не для того, чтобы дѣйствительно, реально отстаивать свои человѣческія права, а только для того, чтобы имѣть право сказать себѣ: „могъ бы и я воспользоваться всѣми этими правами, да самъ не хочу!“ Я зналъ одного юношу. Ему пришлось очень долго прожить въ одномъ захолустьѣ, въ такомъ мѣстѣ, куда „Макаръ телятъ не гонялъ;“ жить было скверно, дѣлать было рѣшительно нечего: юноша по цѣлымъ днямъ лежалъ на ободранномъ диванѣ у своей старой и ворчливой хозяйки и мечталъ, мечталъ,—конечно, о томъ счастливомъ времени, когда онъ получитъ возможность жить, гдѣ вздумается, и дѣлать, что хочется. Наконецъ, онъ ее получилъ, и... что вы думаете, какъ онъ ею воспользовался? Онъ остался у своей старой хозяйки и продолжаетъ лежать на своемъ ободранномъ диванчикѣ, попрежнему мечтая... о чемъ же? Да вотъ о томъ, куда бы могъ поѣхать, что-бы онъ могъ сдѣлать... если бы захотѣлъ! „Стыдитесь, писали ему товарищи, — не мучьте себя добровольно: возвращайтесь къ намъ, у насъ много для васъ найдется дѣла. Неужели еще вамъ не надоѣла ваша праздная и безполезная жизнь, неужели вамъ не опротивѣло общество Макаровыхъ телятъ!“—„Когда я читаю эти письма, говорилъ онъ мнѣ, — я испытываю неизъяснимое наслажденіе. Я сознаю, что я могу быть человѣкомъ полезнымъ, могу дѣло дѣлать, что за мною что-то стоитъ, что я, однимъ словомъ, хотя и маленькая, а все-таки возможная сила!“—Но отчего же вы не хотите изъ возможной силы стать силою дѣйствительною?“ — „Да потребности никакой не чувствуется. Мое сознаніе вполнѣ меня удовлетворяетъ, я внутренно счастливъ, а больше мнѣ ничего и не надо!“ А между тѣмъ, замѣтьте, это былъ совсѣмъ не какой-нибудь лѣнтяй и пентюхъ по природѣ. Напротивъ, въ прежнее время онъ отличался необыкновенною подвижностью и дѣятельностью, притомъ-же былъ одержимъ самыми возвышенными и благородными стре-

мленіями. Но продолжительное сожитіе съ Макаровыми телятами до такой степени сузило и ограничило не только его нравственныя, но даже и чисто-физическія потребности, до такой степени разслабило его жизненную энергію, что у него пропала всякая охота приниматься за какое нибудь дѣло, что онъ неспособенъ даже перемѣнить своего образа жизни. Сознаніе, что онъ можетъ и за дѣло взяться, и жизнь свою иначе устроить, если только захочетъ—это сознаніе вполнѣ его удовлетворяло и утѣшало даже. Но вѣдь это-же эгоизмъ, самый грубый, самый возмутительный эгоизмъ? Да, читатель, самый грубый, самый возмутительный эгоизмъ. Эгоизмъ есть неизбѣжное, логическое слѣдствіе человѣческой забитости; и чѣмъ болѣе человѣкъ забитъ, чѣмъ болѣе его „оскорбляютъ и унижаютъ,“ тѣмъ сильнѣе развивается въ немъ потребность „уйти отъ людей,“ махнуть рукою на всѣ ихъ дѣла, замкнуться „въ себѣ самомъ,“ замуравить въ тѣсной клѣткѣ своего „внутренняго сознанія“ всѣ свои „человѣческія стремленія, все свое человѣческое достоинство,“—иными словами, тѣмъ эгоистичнѣе, чѣмъ безчеловѣчнѣе онъ становится.

Г. Достоевскій вѣрно и тонко подмѣтилъ эту характерную черту забитыхъ людей. Всѣ они у него эгоисты, отчасти меланхолики, избѣгающіе общества, вѣчно замкнутые въ своемъ маленькомъ, микроскопическомъ „я.“ Въ Подросткѣ этотъ эгоизмъ обнаруживается всего реальнѣе; по всей вѣроятности, происходитъ это отъ того, что онъ, въ качествѣ человѣка идейнаго, вѣчно резонирующаго, очень любитъ копаться въ подонкахъ своей души. Онъ выталкиваетъ изъ нея всю грязь, размазываетъ и любуется ею. Для насъ открывается, такимъ образомъ, возможность, безъ малѣйшаго труда съ нашей стороны, весьма основательно ознакомиться съ сокровеннѣйшими мотивами его больной, надорванной и искалѣченной души. „Съ двѣнадцати лѣтъ, говоритъ онъ, — т. е. почти съ зарожденія правильнаго сознанія, я сталъ не любить людей... я никакъ не могу всего высказать даже близкимъ людямъ, т. е. могъ-бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь... Я не довѣрчивъ, угрюмъ и несообщителенъ. Опять-таки я давно уже замѣтилъ въ себѣ черту, чуть не съ дѣтства, что слишкомъ часто обвиняю, слишкомъ наклоненъ къ обвиненію другихъ... Я не находилъ ничего въ обществѣ людей, какъ ни старался, а я старался; по крайней мѣрѣ, всѣ мои одно-

лѣтки, всѣ мои товарищи, всѣ до одного оказывались ниже меня мыслями; я не понимаю ни единаго исключенія. Да, я сумраченъ, я безпрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти изъ общества... я не вижу ни малѣйшей причины дѣлать людямъ добро. И совсѣмъ люди не такъ прекрасны, чтобы объ нихъ такъ заботиться...“

На собраніи въ кружкѣ Дергачева — куда нашъ герой попалъ, впрочемъ, совершенно случайно—Подростокъ слѣдующимъ образомъ излагаетъ свое profession de foi: „Пока у меня есть два рубля, я хочу жить одинъ, ни отъ кого не зависѣть и ничего не дѣлать даже для того великаго будущаго человѣчества, работать на которое приглашали господина Крафта! Личная свобода, т. е. моя собственная-съ, на первомъ планѣ, а дальше знать ничего не хочу... Что мнѣ за дѣло до того, что будетъ черезъ тысячу лѣтъ съ этимъ вашимъ человѣчествомъ, если мнѣ за это по вашему кодексу, ни любви ни будущей жизни, ни признанія за мною подвига? Нѣтъ-съ, если такъ, то я самымъ пренебрежливымъ образомъ буду жить для себя, а тамъ хоть бы всѣ провалились!“ Эти слова не нуждаются въ комментаріяхъ. Но это были не одни только слова. Аркадій Макаровичъ не только въ своихъ мысляхъ, но и въ своихъ поступкахъ, въ своихъ отношеніяхъ къ окружающимъ и даже самымъ близкимъ ему людямъ, является эгоистомъ, — эгоистомъ тщеславнымъ, подозрительнымъ, до болѣзненности самолюбивымъ. Подъ вліяніемъ этого эгоизма онъ, быть можетъ, самъ того не желая, постоянно мучитъ, терзаетъ и оскорбляетъ и свою мать и своего отца—которыхъ тѣмъ не менѣе онъ очень любилъ,—онъ кокетничаетъ своею незаконнорожденностью (хотя юридически онъ считался законнымъ сыномъ законнаго супруга своей матери—Долгорукаго) и „тѣмъ самымъ, какъ справедливо замѣчаетъ Версиловъ,—онъ разоблачаетъ тайну матери и изъ-за какой-то ложной гордости тащитъ ее на судъ передъ первою встрѣчною грязью“. Онъ дуется и отстраняется отъ людей, которыхъ считаетъ или которые считаются чѣмъ-нибудь лучше его. Разъ какъ-то „въ минуту восторженности,“ онъ расхвалилъ своего знакомаго Васина. „И что же? Въ тотъ-же вечеръ, говоритъ онъ,—я уже почувствовалъ, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхваливъ его, я тѣмъ самымъ принизилъ передъ нимъ себя.“ „Съ самыхъ

низшихъ классовъ гимназіи, признается онъ далѣе,—чуть кто изъ товарищей опережалъ меня или въ наукахъ, или въ острыхъ отвѣтахъ, или въ физической силѣ, я тотчасъ-же переставалъ съ нимъ водиться и говорить."

Ради чисто-личнаго, эгоистическаго чувства, онъ входитъ въ товарищество съ глубоко презираемымъ имъ шантажистомъ Ламбертомъ, выдаетъ ему тайну любимой женщины и вступаетъ съ нимъ въ заговоръ, съ цѣлью погубить ее. То-же личное чувство заставляетъ его хранить документъ, ему не принадлежащій и весьма важный для той особы (Катерины Николаевны), которой онъ обязанъ былъ, по собственному сознанію, немедленно передать его. Когда онъ узнаетъ, что его сестра состоитъ въ связи съ княземъ Сокольскимъ—на счетъ котораго онъ жилъ,—у него прежде всего является мысль: „какъ это она могла *его* обманывать? *его* подвергать позору? какъ этотъ князь долженъ *его* презирать и т. п. Его *я* стоитъ у него на первомъ планѣ: онъ только о *себѣ* думаетъ, о *себѣ* заботится. А между тѣмъ онъ очень любитъ сестру, онъ ей вполнѣ сочувствуетъ, но какъ ни сильна эта любовь, какъ ни велико это сочувствіе, они не въ силахъ побороть въ немъ голоса уязвленнаго самолюбія, эгоистическаго тщеславія...

„Однако, позвольте, замѣтитъ читатель,—вы представляете душу забитаго идейнаго человѣка въ такихъ черныхъ краскахъ, что самъ собою навязывается вопросъ: если это правда, то чѣмъ-же тогда отличается этотъ идейный человѣкъ отъ какого-нибудь безыдейнаго Ламберта, Тришатова, даже Стебелькова? Неужели только тѣмъ, что онъ болѣе ихъ забитъ, что онъ менѣе ихъ способенъ на активный протестъ — тотъ единственно доступный имъ протестъ, который выражается у нихъ въ формѣ грубаго и хищнаго стяжанія?" Нѣтъ, это не совсѣмъ или, лучше сказать, это совсѣмъ не такъ. У Подростка есть *идея*, и какая бы ни была эта идея, а все-же она ставитъ его неизмѣримо высоко сравнительно съ разными Ламбертами, Стебельковыми и Тришатовыми; она свидѣтельствуетъ о *человѣчности* его натуры, она—та „божія искра," которая выдѣляетъ его изъ толпы безыдейныхъ, пресмыкающихся рабовъ. Подумайте-ка, въ самомъ дѣлѣ, почему это онъ, забитый подростокъ, могъ развиться до „идеи," а какой-нибудь Ламбертъ не могъ? Оба они воспитывались

подъ давленіемъ болѣе или менѣе тождественныхъ условій, учились даже въ одномъ и томъ же пансіонѣ, у „толстенькаго французика“ Тушара. Жизненные факты, съ которыми имъ приходилось сталкиваться, должны были оставлять въ ихъ душѣ почти одинаковые слѣды, почти однородныя впечатлѣнія. Мало того, эти одинаковыя впечатлѣнія привели ихъ къ выводу болѣе или менѣе одинаковому: „стремись къ богатству, въ немъ все твое спасеніе.“ Но вотъ тутъ-то и начинается различеніе: у одного этотъ выводъ остается на степени полубезсознательнаго, почти инстинктивнаго, мало осмысленнаго влеченія; у другого онъ претворяется въ идею, въ принципъ, въ теорію; одинъ всецѣло отдается теченію своихъ эгоистическихъ похотей и вожделеній; другой—ставитъ на ихъ мѣсто идею, и ей старается подчинить свою жизнь, свою дѣятельность. Разница огромная, но чѣмъ же она обусловливается, отчего зависитъ? Мнѣ кажется, отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ большой впечатлительности или, выражаясь словами г. Достоевскаго, большей „отзывчивости идейныхъ людей; во вторыхъ, отъ преобладанія у нихъ интеллектуальной стороны надъ чувственною, аффективною. Это преобладаніе и эта отзывчивость находятся между собою въ тѣсной связи и составляютъ одну изъ выдающихся особенностей забитыхъ людей этой категоріи. Объясненіе этой особенности съ психологической точки зрѣнія не представляетъ большого затрудненія.

Представьте себѣ человѣка, совершенно устраненнаго отъ всякой самостоятельной, активной дѣятельности, —человѣка, привыкшаго считать себя въ обществѣ за нуль и дѣйствительно постоянно играющаго въ немъ роль нуля,—что ему остается дѣлать, если въ немъ сохранилась хотъ какая-нибудь искра человѣчности, какъ не удалиться въ свое внутреннее *я*, въ міръ идей, въ безпечальную область вѣчнаго само-созерцанія и самораскапыванія? Всѣ его дѣятельныя, активныя способности, нигдѣ не находя себѣ никакого приложенія, поневолѣ отупѣютъ и мало-по-малу совершенно атрофируются. Его психическая жизнь получитъ одностороннее, уродливое направленіе; созерцательныя наклонности разовьются въ ущербъ всѣмъ остальнымъ, и идейная сторона станетъ преобладающею стороною его душевнаго міра. Отсюда само собою вытекаетъ, съ одной стороны, то преувеличенное значеніе, которое придаетъ человѣкъ своимъ „идеямъ“; съ другой—

его неспособность относиться вполнѣ трезво и реально къ впечатлѣніямъ, дѣйствующимъ на него извнѣ: онъ разсматриваетъ ихъ, такъ сказать, сквозь увеличительное стекло,—стекло черезчуръ субъективное, а потому онъ рѣдко умѣетъ правильно координировать ихъ: одно какое-нибудь впечатлѣніе данной минуты затмеваетъ собою на время не только впечатлѣнія непосредственно предшествовавшія и существующія, но и впечатлѣнія, уже сложившіяся въ идею. Такимъ образомъ, идея отходитъ на задній планъ, въ самыя темныя, сокровенныя глубины души, гдѣ она часто прозябаетъ по цѣлымъ годамъ, а иногда и всю жизнь человѣка. Мало-по-малу между идеею и человѣкомъ утрачивается всякая тѣсная органическая связь; она живетъ сама по себѣ, а онъ самъ по себѣ, и хотя онъ по прежнему находитъ въ ней свое утѣшеніе и свою отраду, но, въ сущности, она уже не имѣетъ надъ нимъ никакой силы; онъ продолжаетъ ей покланяться, но уже больше по привычкѣ, по преданію: онъ все еще готовъ видѣть въ ней своего бога, но этотъ богъ мертвый, безвластный и бездѣятельный, это—окаменѣлый, бездушный кумиръ.

Да, такова печальная, роковая судьба идеи нашихъ идейныхъ людей изъ забитыхъ. Они никогда почти не въ состояніи послѣдовательно выдержать ее, не въ состояніи надолго остаться вѣрными ей, даже мысленно. О практическомъ проведеніи ея въ жизнь я уже не говорю: практическое приложеніе идеи къ жизни нерѣдко (чтобы не сказать—всегда) сталкивается съ такою массою всевозможныхъ чисто-внѣшнихъ препятствій, что преодолѣть ихъ, разумѣется, не подъ силу пассивно-созерцательной, эгоистической натурѣ нашего идейнаго человѣка. Однако, было бы въ высшей степени несправедливо сваливать все на одни эти „внѣшнія препятствія". Я далекъ отъ мысли умалять ихъ значеніе, но не слѣдуетъ его и преувеличивать. Возьмите вы хоть, напримѣръ, Подростка. Авторъ, относящійся вообще отрицательно къ господствующимъ идеямъ нашихъ идейныхъ людей и совершенно даже ихъ не понимающій (что онъ уже многократно доказалъ и чего онъ, впрочемъ, и не скрываетъ),—авторъ вложилъ въ его голову хотя довольно смѣшную, если хотите, нелѣпую, но тѣмъ не менѣе весьма скромную и въ высшей степени благонамѣренную идею—идею обогатиться, отказывая себѣ

во всемъ необходимомъ, сдѣлаться Ротшильдомъ, скапливая деньги по грошамъ и копейкамъ. Можетъ быть, это черезчуръ ужъ наивно, однако, совершенно невинно и вполнѣ законно. Трудно себѣ представить, чтобы при ея практическомъ осуществленіи могли встрѣтиться какія-нибудь серьезныя „внѣшнія препятствія“. Кому какое дѣло, что Аркадій Макаровичъ копитъ себѣ понемножку деньжонки, продаетъ съ барышомъ купленныя на аукціонѣ вещи и играетъ потихоньку на биржѣ? Дѣятельность весьма почтенная и ни малѣйшимъ внѣшнимъ запретамъ неподлежащая. Вспомните при этомъ, что у Аркадія Макаровича потребности самыя умѣренныя, что онъ можетъ, если захочетъ, питаться однимъ хлѣбомъ, насчетъ жилья не брезгливъ и считаетъ 20 копеекъ въ день суммою вполнѣ достаточною для своего содержанія. При такихъ условіяхъ, почему бы, кажется, и не осуществить ему своей идеи? А, вѣдь, онъ даже и не пытается, а между тѣмъ онъ всюду носится съ нею, какъ съ писанной торбой; онъ гордится ею, воскуряетъ ей фиміамы, ищетъ въ ней защиты и утѣшенія отъ житейскихъ невзгодъ. „Идея утѣшала меня, разсказываетъ онъ самъ,—въ позорѣ и ничтожествѣ“... Всѣ его слабости и „мерзости“... какъ-бы прятались подъ нею; она, такъ сказать, все облегала и все заволакивала предо мною“.

И, однако, чуть только онъ наталкивается на какой-нибудь фактъ, способный въ данный моментъ произвести на него сильное впечатлѣніе, это впечатлѣніе, хоть бы оно и совершенно не гармонировало съ „идеею“, сейчасъ же заслоняетъ послѣднюю и пріобрѣтаетъ рѣшительное господство въ его душѣ. Рѣшаетъ онъ, напримѣръ, что для осуществленія „идеи“ ему необходимо копить деньги и избѣгать всякихъ излишнихъ расходовъ. Прекрасно. Онъ начинаетъ копить, скопилъ даже малую толику, и вдругъ все это пошло прахомъ, и пришлось начинать процессъ „самоистязанія“ и копленія сызнова. Угораздило кого-то подбросить ребенка къ Николаю Семеновичу, у котораго онъ жилъ въ послѣднее время, въ Москвѣ. Николай Семеновичъ рѣшилъ отослать подкидыша въ воспитательный домъ. Будущій Ротшильдъ воспротивился: онъ внезапно почувствовалъ приливъ какой-то материнской нѣжности къ младенцу; онъ ни за что не захотѣлъ разстаться съ нимъ. А такъ какъ Николай Семеновичъ, хотя и не былъ

одержимъ идеею сдѣлаться Ротшильдомъ, но, тѣмъ не менѣе, былъ весьма расчетливъ, то онъ и отказался самымъ категорическимъ образомъ принять къ себѣ „божію благодать". Тогда Аркадій Макаровичъ, не долго думая, торжественно заявилъ, что онъ самъ берется платить за ребенка. Дѣйствительно, онъ потратилъ на него половину скопленнаго капитала и, вѣроятно, потратилъ бы и весь, если бы ребенокъ, сжалившись надъ его слабодушіемъ, не умеръ во время. „Изъ исторіи съ Риночкою (такъ звали ребенка), я убѣдился, сознается Подростокъ, — что никакая идея не въ силахъ увлечь, по крайней мѣрѣ, меня до того, чтобы я не остановился вдругъ передъ какимъ-нибудь подавляющимъ фактомъ и не пожертвовалъ ему разомъ всѣмъ тѣмъ, что уже годами труда сдѣлалъ для идеи". По пріѣздѣ въ Петербургъ, „подавляющихъ фактовъ" явилось такъ много, „остановки" повторялись такъ часто и были такъ продолжительны, что „идея" совершенно стушевалась. Одинъ разъ только, въ первые дни по пріѣздѣ, онъ попытался кое-что сдѣлать для ея осуществленія: сходилъ на аукціонъ, купилъ тамъ старенькій альбомъ за два рубля пять копеекъ и тутъ-же перепродалъ его какому-то господину, у котораго съ этимъ альбомомъ были связаны нѣжныя воспоминанія, за десять рублей; выгодная сдѣлка привела его въ неописанный восторгъ: нажить за одинъ разъ семь рублей девяносто пять копеекъ—это былъ дебютъ весьма удачный. Однако онъ не поощрилъ его на дальнѣйшіе подвиги. Напротивъ, несмотря на то, что обстоятельства сложились весьма благопріятно для осуществленія его „идеи," что ему представлялись случаи поживиться не какими-нибудь жалкими семью рублями, а цѣлыми тысячами, онъ ни разу не пожелалъ воспользоваться этими случаями, и не только ничего не предпринималъ для своего обогащенія, но всѣми силами самъ старался разорить себя. Чуть только завелись у него деньги, онъ, вмѣсто того, чтобы пускать ихъ въ выгодные коммерческіе обороты или „копить," сталъ ихъ проматывать, завелъ себѣ лихача, началъ франтить, таскаться по ресторанамъ и игорнымъ домамъ, проигрывалъ огромные куши въ рулетку (хотя рулетка и вообще азартныя игры совсѣмъ не входили въ его планы обогащенія) и вообще велъ себя, какъ самый легкомысленный и безпечный шалопай. Мечты объ аскетической жизни, о кускѣ черстваго хлѣба,

объ обѣдахъ черезъ два дня (это для экономіи), о маленькомъ, грязномъ углѣ — мечты, которыя недавно еще наполняли его душу восторгомъ, разлетѣлись въ прахъ при первомъ столкновеніи съ возможностью кутить у Бореля, кататься на рысакахъ, играть въ рулетку и т. п. А что же „идея“? „Идея“ потомъ, ждала; все, что было, было лишь „уклоненіемъ въ сторону;“ почему же не повеселиться? утѣшаетъ онъ себя. „Вотъ тѣмъ-то и скверна моя „идея“, сознается онъ далѣе,—что допускаетъ всѣ уклоненія“... Происходитъ же это, по его мнѣнію, оттого, что „идея эта слишкомъ тверда и радикальна“... Имѣя въ умѣ нѣчто неподвижное, всегдашнее, сильное, которымъ страшно занятъ, какъ бы удаляешься тѣмъ самымъ отъ всего міра въ пустыню, и все, что случается, проходитъ лишь вскользь мимо главнаго... И кромѣ того, главное въ томъ, что имѣешь всегда отговорку: Э, у меня „идея“, а то все мелочи!“ Это объясненіе справедливо, конечно, только отчасти. Дѣйствительно, онъ благодаря тому обстоятельству, что считалъ себя „человѣкомъ идеи,“ что онъ твердо вѣрилъ, будто всегда можетъ и, рано или поздно, но непремѣнно осуществитъ ее, будто она такъ „сильна и радикальна“, что ничто не вырветъ ее изъ его души,—благодаря этой иллюзіи, онъ все себѣ извинялъ и во всемъ себя оправдывалъ. „Почему, въ самомъ дѣлѣ, разсуждалъ онъ,—не повеселиться, почему не развлечься? Жизнь долга, а идея всегда останется при мнѣ, измѣнить ей я не могу, значитъ и безпокоиться не о чемъ, еще успѣю и для нея поработать“.

Къ несчастію, Подростокъ не понималъ, какъ этого не понимаютъ очень многіе изъ нашихъ идейныхъ людей, что его вѣра въ „силу и радикальность“ идеи была чистѣйшимъ заблужденіемъ. „Сильна и радикальна“ была она лишь до тѣхъ поръ, пока онъ исключительно жилъ одною лишь внутреннею жизнью. Но едва онъ столкнулся съ новыми, еще незнакомыми ему впечатлѣніями, едва обстоятельства вывели его изъ его „скорлупы“, какъ его идея мгновенно утратила всю свою жизненность, всю свою твердость.

Онъ, конечно, не могъ выбросить ее изъ своего сознанія, онъ къ ней слишкомъ привыкъ, притомъ-же она возвышала его въ его собственныхъ глазахъ, она льстила его самолюбію и утѣшала въ „трудныя минуты“ жизни. Но онъ болѣе не

церемонился съ нею, онъ сталъ относиться къ ней, какъ къ старому, покладливому другу, запросто, фамильярно: „не велика ты птица, и подождать можешь. Вотъ справлюсь съ другими дѣлами, тогда на досугѣ и твоими займусь!“ Разумѣется, досуга этого никогда не оказывалось, а „другія дѣла“—все осложнялись и запутывались... „Идея ждала, ждала... да такъ-таки и не дождалась, и, конечно, никогда ничего не дождется... Я говорилъ выше, что сходящее теперь со сцены поколѣніе забитыхъ интеллигентныхъ людей, не имѣя силъ вполнѣ примириться съ окружающею ихъ дѣйствительностію и неспособное удовлетвориться философіею Дѣвушкиныхъ, схватилось за „идею“, какъ утопающій хватается за соломинку; оно видѣло въ ней единственный исходъ изъ своего положенія. Повидимому, идея должна бы была придать этимъ людямъ ту бодрость и силу, въ которыхъ у нихъ всегда чувствовался недостатокъ; вдохновенные и окрыленные ею, они, казалось, смѣло и мужественно пойдутъ на бой и пробьютъ себѣ дорогу къ свѣту и жизни. Были наивные оптимисты, которые возлагали на нихъ эти надежды; сами же они ни минуты не сомнѣвались, что ужъ „за свою-то идею они постоятъ!“ Но что-же оказалось въ результатѣ? Надежды оптимистовъ оправдали лишь очень немногіе, большинство-же, подобно Подростку, все откладывало да откладывало служеніе идеѣ“, откладывало до тѣхъ поръ, пока она превратилась изъ живой силы въ какой-то головной хламъ, въ нѣчто „яйца выѣденнаго нестоющее“. Стальной мечъ, съ которымъ идейные люди готовились идти въ бой, оказался картоннымъ, желѣзный молотъ, которымъ они хотѣли горы разбивать—хрупкимъ и ни на что негоднымъ булыжникомъ. Я старался объяснить, почему это такъ случилось и необходимо должно было случиться. Но я могъ здѣсь указать только лишь на одну категорію причинъ, на причины, такъ сказать, чисто психологическія, обусловливаемыя характеристическими особенностями души „забитаго человѣка“. Понятно, что, кромѣ этихъ причинъ, тутъ дѣйствовало также и самое содержаніе идей и ихъ отношенія къ основнымъ потребностямъ, интересамъ и привычкамъ идейнаго человѣка.

Эти причины заслуживаютъ полнаго вниманія критики, и она имѣетъ (что самое главное) полную возможность разъяснять и анализировать ихъ. Я отчасти и пытался это сдѣ-

лать по поводу лицъ, выведенныхъ въ романѣ г-жи Алѣевой.*) Романъ же г. Достоевскаго не представляетъ для подобнаго анализа никакого годнаго матеріала.

Устами Николая Семеновича самъ авторъ признаетъ, что „идея“, вложенная имъ въ голову своего героя, „отличается оригинальностью“ и совсѣмъ не похожа на тѣ идеи, на которыя набрасываются большею частью молодые люди текущаго поколѣнія“. Оригинальность ея имѣетъ, однако, чисто-условный характеръ: она оригинальна лишь по отношенію къ той извѣстной категоріи „идейныхъ людей“, одного изъ представителей которой авторъ хочетъ видѣть въ своемъ Подросткѣ. Но она совсѣмъ не оригинальна по отношенію къ той средѣ, изъ которой вышли эти люди. Среда эта, какъ я уже говорилъ, только и живетъ мыслію о наживѣ; къ „обогащенію“, къ „накопленію“ направлены всѣ ея самые завѣтные помыслы, всѣ ея стремленія, вся ея дѣятельность. Потому „идея“ Подростка вполнѣ гармонируетъ съ ея интересами, привычками и потребностями. Въ этомъ-то и заключается ея коренная фальшь, такъ какъ существенная особенность „идеи“ реальныхъ подростковъ въ томъ именно и состоитъ, что она находится, обыкновенно, въ рѣзкомъ противорѣчіи съ интересами и потребностями, унаслѣдованными ими отъ породившей ихъ среды. Авторъ проглядѣлъ этотъ фактъ. Отсюда созданный имъ герой, какъ онъ ... реаленъ въ нѣкоторыхъ частностяхъ, въ общемъ является личностью совершенно фантастическою и въ дѣйствительной жизни если и возможною, то развѣ только какъ рѣдкое исключеніе.

Такимъ образомъ, и послѣдній романъ г. Достоевскаго (какъ и нѣкоторые изъ предыдущихъ, въ особенности „Бѣсы“), несмотря на мастерской анализъ характеристическихъ особенностей души „забитаго идейнаго человѣка“, далеко не удовлетворяетъ той жизненной правдѣ, на которую реальная критика смотритъ, какъ на одинъ изъ главныхъ критеріевъ, опредѣляющихъ общественное значеніе всякаго художественнаго произведенія, и которая одинаково обязательна какъ для первосортнаго художника, такъ и для скромнаго беллетриста-ремесленника.

П. Никитинъ (П. Ткачовъ).

* * *

*) Смотри также статью „Беллетристы-метафизики и беллетристы-эмпирики“, главы, посвященныя повѣстямъ г-жи Смирновой.

*) Г. Достоевскій въ своемъ романѣ или длинной повѣсти „Подростокъ“ указываетъ на одну изъ печальныхъ сторонъ современнаго общества: на массу задумывающихся и рано озлобленныхъ дѣтей. Можно приписывать это явленіе той или другой причинѣ, можно не соглашаться на счетъ средствъ, которыми оно должно быть устранено, но не признать его невозможно. Пистолетные выстрѣлы, которыми въ разныхъ мѣстахъ нашей великой и малой, и бѣлой Россіи, и принадлежащихъ ей областяхъ разсчитываются съ опостылѣвшей имъ жизнью подростки, почти дѣти, страшное свидѣтельство ненависти къ жизни, которая можетъ жить только въ рано озлобленныхъ душахъ.

Г. Достоевскій, въ героѣ своей повѣсти, даетъ глубоко вѣрный психическій анализъ душевной жизни рано озлобленнаго подростка. Хотя положеніе героя его исключительно, но въ немъ есть и многія общія стороны, уясняющія и общественное печальное явленіе. Подростокъ его, незаконный сынъ барина Версилова, идеалиста сороковыхъ годовъ, создавшаго свою, но далеко не оригинальную теорію мистическаго возрожденія Россіи. Идеализмъ не мѣшалъ герою дѣлать весьма некрасивыя вещи, и въ томъ числѣ преданную ему и боготворившую его женщину обратить въ игрушку прихоти, разлучить ее съ сыномъ и отдать мальчика въ дряннѣйшій пансіонъ къ какому-то французу спекулятору и лакею въ душѣ. Когда въ пансіонѣ узнаютъ о происхожденіи ребенка, и промотавшійся отецъ перестаетъ платить за него, то мальчику приходится выносить всю горечь униженія, обидъ и грубыхъ оскорбленій. Изъ него дѣлаютъ лакея, и онъ находитъ какую-то злобную радость унижаться еще болѣе. Самъ онъ еще до этого униженія былъ лакеемъ въ душѣ. Онъ постыдился своей матери передъ генеральскими и княжескими дѣтьми. Она пріѣхала за сотни верстъ повидаться съ нимъ, а у него не нашлось для нея ни одного любящаго слова ни одного взгляда. Въ немъ было одно желаніе развязаться поскорѣе съ простою женщиною, которая конфузила его, вызывая дерзости и насмѣшки великосвѣтскихъ товарищей. Предразсудки барства оказываются второю причиною порчи юноши— первою было отсутствіе любви. Потребность ея ска-

*) „Дѣтскій Садъ“ 1876 г., № 9.

зывалась въ немъ и приливомъ обожанія къ отцу, котораго онъ видѣлъ, когда ему минуло восемь лѣтъ, блестящимъ красавцемъ, талантливымъ любителемъ-актеромъ, вызывавшимъ восторгъ слушателей, — и горькими слезами, когда онъ по ночамъ призывалъ свою мать.

Въ даровитыхъ и сильныхъ дѣтскихъ и юношескихъ натурахъ задавленная любовь высказывается мистицизмомъ, мечтами облагодѣтельствовать весь міръ, осушить всѣ слезы; а ранняя озлобленность въ дѣтствѣ дикими вспышками, и также, когда проснется мысль, мечтами о ломкѣ для пересозданія всего общества. Но подростокъ былъ натурой очень дюжинной, онъ былъ, какъ самъ отзывался о себѣ: ординарная посредственность, — и онъ составилъ себѣ особый планъ, создалъ свою идею, которая спасла его отъ разныхъ увлеченій. Хотя подростокъ годами лелѣялъ эту идею и звалъ ее своей, но она была вовсе не его идеей, т. е. не оригинальнымъ созданіемъ его міра, а просто отравой міазмами, носившимися въ воздухѣ, и которые онъ вдохнулъ въ себя. Подростокъ затѣялъ стать Ротшильдомъ и это процессомъ копленія денегъ, и Ротшильдомъ, не ради наслажденій, которыя покупаются золотомъ, а ради сознанія той силы, которую даетъ оно. Онъ будетъ жить какъ бѣднякъ, ходить оборванцемъ и, встрѣчая презрительные взгляды толпы, думать: „Если бы вы знали, какъ я богатъ, вы всѣ бы поклонились мнѣ; я бы могъ васъ всѣхъ купить.“ Въ нашъ вѣкъ, когда поклоненіе золотому тельцу достигло такихъ возмутительныхъ размѣровъ, не удивительно, что подростку, вынесшему униженіе, пришла „идея“ захватить въ свои руки ту силу, передъ которою ползаютъ общества. Но какъ безхарактерный подростокъ, онъ не выдерживаетъ до конца искуса, котораго требовала отъ него идея. Онъ могъ выносить страшныя лишенія ради этой „идеи“, пока не увидѣлъ соблазновъ столицы; но разъ увидѣлъ ихъ, онъ окунулся въ омутъ всевозможныхъ увеселеній, доставляемыхъ сѣверной Пальмирой, и идея была забыта. Это главныя психическія струны подростка. Входить въ разборъ запутанной интриги, гдѣ всѣ лица дѣйствуютъ, какъ безумные, полоумные или сумасшедшіе, было бы излишне для цѣли настоящей замѣтки.

Подростокъ терзается среди этихъ интригъ, терзается всего болѣе оттого, что не видитъ въ окружающихъ его лицахъ

того душевнаго благообразія, насколько могутъ догадаться, по запутанному и горячешному изложенію повѣсти, люди, знающіе кровную потребность подростковъ, выросшихъ въ озлобленіи и рано задумывавшихся надъ своей жизнью—это потребность идеала, потребность руководящей нити въ жизни, —вотъ чего ищутъ и слабые безхарактерные подростки, ихъ же имя—легіонъ, вотъ чего ищутъ и другія болѣе энергическія и сильныя натуры, выросшія въ условіяхъ, которыя, хотя и иныя по формѣ, но въ сущности были тѣми же самыми, какъ и условія, выработавшія „Подростка“ г. Достоевскаго.

Подростку нужно видѣть людей, которые всю жизнь свою проявляли бы „душевное благообразіе“, т. е. правду, честность, человѣчность. Онъ находитъ такое благообразіе только у Макара Иваныча—типа русскаго странника и богомола изъ дворовыхъ, грамотныхъ и понатершихся между барами въ томъ смыслѣ, что интересуются политикой и многими вещами, вообще чуждыми другимъ странникамъ изъ народа. У Макара Ивановича не было разлада между словомъ и дѣломъ. Онъ всю жизнь положилъ на то, что считалъ правдой. Версиловъ, отецъ героя, предметъ его обожанія, всю жизнь говорилъ только красивыя слова о Россіи, человѣчествѣ и пр., да занимался ролью „бабьяго пророка“, и продѣлывалъ всю жизнь разныя несообразности, и красивыя и некрасивыя. Версиловъ былъ еще изъ лучшихъ. Ахмакова, которую подростокъ въ концѣ концовъ ставитъ на пьедесталъ, пустая мечтательница. Она „одного безумія человѣкъ“ съ Версиловымъ: а это безуміе—жажда общаго счастія, но жажда до того платоническая, что для нея не ударятъ палецъ о палецъ, не тдѣлаютъ того, чтобы дать счастье хоть десятку людей несмотря на то, что у Ахмаковой состояніе, и что Версиловъ промоталъ ихъ цѣлыхъ три.

Подростокъ въ концѣ примиряется съ окружавшими его людьми и раскаивается въ томъ, что упрекалъ ихъ за неимѣніе душевнаго благообразія, людей, искренно любившихъ его, видитъ несостоятельность своей „идеи“ и выказываетъ благое желаніе учиться и, только научившись, уже выдумывать свои идеи...

Здравомыслъ повѣсти въ письмѣ, излагающемъ мораль ея, говоритъ, что гибель другихъ и всѣ шатанія „Подростка“ про-

изошли оттого, что расшатались всѣ преданія семьи. Но юный князь Сокольскій наслѣдовалъ всѣ семейныя преданія, и не только семейныя, но и родовыя, и они не спасли его отъ самыхъ грязныхъ поступковъ. Идеи другого рода оказываются также безсильны. Версилова всѣ его идеи о мистической роли Россіи не спасли отъ мыканья за разными сильными ощущеніями, мыканья, которое превратило его въ изломаннаго и выжившаго изъ ума старика въ тѣ годы, когда общество вправѣ требовать сознательнаго и зрѣлаго труда отъ человѣка. Мистическая любовь къ Россіи и прозрѣніе будущаго ея мистическаго величія не дала силъ для жизни, какъ видно изъ хода повѣсти, хотя авторъ держится иного взгляда на своего героя. Отрицательное чувство прямо ведетъ къ гибели. Авторъ показываетъ то на Крафтѣ. Крафтъ, по френологическимъ и физіологическимъ даннымъ, пришелъ къ выводу, что русскіе—низшая раса, и что они обречены идти позади Европы; Крафтъ не могъ вынести этого убѣжденія, нашелъ, что не для чего жить, когда происхожденіе роковымъ образомъ обрекаетъ его на низшую роль, и пустилъ себѣ пулю въ лобъ.

Въ повѣсти г. Достоевскаго есть еще два разряда подростковъ, которые отстоятъ другъ отъ друга такъ далеко, какъ антиподы. Одни: Тришатовъ и К-я шантажистовъ, но о нихъ и говорить нечего. Это ядовитые паразиты общества, хотя въ одномъ изъ нихъ живетъ сожалѣніе о прошлой чистой жизни, хотя чистота эта была чистотой узенькаго мѣщанства. Другой разрядъ гибнущей молодежи—гибнетъ только внѣшней гибелью. Нравственныя силы ея цѣлы. Мы говоримъ только объ этомъ вопросѣ съ психической стороны, и не вдаемся въ разборъ ни стремленій ни увлеченій ихъ, которыя составляютъ область публицистическаго журнала, а не педагогическаго. Съ педагогической точки зрѣнія мы можемъ замѣтить автору ложные выводы, которые онъ дѣлаетъ по поводу гибнущей молодежи, напримѣръ Крафта. Крафта погубила не идея отрицанія, а погубилъ индивидуализмъ, доведенный до болѣзненной крайности. Убѣдившись по френологіи и физіологіи, что русскіе низшая раса, другой юноша положилъ бы всѣ силы на работу, чтобы поднять эту расу, несмотря на убѣжденіе, что ему не видѣть результата своей работы. Исторія показала бы ему примѣръ низшихъ расъ,

ставшихъ высшими и передовыми, и высшихъ расъ, выродившихся въ наше время. Тутъ дѣло было-бы въ томъ: *я* не могу жить въ той средѣ, въ какой *я* хотѣлъ бы жить, быть членомъ той расы, которая была бы достойна *меня*, и потому я не хочу вовсе жить. А долгъ работы на пользу общую— этого долга чужды люди, которые ставятъ свое „я“ центромъ тяготѣнія всей жизни. И некому научить молодежь, несмотря на легіоны желающихъ поучать ее. Право ученія покупается вліяніемъ, а гдѣ люди, имѣющіе вліяніе? Подростки видятъ изрѣдка Версиловыхъ и постоянно Здравомысловъ, въ родѣ автора поучительнаго письма, содержащаго мораль повѣсти; умѣренныхъ и аккуратныхъ Молчалиныхъ, хотя они и опрятнѣе Грибоѣдовскаго героя, но также держатся благоразумной пословицы, „моя хата съ краю“. Чтобы имѣть вліяніе на молодежь, нужно имѣть самому руководящую нить жизни, нужно душевное благообразіе, которое эту руководящую нить видитъ въ идеѣ правды, долга человѣчности, и не допускаетъ разлада между словомъ и дѣломъ. У г. Достоевскаго этимъ душевнымъ благообразіемъ надѣленъ одинъ Макаръ Ивановичъ изъ героевъ, а изъ героинь Софья и дочь ея. Руководящая нить жизни героинь—чисто женская любовь, вся жизнь ихъ отдана любимому человѣку—душевное благообразіе очень дешеваго сорта. Душевное благообразіе Макара Ивановича постановило цѣль не отъ міра сего, но и въ этой цѣли видна болѣе широкая натура. Макару Ивановичу нужно спасеніе всей братіи. Макаръ Ивановичъ изболѣлъ душой о горѣ и неправдѣ міра, и ищетъ спасенія тамъ, гдѣ онъ по уровню своего образованія могъ искать его. Для спасенія подростковъ нужны люди такіе-же цѣльные, какъ и Макаръ Ивановичъ, но которые показали-бы имъ примѣръ душевнаго благообразія отъ міра сего.

Изъ „Дѣтскаго Сада“.

* * *

*) Хотя „Подростокъ“ и говоритъ, что „идея“ поглотила всю его жизнь, но это невѣрно. Онъ забываетъ объ ней, желая проникнуть таинственность, окружающую поступки и характеръ его настоящаго отца, Версилова, котораго разгадать ему почему-то необходимо нужно. Этого мало: онъ впу-

*) „С. Петербургскія Вѣдомости“ 1875 г., № 32.

тывается въ интригу и даже почти затѣваетъ ее, нося въ своемъ карманѣ документъ, способный сильно повредить женщинѣ, играющей роль въ таинственной исторіи Версилова. Онъ умышляетъ что-то сложное и удивительное почти въ той мѣрѣ, какъ и его „идея“, и держитъ себя со всею многозначительностію опытнаго интригана. Но несмотря на все это, „подростокъ“ не совсѣмъ еще изломанъ, въ немъ замѣтны искреннія, добрыя, юношескія движенія. Такова исторія съ Аринночкой... Кромѣ подобныхъ сердечныхъ движеній „подростка“, въ немъ замѣчается еще молодая горячность сужденій, весьма характеристичная и милая, при освѣщеніи которой нашъ почтенный авторъ воспользовался своимъ даромъ юмора, которымъ всегда пересыпаны, какъ цвѣтами, его мрачныя произведенія. Юморъ г. Достоевскаго, по силѣ и оригинальности, въ большинствѣ случаевъ напоминаетъ юморъ Диккенса. Разговоры „подростка“ съ старымъ княземъ Сокольскимъ, у котораго онъ служитъ чѣмъ-то въ родѣ домашняго секретаря или компаньона, отъ перваго до послѣдняго чрезвычайно оригинальны. Возьмемъ для примѣра сужденія юнаго кандидата въ Ротшильды объ женщинахъ: „Я не люблю женщинъ за то, что онѣ грубы, за то, что онѣ неловки, за то, что онѣ не самостоятельны и за то, что носятъ неприличный костюмъ!.. Грубы. Подите въ театръ, подите на гулянье. Всякій изъ мужчинъ знаетъ правую сторону, сойдутся и разойдутся, онъ вправо и я вправо. Женщина, т. е. дама—я объ дамахъ говорю — такъ и преть на васъ прямо, даже не замѣчая васъ, точно вы ужъ такъ непремѣнно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готовъ уступить, какъ созданію слабѣйшему, но почему тутъ право, почему она такъ увѣрена, что я это обязанъ, вотъ что оскорбительно! Я всегда плевался, встрѣчаясь. И послѣ того кричатъ, что онѣ принижены и требуютъ равенства; какое тутъ равенство, когда она меня топчетъ или пихаетъ мнѣ въ ротъ песку!“

— Песку! (это восклицаніе изумленнаго стараго князя).

Да; потому что онѣ неприлично одѣты; это только развратный не замѣтитъ. Въ судахъ запираютъ же двери, когда дѣло идетъ о неприличностяхъ; зачѣмъ же позволяютъ на улицахъ, гдѣ еще больше людей? Онѣ сзади себѣ открыто фру-фру подкладываютъ, чтобъ показать, что бельфамъ;

открыто! Я, вѣдь, не могу не замѣтить, и юноша тоже замѣтитъ, и ребенокъ, начинающій мальчикъ, тоже замѣтитъ; это подло. Пусть любуются старые развратники и бѣгутъ, высуня языкъ, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идетъ по бульвару, а сзади пуститъ шлейфъ въ полтора аршина и пыль мететъ; каково идти сзади: или бѣги обгоняй, или отскакивай въ сторону, не то и въ носъ и въ ротъ она вамъ пять фунтовъ песку напихаетъ. Къ тому же, это шелкъ, она его треплетъ по камню три версты, изъ одной только моды, а мужъ пятьсотъ рублей въ сенатѣ въ годъ получаетъ: вотъ гдѣ взятки то сидятъ. Я всегда плевался, вслухъ плевался и бранился“...

Вотъ какимъ грознымъ и опаснымъ противникомъ дамъ выступаетъ „подростокъ“; но, послѣ своей рѣчи, онъ самъ попадается въ просакъ. Старикъ князь дѣлаетъ замѣчаніе, которое очень нравится юношѣ. „Совершенно вѣрно, великолѣпно! вскричалъ я въ восхищеніи. Въ другое время мы бы тотчасъ-же пустились въ философскія размышленія на эту тему, на цѣлый часъ; но вдругъ меня какъ-бы что-то укусило, и я весь покраснѣлъ. Мнѣ представилось, что я похвалами его бонмо, подлещаюсь къ нему передъ деньгами („подростокъ“ долженъ былъ получить свое первое жалованье), и что онъ непремѣнно это подумаетъ, когда я начну просить. Я нарочно теперь упоминаю объ этомъ.—Князь, я васъ покорнѣйше прошу выдать мнѣ сейчасъ же должныя мнѣ вами деньги, пятьдесятъ рублей, за этотъ мѣсяцъ, выпалилъ я залпомъ и раздражительно до грубости“...

Намъ кажется, что эта маленькая сценка и дальнѣйшее ея продолженіе прекрасны по тонкости и вѣрности психическаго анализа. Такихъ сценокъ не одна, не двѣ—ихъ много, и рядомъ съ ними окончательно блѣднѣютъ недостатки романа, заключающіеся, главнымъ образомъ, въ томъ, что авторъ набираетъ массу дѣйствующихъ лицъ, какъ-то ихъ скучиваетъ и въ одинъ какой-нибудь день выставляетъ столько событій, что очень легко въ нихъ запутаться. Это старый его недостатокъ, положимъ, и неособенно важный, но который тѣмъ не менѣе способствуетъ неясности впечатлѣнія, оставляемаго цѣлымъ произведеніемъ.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

* * *

*) Талантъ г. Достоевскаго общепризнанъ, и особенности его давно всѣмъ извѣстны и достаточно объяснены критикой; поэтому, заводя рѣчь о его послѣднихъ произведеніи, мы не имѣемъ въ виду вновь характеризовать это оригинальное дарованіе, создавшее въ нашей литературѣ какъ бы особую спеціальность. Къ сожалѣнію, въ той-же мѣрѣ всѣмъ извѣстно, что романы г. Достоевскаго, всегда прекрасно задуманные, очень неравны въ исполненіи. Дарованіе его какъ бы не хочетъ знать никакой послѣдовательности въ своемъ развитіи, и о немъ никакъ нельзя сказать, чтобы оно правильно и постоянно шло впередъ. Тотчасъ послѣ произведенія чрезвычайно сильнаго и талантливаго, г. Достоевскій можетъ дать произведеніе сравнительно очень слабое. *Подростокъ,* по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ менѣе удавшимся его романамъ. Задуманъ онъ, какъ это всегда бываетъ у г. Достоевскаго, очень хорошо. Авторъ хотѣлъ, повидимому, показать намъ происхожденіе и развитіе зла въ человѣческой природѣ, захваченнаго почти изъ самаго зародыша — того особеннаго, страннаго, больного зла, которое граничитъ съ мечтами о высшей нравственности и съ грязью самаго отвратительнаго порока. Авторъ, какъ кажется, хотѣлъ вновь и съ особенною глубиною анализировать искаженную, больную жизнь, которая судорожно трепещетъ въ его предыдущемъ романѣ—*Бѣсахъ,* и въ изученіи которой онъ показалъ столько проницательности и тонкаго, почти осязающаго пониманія самыхъ извращенныхъ движеній человѣческой природы. Но, можетъ быть, въ самой задачѣ этой уже лежала причина не совсѣмъ удачнаго ея исполненія, именно въ томъ обстоятельствѣ, что эта задача является какъ бы дальнѣйшимъ развитіемъ темы, разработанной въ предыдущемъ произведеніи. Художники рѣдко съ полнымъ успѣхомъ возвращаются къ мотивамъ, однажды уже исчерпаннымъ; для силы и свѣжести вдохновенія необходимо, чтобы художественная идея впервые овладѣла мыслью и воображеніемъ. Образы рисуются крупно и осязательно только тогда, когда они впервые являются художнику; какъ только онъ исчерпался надъ ними, творческая сила уже не возвращается къ нимъ съ прежнимъ напряженіемъ и подъемомъ. Между тѣмъ *Подростокъ,* очевидно, вышелъ изъ того-же са-

*) В. Авсѣенко. „Русскій Вѣстникъ“ 1876 г., № 1. (Литературное Обозрѣніе).

маго настроенія, въ которомъ писались *Бѣсы*. Среда, изображаемая въ обоихъ романахъ, почти одна и та-же: это то самое подполье русской интеллигенціи, которое мы старались охарактеризовать въ нашей статьѣ о *Бѣсахъ*. Наблюдается она въ *Подросткѣ* опять почти съ той-же самой стороны, какъ и въ предыдущемъ романѣ,—со стороны разъѣдающаго нравственнаго зла, со стороны искривленныхъ, болѣзненныхъ путей, какими въ этой средѣ тайно проростаетъ мысль, стремящаяся къ освобожденію. Но, очевидно, высота настроенія въ обоихъ романахъ не одна и та-же. Вся эта фантасмагорія, съ силою отразившаяся, когда впервые овладѣла воображеніемъ автора, при вторичномъ воплощеніи своемъ напоминаетъ только игру рефлексовъ. Въ *Бѣсахъ* мы находимъ крупные, яркіе образы, между которыми фигура Степана Трофимовича навсегда останется въ числѣ самыхъ оригинальныхъ и художественныхъ типовъ, созданныхъ русскою литературою. Въ *Подросткѣ* типъ Версилова, представляющій, собственно говоря, только собирательное отраженіе прежнихъ героевъ г. Достоевскаго и понемногу напоминающій каждаго изъ нихъ, рисуется довольно неясно, безъ тѣхъ индивидуальныхъ чертъ, которыя превращаютъ сложившійся въ мысли и въ воображеніи образъ—въ живое лицо. Даже его нравственная личность, его міросозерцаніе, что у г. Достоевскаго всегда выходитъ особенно глубоко и тонко, на этотъ разъ неясно и расплывчато.

Заговоривъ о послѣднемъ романѣ г. Достоевскаго, нельзя не сдѣлать еще одного замѣчанія. Его тема — нравственная болѣзнь, овладѣвающая человѣкомъ и повергающая его въ глубину порока и разврата. Но эта тема весьма опасная и скользкая. Изображеніе нечистыхъ явленій психической и соціальной жизни едва ли можетъ быть предметомъ романа внѣ извѣстныхъ границъ, полагаемыхъ установившимися требованіями приличія и вкуса. Романъ—не спеціальная книга, предназначенная для извѣстнаго, ограниченнаго круга читателей. Все грамотное общество составляетъ публику романиста. Поэтому мы думаемъ, что изображая грязь и ужасъ нравственнаго паденія, романистъ не долженъ переступать черты, за которой кончается художественное впечатлѣніе и начинается неопрятное анатомированіе зараженнаго организма. Г. Достоевскій въ послѣднемъ романѣ часто переходитъ за

такую черту. Въ *Подросткѣ* есть подробности, возмущающія образованное чувство, есть грязность, по нашему мнѣнію, рѣшительно непозволительная въ литературномъ произведеніи. О нихъ приходится тѣмъ болѣе пожалѣть, что они вовсе не вызваны требованіями такъ-называемаго реализма; напротивъ, факты и сцены, наиболѣе непривычные въ этомъ романѣ, наименѣе близки къ дѣйствительной жизни, наименѣе реальны. Для примѣра укажемъ хотя бы на эпизодъ о бѣдной дѣвушкѣ, объявившей въ газетахъ, что ищетъ уроковъ (въ первой части романа): приключенія, какія пришлось испытать этой дѣвушкѣ, рѣшительно невозможны въ дѣйствительной жизни и совершенно *ненужны* въ романѣ.

Позволяя себѣ всѣ подобныя замѣчанія, мы не желали бы однако привести читателя къ заключенію, что романъ *Подростокъ* не заслуживаетъ его вниманія. Мы, напротивъ, думаемъ, что талантливый писатель не можетъ произвесть что-либо окончательно неудавшееся, что дарованіе въ чемъ-нибудь непремѣнно скажется, и что самыя ошибки его въ высшей степени любопытны и поучительны. *Подростокъ* во всякомъ случаѣ неизмѣримо выше и интереснѣе произведеній той литературной кухмистерской, въ которой изготовляется обычная беллетристика *Отечественныхъ записокъ*. Авторъ въ этомъ романѣ находится въ своей сферѣ; онъ имѣетъ дѣло съ тою именно жизнью, которую особенно хорошо умѣетъ изображать. Поэтому въ романѣ есть прекрасныя страницы, отчасти выкупающія неудовлетворительность цѣлаго, есть вѣяніе серіозной мысли, подымающее произведеніе гораздо выше заурядныхъ продуктовъ беллетристическаго ремесла.

В. Авсѣенко.

* * *

*) Новое произведеніе одного изъ крупнѣйшихъ талантливыхъ писателей нашего времени—печатавшееся въ истекшемъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“ —какъ всѣ произведенія генія Ѳ. М. Достоевскаго, прежде всего, оригинально. Въ этой оригинальности, въ этой неожиданности, съ первой минуты завязки, продолжающейся до послѣдняго момента развязки,—одна изъ главныхъ прелестей таланта Достоевскаго, какъ романиста, одна изъ главныхъ интересныхъ сторонъ

*) „Гражданинъ“ 1876 г., № 4.

каждаго изъ его произведеній. Этому завѣту оригинальности и неожиданности г. Достоевскій не измѣнилъ въ своемъ новомъ романѣ. Вдругъ сѣлъ онъ за столъ, взялъ перо въ руки и изъ-подъ этого пера сталъ выростать изъ среды современнаго, самаго что ни на есть нынѣшняго общества петербургскаго и московскаго „Подростокъ“.

Что это за подростокъ? Онъ незаконный сынъ какой-то дворовой дѣвушки и какого-то помѣщика Версилова, брошенный въ самую глубь бушующаго житейскаго моря въ обѣихъ столицахъ. Подростокъ этотъ пишетъ свои „Записки“, то-есть свою автобіографію. Интересъ романа поддерживается все время двумя сторонами: во-первыхъ, психическимъ міромъ самого „Подростка“, въ томъ безконечномъ разнообразіи идей и впечатлѣній съ ихъ оттѣнками, на которое г. Достоевскій такой мастеръ; и во-вторыхъ, рядомъ приключеній и типовъ, сталкивающихся съ героемъ автобіографіи и ярко освѣщающихъ и личность этого героя и картины современнаго умственнаго состоянія того общества, которое принято называть интеллигенціей. Нельзя сказать, чтобы всѣ эти типы и картины были привлекательны своимъ содержаніемъ, но ни на одну минуту не забываешь, читая этотъ романъ, что во всемъ этомъ клокочетъ и кипитъ жизнь, носятся какъ по землѣ въ первый день творенія, элементы чего-то цѣльнаго и живого,— идеи, способныя оплодотворяться. Прочитавъ этотъ романъ, вы не раздавливаетесь имъ, вы не бросаетесь головою въ подушку, чтобы ничего не хотѣть и все позабыть. Вы поставлены въ неизбѣжную необходимость думать, думать и думать.

Изъ „Гражданина“.

* * *

Старикъ Сокольскій страдаетъ одною и тою же формой душевной болѣзни, что и князь К. въ „Дядюшкиномъ снѣ“, т. е. *старческимъ слабоуміемъ*. Г. Чижъ производитъ анализъ болѣзненныхъ симптомовъ обоихъ этихъ лицъ вмѣстѣ.

*) „За исключеніемъ немногихъ любимцевъ судьбы, говоритъ онъ, обыкновенно люди со старческимъ мозгомъ становятся болѣе осторожны въ своихъ сужденіяхъ и намѣреніяхъ;

*) „Достоевскій какъ психопатологъ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., №№ 5 и 6, и отдѣльное изданіе. М. 1885 г.

способность умственнаго усвоенія уменьшается, воображеніе не имѣетъ прежней пылкости и живости, мышленіе происходитъ медленнѣе, память слабѣетъ, кругъ идей дѣлается болѣе ограниченнымъ, воля не столь твердою. По мѣткому выраженію Legrand-du-Saulle старикъ laudator temporis acti; онъ живетъ преимущественно своимъ прошлымъ, консервативенъ, ничему новому не довѣряетъ. Но если старческое измѣненіе характера и развивается постепенно, то все-таки это не исключаетъ возможности въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣлить: когда это измѣненіе достигло степени старческаго слабоумія. Самымъ рѣзкимъ симптомомъ, извѣстнымъ даже вообще образованнымъ людямъ, старческаго слабоумія будетъ ослабленіе памяти настоящаго, при чемъ память о событіяхъ прежней жизни еще сравнительно сохранена. Напримѣръ, Сокольскій, вообще хорошо помнящій свою прежнюю жизнь, долго не узнаетъ Версилова, котораго не видалъ лишь нѣсколько дней, забываетъ о данномъ имъ дочери обѣщаніи не принимать его, такъ же какъ и причины этого обѣщанія, и снова вступаетъ съ нимъ въ дружескую бесѣду. Князь К., еще кое-что разсказывающій о томъ, что съ нимъ было нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, не помнитъ, въ чьемъ онъ домѣ въ данное время, гдѣ онъ только что былъ и что онъ только что обѣщалъ. Очевидно, что измѣненный старческій мозгъ не въ состояніи съ должною ясностью воспринимать и воспроизводить представленія: образы же прошлаго воспринятые еще здоровымъ мозгомъ, остаются. Вотъ это-то обыкновенно и ставитъ въ тупикъ профановъ, особенно если имъ приходится имѣть дѣло съ лицами выдающагося ума, пораженными старческимъ слабоуміемъ; такіе больные живо передаютъ прошлое и удивляютъ слушателей глубиной своихъ сужденій, поскольку они повторяютъ на память свои прежнія мысли. Напримѣръ, страдающій старческимъ слабоуміемъ дипломатъ можетъ съ полною подробностью передать всѣ обстоятельства Вѣнскаго конгресса, дать блистательную характеристику дѣятелей того времени и положенія Европы, но о современныхъ событіяхъ и лицахъ онъ способенъ сказать только вздоръ, и не помнитъ, въ какомъ теперь онъ домѣ. Вообще стоитъ заставить такихъ больныхъ говорить о недавно прошедшемъ, высказать сужденіе о настоящемъ, — тотчасъ за недостаткомъ памяти способности создавать пра-

вильныя сужденія и за неимѣніемъ въ запасѣ уже готовыхъ сужденій по данному обстоятельству, станетъ яснымъ слабоуміе этого лица, такъ какъ рядомъ съ живымъ разсказомъ и вѣрными сужденіями о прошедшемъ, мы получимъ безсвязные отрывки и безсмысленныя сужденія; словомъ, сдѣлается очевиднымъ, что человѣкъ сталъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде".

Это особенно хорошо изображено Достоевскимъ: Сокольскій высказываетъ мѣткія, во всякомъ случаѣ не банальныя мнѣнія, и въ то же время не способенъ обсудить самыхъ простыхъ обстоятельствъ, случившихся въ его семьѣ за послѣднее время.

Такіе больные путаютъ обыкновенно настоящее съ прошедшимъ, и въ разговорѣ легко уклоняются въ сторону, совершенно забывая, какъ первоначальную тему разговора, такъ и то, съ кѣмъ они говорятъ; они всецѣло поглощаются еще живыми сравнительно образами прошлаго, и блѣдная для нихъ дѣйствительность перестаетъ существовать. Естественно, что незнакомымъ со всею прежнею жизнью субъекта бесѣда ихъ становится непонятною; такъ часто бывало между Сокольскимъ и Версиловымъ.

Рядомъ съ этимъ, конечно, больные легко утомляются умственною работой, вслѣдствіе чего они только на сравнительно короткое время способны къ умственному напряженію. Сокольскій, по мѣткому выраженію Версилова, размякалъ; онъ начиналъ говорить безсмысленный вздоръ, лицо теряло осмысленное выраженіе, вся фигура казалась опущенною, разслабленною. Дѣйствительно, такъ какъ психическое напряженіе обусловливаетъ выраженіе лица и всего тѣла, то вмѣстѣ со временнымъ прекращеніемъ или, по крайней мѣрѣ, ослабленіемъ этого напряженія теряется и выраженіе, какъ это мы постоянно наблюдаемъ у находящихся въ глубокомъ снѣ и опьянѣніи. Эти быстро и часто появляющіяся ослабленія умственной дѣятельности нерѣдко наблюдаются у лицъ, страдающихъ старческимъ слабоуміемъ.

Наконецъ, при старческомъ слабоуміи иногда замѣчаются бредовыя идеи преслѣдованія, что не пропущено Достоевскимъ при изложеніи этого страданія. Сокольскій ко всѣмъ относится недовѣрчиво, всюду видитъ заговоръ противъ себя; по его наблюденію, у всѣхъ какіе-то подозрительные глаза.

Князю также кажется, что его дворовые люди враждебно противъ него настроены, что кучеръ покушался на его жизнь. Но естественно, что, подобно всѣмъ идеямъ, и эти мысли о преслѣдованіи только на короткое время удерживаются сознаніемъ и, не входя въ связь съ другими представленіями, не достигаютъ надлежащаго развитія. Насколько впечатлѣнія слабо воспринимаются такими больными, Достоевскій прекрасно объяснилъ примѣромъ князя, который никакъ не могъ оріентироваться, во снѣ или наяву онъ сдѣлалъ предложеніе выйти за него замужъ; у нихъ иногда даже развиваются идеи бреда, почерпнутыя изъ сновидѣній, такъ какъ они уже не въ силахъ различать дѣйствительность отъ сновидѣній. Въ данномъ случаѣ мы видимъ также хорошій примѣръ того, какъ искусно фактъ изъ области патологіи эксплуатированъ ради цѣлей романиста.

При этой болѣзни настроеніе обыкновенно становится крайне измѣнчивымъ; ребяческая веселость и смѣхъ у Сокольскаго вдругъ, безо всякой внѣшней причины, переходятъ въ глубоко угнетенное настроеніе, при чемъ появляется и безсонница, почти неизбѣжный спутникъ старческаго слабоумія.

Наконецъ, какъ непремѣнный симптомъ болѣзни, появляется тупость чувства, и конечно прежде всего нравственнаго: у Сокольскаго видно полное безучастіе какъ ко всѣмъ общественнымъ интересамъ, такъ и къ положенію собственной семьи; у князя К., находящагося въ болѣе глубокомъ періодѣ болѣзни, эта тупость чувства достигла уже такой сильной степени, что онъ не тяготится своимъ положеніемъ лишеннаго свободы и возможности жить такъ, какъ онъ привыкъ и любилъ. Остается уже немного стимуловъ, способныхъ возбуждать погасшія чувства; только половое чувство легко возбудимо, что вмѣстѣ съ притупленіемъ нравственныхъ чувствованій и исчезновеніемъ контролирующихъ и задерживающихъ представленій ведетъ къ рѣзкому проявленію эротическаго настроенія. Благовоспитанный Сокольскій съ Версиловымъ, мало знакомымъ ему, и по лѣтамъ и по общественному положенію весьма отъ него далекимъ, постоянно ведетъ циническій разговоръ о женщинахъ; окружаетъ себя молоденькими дѣвушками-воспитанницами и, наконецъ, дѣлаетъ предложеніе дѣвушкѣ, годящейся ему во

внучки. Князь приходитъ въ совершенный восторгъ, при взглядѣ на двухъ декольтированныхъ танцующихъ дѣвочекъ-подростковъ и сравнительно долго находится подъ вліяніемъ этого впечатлѣнія; также дѣлаетъ предложеніе, и счастливъ, считая себя женихомъ. Судебная психіатрія богата случаями самаго грубаго оскорбленія нравственности такими больными: жертвами этихъ преступленій чаще всего бываютъ дѣти. Не менѣе того извѣстна страсть ихъ жениться, и нерѣдко, такъ какъ они, благодаря совершенному незнакомству публики со психіатріей, считаются здоровыми, совершаются браки, влекущіе за собою и болѣе скорую смерть, и разореніе семьи, потому что только развратныя женщины съ корыстною цѣлью, какъ это и выставлено Достоевскимъ, могутъ дѣлаться женами этихъ больныхъ. Если мы припомнимъ, какъ много несчастій въ общественной и частной жизни происходитъ оттого, что никто во время не умѣетъ констатировать развитіе старческаго слабоумія, то эти характеристики Достоевскаго имѣютъ даже практическое, дидактическое значеніе; но, конечно, нужно частое и многократное повтореніе, чтобъ извѣстныя истины вошли въ сознаніе общества.

Какъ естественное послѣдствіе бѣдности представленій, слабости сужденія, отсутствія умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, является слабость воли; Сокольскій подчиняется своей дочери, князь посторонней женщинѣ. Но естественно, что они могутъ подчиняться всякому приказанію; князя, ѣдущаго въ гости, пересаживаютъ изъ экипажа и везутъ совсѣмъ въ другое мѣсто. Обѣщанія, имъ данныя, не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ онъ ихъ забываетъ; притомъ-же у него представленія вообще слабо связаны съ отвѣтственными чувствами, поэтому для него самого эти обѣщанія вовсе не обязательны. Изъ этого видно, какого бдительнаго надзора требуютъ эти больные.

Во всякомъ случаѣ, если Достоевскій и не далъ полнаго очерка старческаго слабоумія, то въ обѣихъ „исторіяхъ болѣзни“ нѣтъ ни одной дѣланной, невѣрной черты; основныя явленія указаны и разработаны вполнѣ достаточно; изученіе этихъ обоихъ лицъ необходимо для ознакомленія со старческимъ слабоуміемъ.“ *). *В. Чижъ.*

*) Кромѣ помѣщенныхъ здѣсь критическихъ отзывовъ о „Подросткѣ“, еще можно указать на слѣдующія періодическія изданія, въ которыхъ говорится

РѢЧЬ Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО о А. С. ПУШКИНѢ *).

**) Нельзя, безъ особенно глубокаго, сердечнаго сочувствія, прослушать или прочесть прекрасную статью Ѳ. М. Достоевскаго о нашемъ безсмертномъ Пушкинѣ, прочтенную въ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности и напечатанную въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". Статья эта произвела на слушателей и читателей сильнѣйшее, едва-ли когда-либо прежде ощущавшееся впечатлѣніе. Да и не могла она не произвести у насъ, особенно теперь, такого потрясающаго дѣйствія. Мы всѣ чувствуемъ себя страждущими какимъ-то тяжкимъ, неопредѣленнымъ, но гнетущимъ недугомъ: одни изъ насъ мечутся, какъ угорѣлые, не ставя ни въ грошъ ни своихъ отношеній къ прочимъ людямъ ни собственной жизни; другіе, хотя съ виду какъ будто спокойные, однако страдаютъ немного менѣе первыхъ, и если не пускаются въ отчаянныя попытки, то почти столько же удручены существующимъ порядкомъ вещей; а большинство населенія, т. е. стадная его часть, кое-какъ перебивается, исправляетъ обычныя, необходимыя работы, живетъ со дня на день, не мудрствуя лукаво, но оно далеко не наслаждается существу-

объ этомъ романѣ: „Биржев. Вѣдом." 1876 г., №№ 8 и 29; „Иллюстр. Недѣля" 1875 г., № 49; „Кіевскій Телеграфъ" 1875 г., № 19 и 1876 г., № 6; „Новое Время" 1875 г., № 55; „Новороссійск. Телеграфъ" 1875 г. № 43; „Новости" 1875 г., №№ 31, 65, 120 и 148; „Одесск. Вѣстн." 1875 г., №№ 36 и 58; „Пчела" 1876 г, № 1; „Русск. Міръ" 1875 г., № 237; „С.-Петерб. Вѣд." 1875 г., №№ 32, 58, 272; „Сынъ Отечества" 1875 г. №№ 64, 116 и 226; „Тифлисск. Вѣстникъ" 1876 г., № 195 (замѣтка на критическую статью Никитина въ „Дѣлѣ").

*) Произнесена была—въ 1880 г. въ Москвѣ, во время открытія памятника А. С. Пушкину. Первый разъ напечатана въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" за 1880 г., № 162, и во второй съ комментаріями—въ „Дневникѣ Писателя" Достоевскаго за 1880 г.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) А. Кошелевъ. „Русская Мысль" 1880 г., № 10. „Отзывъ по поводу слова, сказаннаго Ѳ. М. Достоевскимъ на Пушкинскомъ торжествѣ".

ющимъ и охотно прислушивается ко всякимъ жалобамъ и осужденіямъ. При такомъ общемъ настроеніи, слова Ѳ. М. Достоевскаго, пропитанныя душевною и духовною скорбію, указывающія, хотя и весьма сдержанно и не вполнѣ вѣрно, ея причины и источники, но возбуждающія надежды, по крайней мѣрѣ, въ будущемъ, на исцѣленіе, произвели и не могли не произвести какъ на слушателей, такъ и на читателей, сильнаго, животворнаго дѣйствія. Почти въ первый разъ раздалось у насъ, въ многочисленномъ собраніи и въ здѣшней печати, серьезное, глубоко прочувствованное и обдуманное слово. Могли ли мы остаться глухи и въ немъ безучастны?

Вполнѣ раздѣляя мнѣніе г. Достоевскаго на счетъ достоинствъ и заслугъ нашего безсмертнаго Пушкина, на счетъ великой будущности русскаго народа и тяжести нынѣшняго нашего положенія, мы не можемъ однако согласиться съ нѣкоторыми утвержденіями Ѳ. М. Онъ называетъ Пушкина пророкомъ, и даже по преимуществу, таковымъ. Мы думаемъ, что всякій геніальный поэтъ и даже геніальный человѣкъ вообще—болѣе или менѣе пророкъ. Пророчество есть свойство и достоинство всякаго геніальнаго человѣка, говорящаго или пишущаго или дѣйствующаго, не на основаніи какихъ-либо данныхъ, соображеній и заключеній, которыя могутъ быть ошибочны, а по внушенію глубокаго чувства, которымъ онъ проникнутъ, и внутренняго, пожалуй, даже безсознательнаго прозрѣнія будущаго. Пушкинъ, исполненный народныхъ чувствъ и ими одушевленный, былъ, конечно, пророкомъ; но это не составляетъ отличительной его черты. Болѣе чѣмъ кто-либо изъ поэтовъ онъ отличался, какъ справедливо замѣтилъ г. Достоевскій, способностью перевоплощаться не только въ свой народъ, но даже въ чужеземцевъ. Пушкинъ, хотя воспитанный въ семействѣ, пропитанномъ духомъ французской литературы и во времена ея у насъ общаго господства, однако, силою своего генія, такъ перенесся въ бытъ и чувства нашего народа и такъ проникся его духомъ, что заговорилъ языкомъ, роднымъ для каждаго изъ насъ, высказывалъ то, что мы всѣ чувствовали и думали, но чего не могли выразить, и открывалъ намъ насъ самихъ. Онъ такъ очертилъ и передалъ намъ характеры Алеко, Онѣгина, Татьяны, инока-лѣтописца и нѣкоторыхъ другихъ личностей, что

мы ихъ видимъ, осязаемъ и должны сказать: никто, ни до ни послѣ Пушкина, такъ вѣрно, живо и глубоко не постигалъ и не олицетворялъ русскаго человѣка. Но тутъ не пророчество, а ясновидѣніе или ясновѣдѣніе настоящаго. Вотъ, кажется намъ, отличительная черта Пушкина. Былъ у насъ другой поэтъ, котораго изреченія часто повторяются и видимо изъ области предсказанія переходятъ въ дѣйствительность—его болѣе чѣмъ кого-либо можно признать поэтомъ-пророкомъ. Стоитъ вспомнить и прочесть стихотворенія А. С. Хомякова, и нельзя не быть пораженнымъ его даромъ прозрѣнія. Его „Орелъ", „Мечта", „Островъ", его нѣсколько стихотвореній „Россія", его „Мы родъ избранный", „Вставайте, оковы распались", и пр. пр., сущностью и языкомъ дѣйствительно являютъ въ Хомяковѣ вдохновеннаго пророка. Всѣ его произведенія, отъ перваго и до послѣдняго, проникнуты однимъ духомъ, согрѣты живою вѣрою и исполнены высокихъ нравственныхъ чувствъ. Хомяковъ, какъ поэтъ, философъ и богословъ, у насъ еще далеко не оцѣненъ по достоинству; причиною тому—наша недостаточная развитость. Потребовалось намъ полвѣка для оцѣнки Пушкина—поэта ясновидца и ясновѣдца; авось, по истеченіи другого полвѣка, мы доростемъ и до оцѣнки поэта пророка и философа-богослова. Г. Достоевскій говоритъ, что не было въ мірѣ поэта, который обладалъ такою способностью всемірной отзывчивости, какъ нашъ Пушкинъ. Съ этимъ нельзя не согласиться; но г. Достоевскій прибавляетъ: „и эту то способность, *главнѣйшую способность нашей національности*, онъ именно раздѣляетъ съ народомъ нашимъ, и тѣмъ главнѣйше онъ и народный поэтъ". Вполнѣ согласны, что Пушкинъ народный поэтъ, и прибавимъ—первой степени; но что отзывчивость вообще составляетъ главнѣйшую способность нашей народности—это, кажется намъ, не вѣрно; и мы глубоко убѣждены, что не это свойство утвердило за Пушкинымъ достоинство народнаго поэта. Не споримъ, что отзывчивость есть одна изъ чертъ характера нашего народа вообще: онъ радушно, даже съ любовью относится къ другимъ людямъ, даже къ туркамъ и татарамъ; но онъ вовсе не расположенъ въ нихъ перевоплощаться. Если мы, люди „цивилизованные", и за границею и у себя дома, такъ отзывчивы къ другимъ, что часто и легко перестаемъ быть самими собою и приносимъ

въ жертву другимъ и языкъ, и обычаи, и даже наши убѣжденія; то это происходитъ не отъ того, что мы русскіе, не въ силу народнаго духа, въ насъ пребывающаго, а вслѣдствіе зыбкости нашего положенія, происшедшей отъ разрыва нашего съ народомъ, отъ невозможности для насъ вполнѣ усвоить чужое и отъ поврежденности въ насъ коренныхъ русскихъ свойствъ и началъ. Отзывчивость русскаго человѣка не есть, думаемъ, отличительное, и тѣмъ еще менѣе главнѣйшее свойство его духа, а принадлежность его какъ человѣка вообще и, въ особенности, какъ народа, только недавно вступившаго на міровое поприще и чувствующаго потребность усвоить себѣ то, что человѣчествомъ до него узнано и сдѣлано. Отзывчивость, конечно, помогла Пушкину стать народнымъ поэтомъ; но не она утвердила его въ этомъ достоинствѣ: свойства болѣе существенныя и проявленныя въ характерахъ Татьяны и инока-лѣтописца и вообще въ твореніяхъ поэта утвердили за нимъ это высокое значеніе.

Не могу также согласиться со слѣдующимъ мнѣніемъ г. Достоевскаго: „Что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея, въ конечныхъ цѣляхъ своихъ, ко всемірности и ко всечеловѣчности?“ Думаемъ, что это стремленіе также вовсе не составляетъ отличительной черты характера русскаго народа. Всѣ народы, всѣ люди болѣе или менѣе съ сознаніемъ или безъ сознанія, стремятся осуществить идею человѣка—это задача каждаго изъ насъ. До сихъ поръ съ сознаніемъ мы менѣе другихъ народовъ ее исполняемъ или даже стремимся къ ея исполненію. Взгляните на француза, нѣмца или англичанина. Они всѣ убѣждены въ своемъ міровомъ значеніи, и разнятся между собою только въ томъ, въ какихъ отношеніяхъ считаютъ себя обязанными быть къ прочимъ людямъ. Французы убѣждены, что они умнѣе, просвѣщеннѣе и ловче всѣхъ, и что потому они обязаны просвѣщать міръ и заправлять его дѣлами. Нѣмцы убѣждены, что они соль земли, должны распространять свое владычество по всему міру, ради его блага, и что человѣчество достигнетъ совершенства только тогда, когда все будетъ подчинено Германіи и всѣ превратятся въ германцевъ. Англичане считаютъ міръ существующимъ для нихъ, что ихъ интересамъ все должно быть подчинено и что они не могутъ не быть всемірными владыками. Даже евреи и поляки не

покидаютъ до сихъ поръ мысли о предназначеніи своемъ быть первымъ народомъ въ мірѣ: Нашъ народъ всего менѣе питаетъ такія чувства и заявляетъ такія домогательства; онъ объ мірѣ мало заботится и одушевленъ преимущественно добрымъ расположеніемъ къ людямъ, съ которыми онъ поставленъ въ сношенія. Россія никогда не предпринимала войнъ ради завоеваній; ея владычество распространилось такъ, въ силу обстоятельствъ, почти вопреки ея желаніямъ. Наши войны съ Турціею, а въ особенности послѣдняя, предприняты были не съ цѣлью утвердить наше если и не господство, то вліяніе на востокѣ, а просто по долгу совѣсти и еще болѣе въ силу обстоятельствъ. Для насъ, для нашего народа славяне по преимуществу единовѣрцы, а турки враги вѣры Христовой; а потому мы считаемъ долгомъ помогать первымъ и бороться съ послѣдними.

Одушевленіе, возбужденное въ Россіи востаніемъ босняковъ и герцоговинцевъ, борьбою сербовъ съ турками и затѣмъ собственною нашею съ ними войною, было, конечно, дѣло народное; но при этомъ стремленіе ко всемірности и всечеловѣчности было не при чемъ. Братолюбіе, приверженность къ ученію Христову и чувство долга—вотъ что одушевляло русскій народъ и что составляетъ основу его духа и дѣйствій. Если мы, немногіе изъ народа, подъ часъ и лелѣемъ мысли о всемірности и всечеловѣчности въ будущемъ, то въ этомъ вовсе не заключается отличительной черты нашего народнаго духа. Вполнѣ признаемъ и убѣждены, что славянскому племени, и русскому православному народу въ особенности, предстоитъ великая будущность, что ему предлежатъ къ разрѣшенію великія задачи и что ему суждено, въ свое время, вложить свою лепту въ общечеловѣческую сокровищницу; но никакъ не можемъ согласиться, чтобы такое стремленіе составляло отличительную черту нашего народнаго духа. Потому, быть можетъ, и предстоитъ ему совершить многое, что скромны его желанія и требованія. Но да не подумаетъ кто-либо, что мы предназначаемъ русскому народу разыгрывать роль юродиваго и ждать, чтобы ниспала на него манна небесная. Конечно, нѣтъ. Онъ долженъ неусыпно, неустанно, всѣми силами трудиться надъ умноженіемъ ввѣренныхъ ему талантовъ. На Бога надѣйся, а самъ не плошай.

Г. Достоевскій мастерски и вполнѣ вѣрно очертилъ харак-

теры пушкинскихъ героевъ: Алеко, Онѣгина и Татьяны, и вполнѣ справедливо сказалъ, что въ нихъ проявленъ русскій человѣкъ глубже и живѣе, чѣмъ въ какихъ-либо русскихъ произведеніяхъ. Съ полнымъ сочувствіемъ повторяемъ слова г. Достоевскаго. „Типъ этотъ (Алеко) вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей Русской землѣ поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнутъ. И если они не ходятъ уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ, въ ихъ дикомъ своеобразномъ бытѣ, своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонѣ природы отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго — интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходятъ съ новою вѣрою на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобъ успокоиться: дешевле онъ не примирится,—конечно, пока дѣло только въ теоріи. Это все тотъ же русскій человѣкъ, только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ Русскихъ, и тогда при Пушкинѣ, какъ и теперь въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казнѣ или на желѣзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже науками занимаются, читаютъ лекціи—и все это регулярно, лѣниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безо всякаго поползновенія бѣжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мѣста, болѣе соотвѣтствующія нашему времени. Много, много, — что полиберальничаютъ съ „оттѣнкомъ европейскаго соціализма,“ по которому приданъ нѣкоторый благодушный русскій характеръ,—но вѣдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще не начиналъ безпокоиться, а другой уже успѣлъ дойти до запертой двери и объ нее крѣпко стукнулся лбомъ. Всѣхъ въ свое время то же самое ожида-

етъ, если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь „избранныхъ", довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать черезъ нихъ покоя."

Сдѣланная нами выписка длинна; но слова г. Достоевскаго такъ глубоко прочувствованы и обдуманы, что начавши разъ выписывать, мы съ трудомъ и здѣсь остановились. Дѣйствительно, мы, люди называемые „цивилизованные", думаемъ, что достигнемъ въ нашемъ фантастическомъ дѣланіи какихъ-то высокихъ цѣлей и счастья не только для себя, но и для прочихъ людей. Мы думаемъ нашими усиліями создать рай на землѣ, и нѣтъ предѣла нашимъ мечтамъ и надеждамъ. Да, мы великіе фантазеры! А это отчего? Конечно не оттого, что мечтательность лежитъ въ основѣ нашего народнаго характера. Нѣтъ! Русскій человѣкъ по природѣ весьма практиченъ и вовсе не расположенъ предаваться игрѣ воображенія. Это думаемъ и говоримъ не мы одни: это признается и иностранцами, которые хотя нѣсколько насъ изучили; сверхъ того, это несомнѣнно, кажется, доказано всею нашей исторіей: непрактическій народъ не могъ бы, въ теченіе тысячи лѣтъ, основать, утвердить и возвеличить въ мірѣ такого государства, какъ наша существующая имперія. Собственно мы фантазеры не по природѣ, а въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ; намъ душно, намъ скучно; дѣйствительная наша жизнь не представляетъ намъ ничего отраднаго. Всѣ наши идеалы мы должны переносить Богъ вѣсть куда, ибо здѣсь мы не можемъ не только стремиться къ ихъ осуществленію, но почти не имѣемъ къ чему ихъ даже приткнуть. Стремленіе къ осуществленію мечтательныхъ затѣй не составляетъ свойства русскаго духа; напротивъ, какъ произведеніе нашей оторванности отъ народа, нашего искусственнаго одиночества и всей окружающей насъ обстановки, оно составляетъ принадлежность только меньшинства русскихъ людей, хирѣющихъ и чуть-чуть не безумствующихъ. Это болѣзненное состояніе усиливается и поражаетъ все большее и большее число людей. Къ прискорбію, оно тяготитъ всего болѣе молодежь и людей чувствующихъ избытокъ жизненныхъ силъ. Конечно, между нашими, такъ называемыми, народниками соціалистами-революціонерами есть и люди, дѣйствующіе по

расчету и имѣющіе въ виду въ мутной водѣ ловить рыбу; но число ихъ весьма незначительно и большинство этихъ несчастныхъ—люди увлеченные или увлекающіеся. Причиною, почвою къ тому—пустота и духота нашей жизни. Дайте намъ чѣмъ существеннымъ заняться, надъ чѣмъ потрудиться; не запрещайте намъ того, другого, десятаго; не стѣсняйте насъ и тутъ и тамъ—и мечты и утопіи будутъ нами покинуты, и мы примемся за дѣло съ такою же ревностью и неустрашимостью, съ какими мы совершили освобожденіе крестьянъ и перешли Балканы.

Въ заключеніе не можемъ не поблагодарить Ѳ. М. Достоевскаго особенно за то, что, при торжествѣ Пушкина, онъ не ограничился возданіемъ хвалы и признательности нашему великому поэту, но, проникнутый его духомъ, захватилъ глубже и обратилъ вниманіе на злобу дня, и, указаніемъ ея причинъ и источниковъ, пособитъ, быть можетъ, ея опредѣленію и устраненію. Да поможетъ намъ Богъ днесь въ этомъ самомъ насущномъ для насъ дѣлѣ!

А. Кошелевъ.

***

*) Рѣчь г. Достоевскаго производитъ странное впечатлѣніе. Несомнѣнно, что эта рѣчь талантлива, горяча и искренна; прибавьте къ этому духъ мистицизма, проникающаго ее съ начала до конца, и вы до нѣкоторой степени поймете то сильное впечатлѣніе, которое она произвела на слушателей. Очевидно, она дѣйствовала болѣе на нервы, чѣмъ на умъ слушателей. Вообще г. Достоевскій мастеръ дѣйствовать на нервы. Высказанное имъ въ своей рѣчи по поводу Пушкина profession de foi не новость. Онъ не разъ его высказывалъ въ своихъ произведеніяхъ устами тѣхъ или другихъ героевъ. Это — какое-то туманно-неопредѣленное исканіе „правды", проповѣдь смиренія и любви съ оттѣнкомъ мистицизма и съ нѣкоторымъ запахомъ постного масла. То-же самое и въ его рѣчи, когда она касается завѣтныхъ убѣжденій и идеаловъ художника. Глубокая вѣра слышна въ его словахъ. Несомнѣнная любовь къ народу чувствуется въ его рѣчи, и вмѣстѣ

*) „Дѣло" 1880 г., № 7. „Пушкинскій юбилей и Рѣчь Достоевскаго". Статья О. П.

съ тѣмъ, когда вы прочтете рѣчь, у васъ остается нѣкоторое недоумѣніе, и вы остаетесь въ какомъ-то туманѣ. Вы не знаете, что именно хочетъ сказать художникъ, вы не можете, такъ сказать, перевести его идеаловъ на понятный языкъ. Вы глубоко чувствуете что-то несомнѣнно-правдивое, вы слышите по временамъ оригинальныя мысли, вы видите, что передъ вами много передумавшій талантливый писатель, но въ общемъ, повторяю, является нѣчто безплотное, какое-то „откровеніе" въ духѣ Анфантена. И языкъ рѣчи г. Достоевскаго носитъ характеръ именно проповѣдническій. Въ тонѣ звучитъ пророческая нота. Онъ не говоритъ, а проповѣдуетъ, и такъ-какъ проповѣдь его глубоко искренна, то понятно, что этотъ оригинальный характеръ ея еще болѣе дѣйствуетъ на нервы слушателей.

Я не стану касаться тѣхъ мѣстъ его рѣчи, въ которыхъ онъ опредѣляетъ значеніе Пушкина, какъ народнаго поэта. Замѣчу только, что эта часть рѣчи мастерски обработана, хотя съ основными положеніями оратора и нельзя вполнѣ согласиться. Насъ, впрочемъ, занимаетъ не эта часть рѣчи, а тѣ мѣста ея, въ которыхъ авторъ говоритъ о русскихъ страдальцахъ и пророчески рисуетъ великую будущность русскаго человѣка, и въ качествѣ „всечеловѣка", призваннаго сказать новое слово Европѣ. Говоря, что Пушкинъ въ лицѣ Алеко и Онѣгина геніально отмѣтилъ „того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ", г. Достоевскій переходитъ къ современнымъ скитальцамъ и говоритъ слѣдующее:

„Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнутъ. И если они не ходятъ уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ въ ихъ дикомъ, своеобразномъ быту своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонѣ природы отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходятъ съ новой вѣрой на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого,

но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобъ успокоиться; дешевле онъ не примирится—конечно, пока дѣло только въ теоріи. Это все тотъже русскій человѣкъ, только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ-разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ русскихъ, и тогда, при Пушкинѣ, какъ и теперь, въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казнѣ или на желѣзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читаютъ лекціи,—и все это регулярно, лѣниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безъ всякаго поползновенія бѣжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мѣста болѣе соотвѣтствующія нашему времени. Много-много, что полиберальничаютъ „съ оттѣнкомъ европейскаго соціализма“, которому приданъ нѣкоторый благодушный русскій характеръ, — но вѣдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще и не начиналъ безпокоиться, а другой уже успѣлъ дойти до запертой двери и объ нее крѣпко стукнулся лбомъ? Всѣхъ въ свое время то-же самое ожидаетъ, если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь „избранныхъ“, довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобы и остальному огромному большинству не видать черезъ нихъ покоя. Алеко, конечно, еще не умѣетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природѣ, жалоба на свѣтское общество, міровыя стремленія, плачъ о потерянной гдѣ-то и кѣмъ-то правдѣ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ. Тутъ есть немножко Жанъ-Жака Руссо. Въ чемъ эта правда, гдѣ и въ чемъ бы она могла явиться и когда она именно потеряна, конечно, онъ и самъ не скажетъ, но страдаетъ онъ искренно.

Фантастическій и нетерпѣливый человѣкъ жаждетъ спасенія, пока лишь преимущественно отъ явленій внѣшнихъ; да такъ и быть должно: „правда, дескать, гдѣ-то, внѣ его, можетъ быть, гдѣ-то въ другихъ земляхъ, европейскихъ, напримѣръ, съ ихъ твердымъ историческимъ строемъ, съ ихъ установив-

шеюся общественною и гражданскою жизнью". И никогда-то онъ не пойметъ, что правда прежде всего внутри его самого, да и какъ понять ему это: онъ вѣдь въ своей землѣ самъ не свой, онъ уже цѣлымъ вѣкомъ отученъ отъ труда, не имѣетъ культуры, робокъ, какъ институтка, въ закрытыхъ стѣнахъ, обязанности исполнялъ странныя и безотчетныя, по мѣрѣ принадлежности къ тому или другому изъ четырнадцати классовъ, на которые раздѣлено образованное русское общество. Онъ пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И онъ это чувствуетъ и этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно!"

Въ этихъ словахъ въ первый разъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, вы слышите, что за русскими „скитальцами" послѣдняго времени хоть признано право страданія. И это знаменательно слышать изъ устъ художника, нерѣдко въ своихъ романахъ представлявшаго *скитальцевъ* „извергами" и „чудовищами", знаменательно особенно послѣ всего того, что говорилось вообще о „скитальцахъ" въ нашей безшабашной печати. Такъ, вѣроятно, поняла это мѣсто и та молодежь, которая сдѣлала овацію г. Достоевскому, и такъ хотѣлось-бы понять и намъ. Но найдутся многіе, которые во что-бы то ни стало захотятъ непремѣнно придать иное значеніе этимъ словамъ, и они до нѣкоторой степени правы. Дальнѣйшія мѣста рѣчи какъ-будто опровергаютъ мѣсто, нами приведенное, но, повторяю, даже и за обмолвку (если-бы это была, къ несчастью, обмолвка) нельзя не быть благодарными. „Обмолвки" эти такъ нужны въ наше смутное время! Осуждая затѣмъ этого гордаго „человѣка", этого „скитальца", г. Достоевскій прочитываетъ ему такое правоученіе:

„Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ", вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму. „Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ; найди себя въ себѣ, подчини себѣ, овладѣй собой, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя и не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣла-

ешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его.

Не у цыганъ и нигдѣ — міровая гармонія, если ты первый самъ ея не достоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить“. Какое это „великое дѣло“ и какая это „правда“, разумѣется, почтенный романистъ не объясняетъ, и эта часть рѣчи остается туманной и какъ-бы опровергаетъ другую часть.

Но еще болѣе страннымъ является увѣреніе романиста, что мы въ теченіе двухъ вѣковъ служили болѣе Европѣ, чѣмъ себѣ самимъ сознательно, такъ какъ г. Достоевскій не думаетъ, „чтобъ отъ неумѣнья лишь нашихъ политиковъ это происходило“.

Такимъ образомъ всѣ войны, которыя мы вели за возстановленіе чужихъ престоловъ и царствъ, поддерживая деспотизмъ, оказывается, мы вели потому, что, по словамъ романиста, „народы Европы и не знаютъ, какъ они дороги намъ!“ Нечего сказать, хорошее проявленіе любви, если въ самомъ дѣлѣ чувствовали, что они служатъ Европѣ, а не творятъ волю начальства...

Въ концѣ концовъ совѣтующій „гордому человѣку“ смириться и „овладѣть собой“, нашъ романистъ высказываетъ пророчество, что русскій человѣкъ будетъ „всечеловѣкомъ“ и что впослѣдствіи „будущіе, грядущіе люди“ скажутъ „новое слово“ Европѣ и укажутъ исходъ европейской тоскѣ въ русской душѣ...

Опять-таки въ этомъ, хотя и гордомъ пророчествѣ, есть, быть можетъ, зерно истины, но все это такъ запутано, что нужно скорѣй угадывать, чѣмъ слышать. Невольно припоминается не такое слово другого знаменитаго писателя, который съ болью говорилъ, что онъ въ Европѣ ни близкаго ни хорошаго выхода не видитъ, и, между прочимъ, писалъ, что „въ естественной непосредственности нашего сельскаго быта, въ шаткихъ и неустоявшихся экономическихъ и юридическихъ понятіяхъ, въ смутномъ правѣ собственности, въ отсутствіи сильнаго мѣщанства и въ необычайной усвоимости чужого—мы имѣемъ шагъ передъ народами усталыми и сложившимися“. Этотъ языкъ понятенъ. Сочувствуете вы или не сочувствуете, но вы понимаете автора, потому что у него есть опредѣленные идеалы.

Но нашего романиста трудно понять, потому что у него мистицизмъ затемняетъ и тѣ проблески истины, которые порой являются, хотя и въ фантастическомъ видѣ. И вотъ почему рѣчь его, производившая потрясающее впечатлѣніе на слушателей, въ чтеніи производитъ далеко не то впечатлѣніе, несмотря на талантливость. Вотъ почему она даже пришлась по плечу „Московскимъ Вѣдомостямъ", гдѣ она напечатана, и можетъ вызывать, съ одной стороны, вѣнки со стороны молодежи, а съ другой — одобреніе „Новаго Времени".

Изъ „Дѣла". Статья О. П.

* * *

*) Самымъ крупнымъ событіемъ на Пушкинскомъ праздникѣ, по общему отзыву, была рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго. Она затмила все, произнесенное другими ораторами въ честь величайшаго нашего поэта. Она надолго останется въ памяти не только тѣхъ, кто ее слышалъ, но и тѣхъ, кто, не имѣя возможности присутствовать на праздникѣ, прочелъ ее печатно. Такой успѣхъ рѣчи знаменитаго романиста вполнѣ понятенъ: она заключаетъ въ себѣ и оцѣнку Пушкина, какъ *народнаго* русскаго поэта, и исповѣданіе вѣры самого г. Достоевскаго, выраженное съ тою силою убѣжденія, которая подавляетъ, если и не всегда убѣждаетъ другихъ. Каждый, кто слышалъ или читалъ г. Достоевскаго, знаетъ, какъ трудно *не подчиниться* ему въ то время, какъ онъ говоритъ, или пока вниманіе читателя приковано къ страницамъ его произведеній. Только потомъ возникаютъ въ умѣ читателя или слушателя разныя сомнѣнія; только потомъ испытываетъ онъ чувство нѣкоторой неудовлетворенности, и желаетъ еще поразспросить и разъяснить кое-что.

Позволяемъ себѣ представить здѣсь нѣкоторыя сомнѣнія, овладѣвшія лично нами, въ надеждѣ, что ни читатели ни самъ г. Достоевскій не заподозрятъ въ насъ намѣренія нанести какой-нибудь „ущербъ" достоинству рѣчи. Но вопросъ, затронутый ораторомъ, имѣетъ слишкомъ большое общественное значеніе и нуждается въ разностороннемъ его

*) А. Градовскій. „Голосъ" 1880 г., № 174. „По поводу рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго".

объясненіи, не оставляющемъ мѣста справедливымъ сомнѣніямъ.

Рѣчь Достоевскаго содержитъ въ себѣ, какъ уже сказано, двѣ вещи: оцѣнку Пушкина, какъ народнаго поэта, и нѣкоторое исповѣданіе вѣры самого оратора. Во всей рѣчи чувствуется, что Пушкина коментируетъ именно авторъ „Братьевъ Карамазовыхъ“ и отъ этого зависитъ, по нашему мнѣнію, недостаточное освѣщеніе Пушкинскихъ типовъ и довольно смутный выводъ изъ рѣчи.

Пушкинскіе типы освѣщены недостаточно; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ они были освѣщены *невѣрно*. Напротивъ: никому, быть можетъ, не удалось проникнуть въ суть пушкинской поэзіи такъ глубоко, какъ Ѳ. М. Достоевскому. Но онъ не далъ этимъ типамъ полнаго объясненія именно потому, что связалъ ихъ не со всѣмъ послѣдующимъ движеніемъ нашей литературы, а исключительно со своимъ міросозерцаніемъ, представляющимъ много слабыхъ сторонъ.

Объяснимся. Г. Достоевскій обращается, прежде всего, къ тому типу, въ которомъ впервые выразилась вся мощь пушкинскаго генія, къ типу Алеко. Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу:

„Въ Алеко Пушкинъ отыскалъ и геніально отмѣтилъ того несчастнаго *скитальца* въ родной землѣ, того *историческаго* русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ *оторванномъ* отъ народа обществѣ нашемъ. Типъ этотъ вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный, и надолго у насъ, въ нашей русской землѣ поселившійся“. Это совершенно вѣрно, и нельзя не признать большой заслуги г. Достоевскаго въ томъ, что онъ установилъ историческую связь между типомъ, созданнымъ впервые Пушкинымъ въ Алеко, и тѣми типами „скитальцевъ“, которые такъ художественно были выведены авторами „Кто виноватъ“, „Рудина“ и друг. Но остается объяснить, откуда взялись эти „скитальцы“, эти мученики, оторванные отъ народа?

Г. Достоевскій мало останавливается на этомъ вопросѣ, хотя важность его явствуетъ изъ слѣдующихъ словъ оратора: „человѣкъ этотъ зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ *интеллигентномъ* обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ

народной силы". Итакъ, „скитальцы" суть яркіе представители нѣкоторой общей болѣзни. Они сознали ее, они „забезпокоились", по выраженію оратора, въ то время, какъ другіе сидѣли и сидятъ еще спокойно, занимаясь службою, разными предпріятіями и, даже, наукой — „и все это регулярно, лѣниво и мирно". Но очередь дойдетъ и до нихъ.

„Всѣхъ, говоритъ г. Достоевскій — въ свое время тоже самое ожидаетъ, *если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ*. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь избранныхъ, довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать черезъ нихъ покоя".

Вопросъ, стало быть, не въ избранныхъ „страдальцахъ", *а во всей русской интеллигенціи*. Ее нужно спасти отъ грозящей ей бѣды и бѣды большой. Но, прежде всего, посмотримъ, въ чемъ же бѣда Корень бѣды, говорятъ намъ, *въ отчужденіи* отъ народа. Что̀ же произвело это отчужденіе?

Изъ словъ г. Достоевскаго, что Алеки зародились во второмъ столѣтіи послѣ реформы Петра, можно бы заключить, что вина отчужденія, въ этой реформѣ, втолкнувшей высшіе классы въ формы западно-европейскаго просвѣщенія. Но ораторъ, очевидно, былъ далекъ отъ такого банальнаго объясненія, потому что онъ же видитъ славу Пушкина именно въ его „всемірной отзывчивости". Притомъ, если бъ г. Достоевскій и принялъ такое объясненіе (что̀ было бы несоотвѣтственно его уму и таланту) оно, все-таки, ничего не объяснило бы и не принесло бы никакой практической пользы.

Такъ или иначе, но уже два столѣтія мы находимся подъ вліяніемъ европейскаго просвѣщенія, дѣйствующаго на насъ чрезвычайно сильно, благодаря „всемірной отзывчивости" русскаго человѣка, признанной г. Достоевскимъ за нашу національную черту. Уйти отъ этого просвѣщенія намъ нѐкуда да и нѐзачѣмъ. Это фактъ, противъ котораго намъ ничего нельзя сдѣлать, по той простой причинѣ, что всякій русскій человѣкъ, пожелавшій сдѣлаться просвѣщеннымъ, *непремѣнно* получитъ это просвѣщеніе изъ западно-европейскаго источника, за полнѣйшимъ отсутствіемъ источниковъ русскихъ. Затѣмъ, предусматривая даже сильное развитіе русской науки, русскаго искусства и т. д., мы должны будемъ признать, что

всѣ эти вещи выростутъ на почвѣ западно-европейскаго просвѣщенія, подобно тому, какъ послѣднее выросло на почвѣ греко-римской культуры. Такимъ образомъ, практически вопросъ объ „отчужденіи“ русской интеллигенціи отъ народа ставится слѣдующимъ образомъ:

Отчего просвѣщенная часть русскаго общества относилась *отрицательно* къ явленіямъ русской жизни и, потому, выработала изъ себя отрицательные же типы „скитальцевъ“? Это положеніе чрезвычайно трагическое и требующее выхода, потому что „забезпокоившихся“, по выраженію г. Достоевскаго, было довольно, и они не давали покоя всѣмъ другимъ. Г. Достоевскій заговорилъ объ этихъ типахъ, основываясь на поэзіи Пушкина. Но Пушкинъ, выводя Алеко и Онѣгина съ ихъ отрицаніемъ, не показалъ, что именно „отрицали“ они, и было бы въ высшей степени рискованно утверждать, что они отрицали именно „народную правду“, коренныя начала русскаго міросозерцанія. Этого не видно нигдѣ.

Но дѣйствительно, міръ тогдашнихъ скитальцевъ былъ міромъ, отрицавшимъ другой міръ. Для объясненія этихъ типовъ, необходимы другіе типы, которыхъ Пушкинъ не воспроизвелъ, хотя и обращался къ нимъ по временамъ со жгучимъ негодованіемъ. Природа его таланта мѣшала ему спуститься въ этотъ мракъ и возвести въ „перлъ созданія“ совъ, сычей и летучихъ мышей, наполнявшихъ подвальные этажи русскаго жилища. Это сдѣлалъ Гоголь—великая оборотная сторона Пушкина. Онъ повѣдалъ міру, отчего бѣжалъ къ цыганамъ Алеко, отчего скучалъ Онѣгинъ, отчего народились на свѣтъ „лишніе люди“, увѣковѣченные Тургеневымъ. Коробочка, Собакевичи, Сквозняки-Дмухановскіе, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины — вотъ тѣневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многихъ другихъ. Это фонъ, безъ котораго непонятны фигуры послѣднихъ. А, вѣдь, эти гоголевскіе герои были русскими—ухъ, какими русскими людьми! У Коробочки не было міровой скорби, Сквознякъ-Дмухановскій превосходно умѣлъ объясняться съ купцами, Собакевичъ насквозь видѣлъ своихъ крестьянъ, и они насквозь видѣли его. Конечно, Алеки и Рудины всего этого вполнѣ не видѣли и не понимали; они просто бѣжали, куда кто могъ: Алеко къ цыганамъ, Рудинъ въ Парижъ умирать за дѣло, для него совершенно постороннее.

Итакъ, намъ представляется, прежде всего, недосказаннымъ, что „скитальцы“ отрѣшались отъ самаго существа русскаго народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящаго времени нисколько не опредѣлены предѣлы ихъ отрицанія, не указанъ его объектъ, такъ сказать. А пока не опредѣлено это, мы не въ правѣ произнести о нихъ окончательное сужденіе.

Тѣмъ менѣе въ правѣ мы опредѣлять ихъ, какъ „гордыхъ“ людей, и видѣть источникъ ихъ отчужденія въ этомъ сатанинскомъ грѣхѣ. Нельзя, конечно, отрицать въ этихъ типахъ значительной доли гордости; мало того: нельзя не видѣть въ нихъ и великой дозы себялюбія, выразившагося въ такихъ трагическихъ чертахъ въ исторіи Алеко. Но и гордость и себялюбіе не были ихъ первоначальными грѣхами, не были и первою причиною ихъ „скитальчества“, физическаго или духовнаго. Совершенно напротивъ: гордость и себялюбіе явились *результатомъ* ихъ отчужденія, долговременнаго отрицательнаго отношенія ко всему окружающему, плодомъ ихъ одиночества. Черты эти неприглядны—спора нѣтъ. Но временамъ они отвратительны, и не даромъ Пушкинъ развѣнчивалъ своихъ героевъ. Но не въ нихъ суть болѣзни: они ея симптомы, ея придатокъ. Лечить симптомы и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно. Вотъ почему мы не можемъ согласиться вполнѣ со слѣдующею моралью, выведенною г. Достоевскимъ изъ исторіи Алеко:

„Смирись, гордый человѣкъ, и, прежде всего, сломи свою гордость; смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего, потрудись на родной нивѣ — вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму“.

Что гордость и праздность суть пороки, это не подлежитъ сомнѣнію. Но въ данномъ случаѣ, все-таки, остается нерѣшеннымъ: гордость: относительно чего? праздность—почему? Передъ чѣмъ „гордились“ эти люди? Почему они не находили себѣ дѣла въ „родной нивѣ“?

Не рѣшенъ вопросъ, передъ чѣмъ гордились „скитальцы“, остается безъ отвѣта и другой—передъ чѣмъ слѣдуетъ „смириться“. Г. Достоевскій останавливается на этихъ вопросахъ такъ, какъ будто бы вся суть дѣла въ личныхъ качествахъ „гордящихся“ и не желающихъ „смириться“. Объяс-

ня, что долженъ познать „гордящійся скиталецъ“, онъ говоритъ ему:

„Не *внѣ* тебя правда, а въ тебѣ самомъ, *найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ*, овладѣй собою, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя, не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего *въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою*. Побѣдишь себя, смиришь себя, и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь свое великое дѣло и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо пополнится жизнь твоя и поймешь, наконецъ, народъ свой *и святую его правду*. Не у цыганъ и нигдѣ міровая гармонія, если ты первый самъ ея не достоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надо заплатить“.

Въ этихъ строкахъ г. Достоевскій выразилъ „святая святыхъ“ своихъ убѣжденій, то, что составляетъ одновременно и силу и слабость автора „Братьевъ Карамазовыхъ“. Въ этихъ словахъ заключенъ великій *религіозный* идеалъ, мощная проповѣдь *личной* нравственности, но нѣтъ и намека на идеалы *общественные*. Г. Достоевскій призываетъ работать надъ собой и смирить себя. Личное совершенствованіе въ духѣ христіанской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой дѣятельности, большой или малой. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ люди, лично совершенные въ христіанскомъ смыслѣ, непремѣнно образовали совершенное общество. Позволимъ себѣ привести примѣръ.

Апостолъ Павелъ поучалъ рабовъ и господъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И тѣ и другіе могли послушать и обыкновенно слушали слово апостола; они *лично* были хорошими христіанами, но *рабство* черезъ то не освѣщалось и оставалось учрежденіемъ безнравственнымъ. Точно также г. Достоевскій, а равно и каждый изъ насъ, зналъ превосходныхъ христіанъ-помѣщиковъ и таковыхъ же крестьянъ. Но *крѣпостное право* оставалось мерзостью передъ Господомъ, и русскій Царь-Освободитель явился выразителемъ требованій не только *личной*, но и *общественной* нравственности, о которой въ старое время не было надлежащихъ понятій, несмотря на то, что „хорошихъ людей“ было, можетъ быть, не меньше, чѣмъ теперь.

Личная и общественная нравственность не одно и то же.

Отсюда слѣдуетъ, что никакое *общественное* совершенствованіе не можетъ быть достигнуто *только* черезъ улучшеніе личныхъ качествъ людей, его составляющихъ. Приведемъ опять примѣръ. Предположимъ, что, начиная съ 1800 года, рядъ проповѣдниковъ христіанской любви и смиренія принялся бы улучшать нравственность Коробочекъ и Собакевичей. Можно ли предположить, чтобъ они достигли отмѣны крѣпостного права, чтобъ не нужно было *властнаго* слова для устраненія этого „явленія"? Напротивъ, Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христіанка и настоящая „мать" своихъ крестьянъ, и пребыла бы въ этомъ убѣжденіи, несмотря на всѣ доводы проповѣдника. Пойдемъ дальше. Предположимъ, что въ тѣ времена проповѣдникъ подошелъ бы къ скептическому и невѣрующему Алеко и наполнилъ бы его душу истинами христіанства. Вышелъ ли бы изъ Алеко полезный общественный дѣятель? Едва ли. Вѣрнѣе предположить вотъ что: Алеко-христіанинъ не побѣжалъ бы къ цыганамъ и не сдѣлался бы мужемъ несчастной Земфиры. Онъ ушелъ бы въ монастырь и обратился бы въ старца Зосиму. Форма „отчужденія" и с[illegible]льчества измѣнилась бы. Но много ли выиграло бы отъ [illegible] общество?

Улучшеніе людей въ с[illegible]ѣ *общественномъ* не можетъ быть произведено только рас[illegible]ой „надъ собой" и „смиреніемъ себя". Работать надъ собой и смирять свои страсти можно и въ пустынѣ и на необитаемомъ островѣ. Но, какъ существа *общественныя*, люди развиваются и улучшаются въ работѣ, *другъ подлѣ друга, другъ для друга* и другъ съ другомъ. Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависитъ отъ совершенства *общественныхъ учрежденій*, воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести. Съ этой именно точки зрѣнія, причину „скитальчества" должно искать не въ однихъ личныхъ качествахъ „скитальцевъ", а въ качествахъ общественныхъ учрежденій прежняго времени. Теперь бы нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей „гордости" и не хотѣли смириться передъ „народною правдою". Никто никогда не отрицалъ прекраснѣйшихъ качествъ русскаго человѣка. Скажемъ больше: если въ душѣ лучшихъ изъ этихъ „скитальцевъ" первой половины нашего столѣтія и сохранился какой-нибудь помыселъ, то это былъ именно помыселъ о

народѣ; самая жгучая изъ ихъ ненавистей была обращена именно къ рабству, тяготѣвшему надъ народомъ. Пусть они любили народъ и ненавидѣли крѣпостное право по своему, но „европейски", что́ ли. Но кто же, какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права? Чѣмъ могли, и они послужили „родной нивѣ", сначала въ качествѣ проповѣдниковъ освобожденія, а потомъ въ качествѣ мировыхъ посредниковъ первой очереди. Значительная часть даже скитальцевъ не отрицала, что въ глубинѣ русскаго духа таится нѣчто величавое въ нравственномъ смыслѣ. Но позволительно сказать, что это „прекрасное" было прикрыто толстымъ слоемъ грязи и что народная „правда" какъ-то странно выражалась въ „кривосудіи" отжившихъ учрежденій.

Теперь мы дошли до самаго важнаго пункта въ нашемъ разномысліи съ г. Достоевскимъ. Требуя смиренія передъ народной правдой, передъ народными идеалами, онъ принимаетъ эту „правду" и эти идеалы, какъ нѣчто готовое, незыблемое и вѣковѣчное. Мы позволимъ себѣ сказать ему—нѣтъ. *Общественные* идеалы народа находятся еще въ процессѣ *образованія, развитія.* Ему еще много надо работать надъ собою, чтобъ сдѣлаться достойнымъ имени великаго народа. Еще слишкомъ много неправды, остатковъ вѣкового рабства, засѣло въ немъ, чтобъ онъ могъ требовать себѣ поклоненія, и сверхъ того, претендовать еще на обращеніе всей Европы на путь истинный, какъ это предсказываетъ г. Достоевскій.

Странное дѣло! Человѣкъ, казнящій гордость въ лицѣ отдѣльныхъ скитальцевъ, призываетъ къ гордости цѣлый народъ, въ которомъ онъ видитъ какого-то всемірнаго апостола. Однимъ онъ говоритъ: „смирись!" Другому говоритъ: „возвышайся!"

Послушаемъ, къ чему г. Достоевскій предназначаетъ Россію:

„Впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, т. е., конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже *окончательно,* указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, *всечеловѣчной и всесоединяющей.* вмѣстить въ него съ братскою любовью *всѣхъ* нашихъ братьевъ, а, въ концѣ-концовъ, можетъ быть, и изречь оконча-

тельное слово великой, общей гармоніи, братскаго *окончательнаго* согласія всѣхъ племенъ по христову евангельскому закону".

Слѣдомъ, совершится то, чего не предсказываетъ и апокалипсисъ! Напротивъ, тотъ предвѣщаетъ не „окончательное „согласіе", а окончательное „несогласіе" съ пришествіемъ Антихриста. Зачѣмъ же приходить Антихристу, если мы изречемъ слово „окончательной гармоніи"?

А пока что, мы не можемъ справиться даже съ такими несогласіями и противорѣчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ давно, долбимъ азбучные азы и выпускаемъ теперь изъ своей среды такихъ „апостоловъ", которые давятъ всю Европу именно *озлобленіемъ* своимъ, и даютъ странное понятіе „о всепримиряющей" русской душѣ.

Правильнѣе было бы сказать и современнымъ „скитальцамъ" и „народу" одинаково: *смиритесь* передъ требованіями той общечеловѣческой гражданственности, къ которой вы, слава Богу, пріобщились, благодаря реформѣ Петра. Впитайте въ себя все, что произвели лучшаго народы—учители ваши. Тогда, переработавъ въ себѣ всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумѣете проявить и всю силу вашего *національнаго* генія, внести и свою долю въ сокровищницу всечеловѣческаго. Ни одинъ народъ не получилъ всемірно-историческаго значенія, не возвысившись на степень народности, и каждая народность въ свое время проходила черезъ школу всечеловѣческаго, какъ прошли ее народы Европы въ эпоху среднихъ вѣковъ и возрожденія.

А тутъ, не сдѣлавшись какъ слѣдуетъ народностью, вдругъ мечтать о всечеловѣческой роли! Не рано ли? Г. Достоевскій гордится тѣмъ, что мы чуть не два вѣка служили Европѣ. Признаемся, это „служеніе" вызываетъ въ насъ нерадостное чувство. Время ли вѣнскаго конгресса и вообще эпохи конгрессовъ можетъ быть предметомъ нашей „гордости"? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли національное движеніе въ Италіи и Германіи и косились даже на единовѣрныхъ грековъ? И какую ненависть нажили мы въ Европѣ именно за это „служеніе"!

Нѣтъ, затвердимъ и замѣтимъ разъ навсегда, что истинно-всечеловѣческое значеніе мы можемъ пріобрѣсти только послѣ того, какъ мы разовьемся и укрѣпимся въ качествѣ

народности, умѣющей и могущей дѣлать *свое* общественное дѣло, какъ мы, воспринявъ свободно начало общечеловѣческой культуры, откроемъ пути и средства для нашего творчества, которое безъ того навсегда останется въ видѣ зародыша, давая міру однихъ нелѣпыхъ „самоучекъ", начиная отъ самоучекъ-механиковъ и кончая самоучками — „революціонерами".

Тогда выступитъ въ полномъ блескѣ „народная правда", на этотъ разъ уже нескрытая и неспрятанная подъ семью замками, а сіяющая какъ солнце. Тогда не будетъ уже мѣста скитальцамъ, или, лучше сказать, имъ будетъ мѣсто, за общимъ народнымъ трудомъ. Тогда исчезнутъ и глупыя мечты о „всемірномъ счастьи", потому что каждый пойметъ, что отдѣльный человѣкъ можетъ служитъ человѣчеству только *чрезъ* свой народъ и что внѣ этого народа ему нигдѣ нѣтъ мѣста. Коротко говоря: нужно только смѣло и бодро идти по пути, открытому съ 1861 года, когда устранена была главная причина нашего „скитальчества". То, что мы видимъ теперь, есть только *наслѣдіе* временъ минувшихъ и, мы вѣримъ въ это, типы нашихъ скитальцевъ не суть типы „постоянные". Они прейдутъ вмѣстѣ съ ростомъ русскаго общества и народа. Въ заключеніе мы просимъ Ѳ. М. Достоевскаго извинить намъ выраженія, которыя онъ сочтетъ рѣзкими, хотя мы и старались говорить съ нимъ тѣмъ языкомъ, какого онъ вправѣ требовать по своимъ достоинствамъ. Но живость тона показываетъ, что вопросъ, возбужденный Ѳ. М. Достоевскимъ, столь же близокъ намъ, какъ и ему.

А. Градовскій.

* * *

*) Не многимъ писателямъ доводится получать такія удовольствія, какія получилъ недавно г. Достоевскій: его произведеніе — рѣчь о Пушкинѣ — признано „событіемъ"; оно признано „геніальнымъ"; авторъ слышалъ и читалъ это, и теперь не оставляетъ читателя въ неизвѣстности объ этомъ пунктѣ. Печатая свою рѣчь единственнымъ *годовымъ* выпускомъ *ежемѣсячнаго* изданія, авторъ прибавилъ къ ней пре-

*) „Вѣстникъ Европы" 1880 г., № 10. „Литературное Обозрѣніе". Статья В. В.

дисловіе и комментаріи, въ которыхъ обязательно объясняетъ— въ чемъ именно заключается „событіе“.

Можно, пожалуй, согласиться, что это — событіе, но событіе довольно печальное, особенно если бы надо было думать, что тѣ, кто привѣтствовалъ рѣчь г. Достоевскаго, съ тѣмъ же сочувствіемъ привѣтствовали бы изданныя имъ теперь толкованія, — какъ самъ г. Достоевскій въ этомъ видимо увѣренъ.

Мы не станемъ передавать содержанія ни рѣчи ни толкованій, первая была не разъ перепечатана и изложена, вторыя также довольно извѣстны. Основныя мысли таковы: величіе Пушкина состоитъ особенно въ томъ, что онъ, какъ великій художникъ, есть совершеннѣйшій выразитель русскаго народнаго духа — именно способности его къ всемірной отзывчивости и всепримиренію; геній русскаго народа изъ всѣхъ народовъ наиболѣе способенъ „вмѣстить въ себя идею всечеловѣческаго единенія, братской любви, трезваго взгляда, прощающаго враждебное, различающаго и извиняющаго несходное, снимающаго противорѣчія“; „стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ и значитъ только стать братомъ всѣхъ людей, *всечеловѣкомъ*“; русскій народъ особенно (или единственно) понялъ христіанскую истину, и т. д. Эту и подобныя положенія въ рѣчи г. Достоевскаго связаны были съ возвеличеніемъ Пушкина; въ томъ настроеніи, въ которомъ была аудиторія послѣ длиннаго ряда торжественныхъ чествованій памяти великаго поэта, она готова была наконецъ и къ крайней идеализаціи, даже къ преувеличенію. Рѣчь г. Достоевскаго могла пройти какъ патріотическій порывъ, какъ чувствительный идеализмъ и, при всѣхъ крайностяхъ, могла, въ условіяхъ обстановки, возбудить сочувствіе въ людяхъ болѣе трезвыхъ — тѣмъ примирительнымъ оттѣнкомъ, который являлся въ ея заключеніи.

Но этого было мало г. Достоевскому. Овація, кажется, была причиной, что онъ и совсѣмъ потерялъ мѣру; въ истолкованіяхъ, которыми онъ снабдилъ свою рѣчь, кажется, вѣрнѣе отразился настоящій характеръ его идей, нежели въ рѣчи. — Еще наканунѣ Пушкинскаго праздника, въ литературномъ кругу обратила на себя вниманіе статейка газеты „Берегъ“: статейка извѣщала, что на предстоящемъ Пуш-

кинскомъ праздникѣ готовится либеральная демонстрація,— и успокоивала публику, что гг. *Катковъ и Достоевскій* сумѣютъ дать этой демонстраціи должный отпоръ.—Почитателямъ г. Достоевскаго было очень неловко видѣть его имя въ этомъ союзѣ и въ этой усмирительной рѣчи. Съ подобнымъ характеромъ теперь и выступаетъ г. Достоевскій. Если „Рѣчь“, какъ мы сказали, имѣла отчасти примирительныя намѣренія, то комментаріи—строжайшее обличеніе „либераловъ“, которые просто сгоняются со свѣту. Особенный, частный поводъ къ обличенію подала статья пр. Градовскаго; но г. Достоевскій обобщилъ свой отвѣтъ до цѣлаго обвиненія противъ либераловъ вообще, прошедшихъ и настоящихъ.

Что сказать объ этомъ походѣ противъ „либерализма“?

Первое, что спорить правильно противъ г. Достоевскаго нѣтъ никакой возможности; потому что изложеніе его не есть вовсе послѣдовательное развитіе какой-либо мысли, а раздражительное словоизверженіе ясно показывающее, что авторъ резоновъ слушать не намѣренъ, что имъ овладѣла страсть и то жестокое настроеніе, при которомъ аргументація невозможна и безполезна.

Эта страсть—крайне неумѣренное самолюбіе, это настроеніе — мистицизмъ. Одинъ изъ критиковъ настоящаго выпуска „Дневника писателя“ провелъ очень вѣрную параллель между произведеніемъ г. Достоевскаго и „Выбранными Мѣстами“ Гоголя; дѣйствительно, сходство поразительное. Самолюбіе и мистицизмъ—всего меньше логика. Аргументы мистицизма витаютъ въ такой сферѣ, гдѣ раціональное разсужденіе невозможно; онъ разсуждаетъ наитіями, провидѣніями, откровеніями; логическія противорѣчія его не затрудняютъ: къ мнѣніямъ, идущимъ отъ противоположной точки зрѣнія, онъ питаетъ крайнюю вражду и нетерпимость. Очень справедливо было замѣчено, что самый стиль „Дневника“ повторяетъ „Выбранныя Мѣста“ Гоголя: рядомъ съ возвышенной, или съ высокопарной проповѣдью идетъ вульгарная сплетня, христіанская „любовь“ и „братство“ съ крайнимъ озлобленіемъ; тонъ—высокомѣрный и порицательный. Г-нъ Достоевскій не замѣтилъ, что, осуждая западную Европу на погибель (она „рухнетъ“, „завтра же“ или въ слѣдующее же десятилѣтіе). онъ повторялъ Гоголя, который дѣлалъ

тридцать пять лѣтъ тому назадъ то же самое предсказаніе, которое однако доселѣ не осуществилось: Европа покамѣстъ не „рухнула“.—И какая же будетъ причина этого уничтоженія Европы?—то, что „стучится“ четвертое сословіе, т. е. желаетъ пріобрѣсти себѣ право на человѣческое существованіе,—какъ всегда, въ цѣлой всемірной исторіи, „стучались“ тѣ, кому жизнь становилась невыносима; ну, а наши крестьяне не могли бы „постучаться“? Были уже въ исторіи примѣры, что и они довольно безпокойно „стучались“. Политическіе пріемы г. Достоевскаго противъ „либерализма“ опять не новы; это—повтореніе старыхъ (еще сороковыхъ годовъ) нападеній противъ славянофиловъ на „Петербургъ“ и „петербургскій періодъ“, но повтореніе слабое, непослѣдовательное и иногда очень некрасивое. Г. Достоевскій не дѣлаетъ никакихъ различій между „либералами“: всѣ они одинаковые враги „народныхъ началъ“, „развратители“ народа.—Читатель пусть понимаетъ какъ знаетъ: кто эти либералы? Съ одной стороны, это — непріятные г. Достоевскому писатели и публицисты; съ другой стороны, онъ замѣчаетъ съ непостижимымъ для насъ азартомъ, что де „и настоящая полиція вѣдь у насъ теперь либеральна, отнюдь не менѣе возопившихъ на меня (г. Достоевскаго) либераловъ“. Фразу эту можно было бы объяснить только желаніемъ сбить либераловъ въ одну кучу съ „полиціей“, вѣдомствомъ не весьма популярнымъ. Одна услужливая къ г. Достоевскому газета припомнила, какъ-бы мимоходомъ, что гр. Шуваловъ пользовался въ Европѣ репутаціей человѣка очень „либеральныхъ“ взглядовъ... Что къ ненавистнымъ „либераламъ“, которыхъ г. Достоевскій караетъ, принадлежитъ та доля литературы, которая не дѣлитъ его своеобразныхъ измышленій, это понятно; приспѣшники г. Достоевскаго стали и прямо называть такія изданія;—но затѣмъ г. Достоевскій накидывается и на такихъ „либераловъ“, которые о православіи говорятъ: „Le Pravoslavie“. *Кого* онъ разумѣетъ здѣсь, остается непонятно; потому что въ литературныхъ нашихъ кругахъ, сколько намъ извѣстно, такая терминологія вовсе не употребляется. Кто же это? и если такіе люди есть, то что общаго между *этими* людьми и литературой? Недостатокъ смысла въ такомъ огульномъ обвиненіи граничитъ съ недобросовѣстностью. Можно было бы не обращать вниманія на подобное прихот-

ливое „теченіе мыслей" г. Достоевскаго и предоставить ему наслаждаться легкимъ торжествомъ надъ его непріятелями, но онъ имѣетъ своихъ поклонниковъ. Не знаемъ, какъ далеко идетъ ихъ поклоненіе; но если они видятъ въ г. Достоевскомъ не только писателя, увлекающаго ихъ своими художественными произведеніями, но и публициста, своего руководителя въ общественныхъ вопросахъ,—то имъ слѣдуетъ серьезно подумать о качествѣ получаемыхъ наставленій...

Но откуда же взялся этотъ ненавистный „либерализмъ"? Онъ взялся, очевидно, отъ собирающейся рухнуть Европы; но какъ это случилось, все ли было дурно въ этомъ либерализмѣ, или было въ немъ что-нибудь полезное,—этого адептъ г. Достоевскаго никакъ не пойметъ: въ прорицаніяхъ безнадежная путаница.

Отъ комментаріевъ возвращаемся опять къ „Рѣчи". Въ концѣ ея г. Достаевскій говоритъ о „всемірной отзывчивости" Пушкина, въ которой именно выразилась народность его поэзіи, народность нашего будущаго: „ибо что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея въ конечныхъ цѣляхъ своихъ ко всемірности и ко всечеловѣчности? И далѣе объясняетъ, что такимъ стремленіемъ была и Петровская реформа.

„Въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ ораторъ, что такое для насъ Петровская реформа, и не въ будущемъ только, а *даже и въ томъ, что уже было, произошло, что уже явилось воочію?* Что означала для насъ эта реформа? *Вѣдь не была же* она только усвоеніе европейскихъ костюмовъ, обычаевъ, изобрѣтеній и европейской науки. Вникнемъ, какъ дѣло было, поглядимъ пристальнѣе. Да, очень можетъ быть, что Петръ первоначально только въ томъ смыслѣ и началъ производить ее, т. е. въ смыслѣ ближайше утилитарномъ, но впослѣдствіи, въ дальнѣйшемъ развитіи имъ своей идеи, Петръ несомнѣнно повиновался нѣкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дѣло, къ цѣлямъ будущимъ, несомнѣнно огромнѣйшимъ, чѣмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнѣнно уже ощутилъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую (sic) цѣль, чѣмъ ближайшій утилитаризмъ, — ощутилъ эту цѣль опять-таки, конечно, по-

вторяю это, безсознательно, но однако же и непосредственно и *вполнѣ жизненно*. Вѣдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному *возсоединенію*, къ единенію всечеловѣческому! Мы не враждебно (какъ казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геній чужихъ націй, всѣхъ вмѣстѣ, не дѣлая преимущественныхъ племенныхъ различій, умѣя инстинктомъ, почти съ самаго перваго шагу различать, снимать противорѣчія, извинять и примѣрять различія, и тѣмъ ужъ выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только — что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловѣческому возсоединенію со всѣми племенами великаго Арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человѣка есть безспорно всеевропейское и всемірное... О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у насъ недоразумѣніе, хотя исторически и необходимое".

При извѣстномъ смягченіи идеализаціи этого разсужденія, мы съ нимъ были-бы отчасти согласны. Ораторъ зашелъ даже такъ далеко, что мы нашли-бы даже, что онъ нѣсколько потерялъ мѣру въ увлеченіи своего краснорѣчія: „О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги" и пр. Такъ въ „Рѣчи". Обращаемся къ комментарію; но тамъ уже нѣчто совсѣмъ иное; тамъ цѣлая словно обвинительная тирада противъ взятаго у Европы либерализма, и оказывается, что „два послѣдніе вѣка", т. е. именно Петровская реформа и ея развитіе, были величайшимъ зломъ и преступленіемъ, которыя г. Достоевскій навязываетъ тому-же несчастному либерализму. Козломъ отпущенія подвернулся профессоръ Градовскій, осмѣлившійся сдѣлать нѣсколько возраженій на „Рѣчь". „Вы, г. Градовскій, безжалостно укоряете Россію за ея неустройство. А *кто* мѣшалъ ей устроиться во *всѣ эти два послѣдніе вѣка*, и особенно въ послѣднее пятидесятилѣтіе? А вотъ все, подобные вамъ, русскіе европейцы, г. Градовскій, которые у насъ *всѣ два вѣка* не переводились, а теперь особенно на насъ насѣли. Кто врагъ органическому и самостоятельному развитію Россіи на особенныхъ ея народныхъ началахъ? Кто насмѣшливо не признаетъ даже существованія этихъ началъ и не хочетъ ихъ замѣчать? Кто хотѣлъ *передѣлать* (?!) народъ нашъ, фантастически, „возвышая его до себя"—по просту надѣлалъ все такихъ-же, какъ сами,

либеральныхъ европейскихъ человѣковъ, отрывая, отъ времени до времени, отъ народной массы по человѣчку (!!) и *развращая* его въ европейца даже хоть фалдочками мундира? Этимъя я не говорю, что европеецъ—развращенъ; я говорю только, что передѣлывать русскаго въ европейца такъ, какъ либералы его передѣлываютъ, есть сущій развратъ зачастую. А вѣдь въ этомъ-то состоитъ весь идеалъ *ихней* программы дѣятельности (!!): именно въ отлупливаніи (?) по человѣчку отъ общей массы—экой абсурдъ!"

Дѣйствительно, экой абсурдъ вся эта тирада! На кого направлены всѣ эти обвиненія? Когда-же это либералы, „подобные" г. Градовскому (т. е. люди профессорскаго и журнальнаго круга?), бывали у насъ такъ сильны, что могли „два вѣка" мѣшать Россіи устроиться? Когда они были врагами ея самостоятельнаго развитія? и т. д. На дѣлѣ, если гдѣ были пламенныя стремленія къ широкому и свободному устройству Россіи, то именно въ лучшихъ литературныхъ и профессорскихъ кругахъ— еще начиная со временъ Ломоносова; а мѣшали этому люди совсѣмъ иныхъ круговъ, которые не скупились противъ первыхъ никакими помѣхами, запретами, даже осужденіями и ссылками.... Г-нъ Достоевскій не можетъ этого не знать — и перевирать такимъ образомъ исторію непозволительно для писателя, себя уважающаго. И послѣ этой характеристики европеизма, что-же могутъ означать приведенныя выше слова г. Достоевскаго о Петровской реформѣ, объ общечеловѣческомъ возсоединеніи и д. т.? Эти слова что нибудь значатъ, и въ такомъ случаѣ—обязываютъ; иначе, самъ авторъ дѣлаетъ ихъ пустымъ словоизверженіемъ.

И какое странное историческое понятіе о „двухъ послѣднихъ вѣкахъ", за неудовлетворительность которыхъ г. Достоевскій упрекаетъ „либераловъ", какъ будто въ самомъ дѣлѣ они, а не кто иной, завѣдывали судьбами русскаго народа!

Способъ полемики съ противниками, принятый г. Достоевскимъ, отличается большой простотой. Надо вывести „либерала", будто-бы излагающаго систему своихъ мнѣній, и заставить его говорить уродливыя безсмыслицы, которыя авторъ тотчасъ побѣдоносно опровергнетъ. Страницы 6—8 составляютъ перлъ такого рода полемики. Напримѣръ, „западники" (или, что то же, „либералы"), говорятъ у г. До-

стоевскаго слѣдующимъ образомъ: „Въ народѣ русскомъ, такъ какъ ужъ пришло время (?) высказаться вполнѣ откровенно, мы видѣли лишь косную массу, у которой намъ нечему учиться, *тормозящую*, напротивъ развитіе Россіи къ прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и передѣлать — если ужъ невозможно и нельзя органически, то по крайней мѣрѣ механически, то-есть *по просту* (!!) заставить ее разъ навсегда насъ слушаться, *вовьки вьковъ*. А чтобы достигнуть сего послушанія, вотъ и необходимо усвоить себѣ гражданское устройство *точь въ точь* (?!) какъ въ европейскихъ земляхъ, о которыхъ именно теперь пошла рѣчь. Собственно-же народъ нашъ нищъ и *смердъ* (?), какимъ онъ былъ всегда, и не можетъ имѣть ни лица ни идеи. Вся исторія народа нашего есть абсурдъ, изъ котораго вы (разумѣется, г. Достоевскій, или славянофилы, къ которымъ онъ себя сопричислилъ) до сихъ поръ чортъ знаетъ что выводили... Надобно, чтобъ имѣло исторію лишь одно наше интеллигентное общество, которому народъ долженъ служить лишь своимъ трудомъ и своими силами.... Чуть мы выучимъ человѣка изъ народа грамотѣ, тотчасъ же и заставимъ его нюхать Европы, тотчасъ-же начнемъ обольщать его Европой... Если же народъ окажется неспособнымъ къ образованію, то устранить народъ". (!!!).

Объ этомъ „устраненіи народа", желаемомъ „западниками", г. Достоевскій разсказываетъ еще такой анекдотъ. Обличая „обезличенное, лакейство", подражаніе Европѣ, якобы проповѣдываемое западниками, онъ восклицаетъ: „Да куда-же дѣвать тогда русскій-то организмъ? Понимаютъ ли *эти господа* что такое организмъ! А еще толкуютъ о естественныхъ наукахъ! „Этого народъ не позволитъ", сказалъ по одному поводу, года два назадъ, одинъ собесѣдникъ одному *ярому* западнику. „Такъ *уничтожить народъ*" (??), отвѣтилъ западникъ спокойно и величаво. И былъ онъ не кто-нибудь, а одинъ изъ представителей нашей интеллигенціи. Анекдотъ этотъ вѣренъ" (стр. 4).

Анекдотъ, можетъ быть, вѣренъ, какъ вѣрно то, что есть на свѣтѣ очень глупые люди; намъ сомнительно одно, чтобы это могъ быть, „представитель" интеллигенціи.

Правда, г. Достоевскій дѣлаетъ оговорку, что онъ „не осмѣливается вложить приведенныя сейчасъ безсмыслицы въ

уста тѣхъ, которые жали мнѣ руку (по произнесеніи рѣчи), но и въ уста многихъ, *очень многихъ*, просвѣщеннѣйшихъ изъ нихъ, русскихъ дѣятелей и вполнѣ русскихъ людей, *несмотря на ихъ теоріи*, почтенныхъ и уважаемыхъ русскихъ гражданъ. Но въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же было приводить мнѣніе шушеры за мнѣніе всѣхъ „либераловъ“. Подобный пріемъ не есть пріемъ добросовѣстный. Признаемся, намъ сомнительно, чтобы даже шушера могла высказать мысль объ „уничтоженіи народа“. Не было-ли это сказано г. Достоевскому на смѣхъ? Словомъ—уши вянутъ.

Итакъ нашему благополучію мѣшаетъ только Европа и ея наши приверженцы. Но, погодите, „*ваша* Европа рухнетъ“, *завтра же* рухнетъ (г. Достоевскій повторяетъ это нѣсколько разъ—стр. 4, 36, 37), и тогда „и вы гг. доктринеры, можетъ быть, схватитесь и начнете искать у насъ народныхъ началъ“... Попрекнувши г-на Градовскаго Христомъ, авторъ продолжаетъ: „Вы спросите: какіе же могутъ быть у насъ свои общественные и гражданскіе идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданскіе, и наши общественные идеалы—лучше вашихъ европейскихъ, крѣпче вашихъ и даже—о, ужасъ!—либеральнѣе вашихъ! Да, либеральнѣе, потому что исходятъ прямо изъ организма народа нашего, а не лакейско-безличная пересадка съ Запада“. Читатель заинтересованъ; онъ ожидаетъ узнать, наконецъ, „эти идеалы“ и лучше и крѣпче вашихъ, „но, увы! не узнаетъ“. Теперь я, конечно, не могу объ этомъ распространяться, *ну хоть* потому одному, что и *безъ того* статья длинная вышла“. Отчего это „конечно“, отчего г. Достоевскій не можетъ высказать своихъ идеаловъ,—ради которыхъ онъ однако злорадно пророчитъ Европѣ гибель „повсемѣстную“, общую и ужасную“, ради которыхъ онъ взвелъ столько небывальщинъ на „либерализмъ“,—непостижимо; „ну хоть“—вовсе не резонъ, потому что, если ужъ г. Достоевскій не хотѣлъ печатать длинной статьи, то смѣло могъ бы на половину сократить свои филиппики и удѣлить мѣсто для изложенія „идеаловъ“...

Въ концѣ г. Достоевскій спохватился: „скажутъ еще, пожалуй, что я моимъ отвѣтомъ *уничтожилъ весь смыслъ* моей „Рѣчи“, гдѣ самъ призывалъ обѣ партіи русскія къ единенію и примиренію и признавалъ законность той и другой“. Онъ утверждаетъ, что, напротивъ, смыслъ его „Рѣчи“ еще болѣе

„закрѣпленъ“, — но объ этомъ читатель можетъ самъ составить понятіе, закрѣпленъ ли онъ, или, напротивъ, вмѣсто нѣкоторой примирительности „Рѣчи“, въ комментаріяхъ господствуетъ одно раздражительное озлобленіе.

Надо думать, что изложенію идеаловъ будетъ посвященъ слѣдующій годъ „Дневника“. Г-ну Достоевскому уже совѣтовали покинуть туманную фразеологію и говорить точнѣе,— иначе подумаютъ, что онъ „лавируетъ“: съ „крѣпкими идеалами“ этого бы не слѣдовало дѣлать. Нѣсколько болѣе точности не мѣшаетъ и въ статистическихъ счетахъ. Авторъ не однажды ссылается на восемьдесятъ милліоновъ *русскаго* народа (именно *русскаго*, потому что рѣчь идетъ о свойствахъ и идеалахъ русской *народности*). Но восемьдесятъ милліоновъ (теперь считаютъ уже девяносто, или за девяносто) составляютъ цифру населенія русской имперіи, а вовсе не русскаго народа, владѣющаго идеалами; въ восьмидесяти или девяноста милліонахъ заключено, кромѣ русской, множество иныхъ народностей, кромѣ православныхъ — милліоны католиковъ, протестантовъ, евреевъ, магометанъ, даже сотни тысячъ язычниковъ. Собственно же *русскаго* народа полагаютъ только тридцать пять милліоновъ. Кромѣ статистики желательно, чтобы въ будущихъ разсужденіяхъ г. Достоевскаго не были забываемы элементарные историческіе факты, и не былъ совершенно отвергаемъ здравый смыслъ.

Изъ „Вѣстника Европы“. Статья В. В.

* * *

*) Если бы собрать все то, что было написано умнаго и глупаго по поводу „знаменитой“ рѣчи г. Достоевскаго, сказанной имъ на Пушкинскомъ праздникѣ, то вышло бы довольно объемистое и не лишенное интереса собраніе брошюръ и статей, въ которыхъ нашъ, по преимуществу журнальный міръ высказался болѣе или менѣе оригинально и откровенно, не только по отношенію къ самому Достоевскому, но также и по отношенію ко всѣмъ нашимъ общественнымъ вопросамъ. Съ одной стороны, г. Достоевскій превозносился до небесъ: поклоненіе его „невѣроятному“ таланту, геніальной глубинѣ

*) „Новости и Биржевая газета“ 1880 г., № 296. „Литературная хроника“. Статья В. Ч. (В. Чуйко).

его „идей“, его „изумительной“ искренности — отняли, какъ кажется, у поклонниковъ нашего беллетриста всякое самообладаніе; съ другой стороны, столь же неумѣренны, столь же односторонни оказались его противники: они отказывали г. Достоевскому не только въ талантѣ, не только въ идеяхъ, но даже и въ простомъ здравомъ смыслѣ. По ихъ мнѣнію, онъ, просто, изувѣръ и мистикъ, не отличающійся даже новизной своихъ изреченій, такъ какъ все то, что онъ теперь проповѣдываетъ съ такимъ паѳосомъ и блескомъ, какъ г. Аксаковъ назвалъ его рѣчь, еще прежде не менѣе блистательно и не менѣе своеобразно, было высказано Гоголемъ въ его „Перепискѣ съ друзьями“. Этотъ послѣдній взглядъ былъ высказанъ въ „Новостяхъ“ моимъ почтеннымъ и уважаемымъ сотоварищемъ, Коломенскимъ Кандитомъ, который съ обычнымъ своимъ остроуміемъ сдѣлалъ эту параллель между г. Достоевскимъ и Гоголемъ. И дѣйствительно между этими двумя первоклассными талантами, охваченными мистицизмомъ подъ конецъ ихъ карьеры, существуетъ несомнѣнное и поразительное сходство, — сходство тѣмъ болѣе знаменательное, что мистицизмъ Гоголя и мистицизмъ г. Достоевскаго вызваны въ сущности однѣми и тѣми-же общественными причинами. Не разъ уже указывалось на печальную судьбу русскихъ писателей, изъ которыхъ самые талантливые, самые своеобразные умирали въ молодости: Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольцовъ, Веневитиновъ, не говоря уже о другихъ, болѣе близкихъ къ намъ. Ихъ ранняя смерть въ большинствѣ случаевъ объясняется общественными причинами. Гораздо любопытнѣе, я думаю, другое явленіе, въ сущности еще болѣе печальное: мистицизмъ, противъ котораго не могутъ устоять многіе изъ русскихъ писателей: вспомнимъ Чаадаева, перешедшаго въ католицизмъ, вспомнимъ Гоголя, захлебнувшагося тѣмъ-же самымъ мистицизмомъ и умершаго съ голоду, потому, что онъ не хотѣлъ принимать никакой пищи; вспомнимъ г. Достоевскаго, катящагося теперь по той же самой наклонной площади мистическихъ „идей“ и уже договорившагося до болѣе чѣмъ странныхъ взглядовъ... Столь частыя повторенія одного и того-же явленія не могутъ быть, разумѣется, объяснимы однѣми лишь частными и случайными причинами; очевидно, въ нашей общественной атмосферѣ существуетъ эта мистическая зараза и въ гораздо большей, можетъ быть, степени, чѣмъ это кажется на первый взглядъ.

Рѣчь г. Достоевскаго и защита ея, предпринятая въ его „Дневникѣ писателя“, тѣмъ не менѣе, принесли несомнѣнную пользу русскому обществу. Г. Достоевскій коснулся въ своей рѣчи и въ своей защитѣ самыхъ существенныхъ вопросовъ русской общественной жизни, коснулся талантливо, прямо и откровенно, и этимъ далъ возможность другимъ высказаться столь-же откровенно и столь-же прямо по тѣмъ-же вопросамъ. Правда, что этимъ „другимъ“, казалось бы, никто не мѣшалъ высказаться и раньше, не дожидаясь рѣчи г. Достоевскаго. Но что прикажете дѣлать? Мы какъ-то усвоили себѣ пагубную привычку ничего не говорить безъ повода, безъ особеннаго случая. Г. Михайловскій, напр., говоритъ очень простую и очень симпатичную мысль, придираясь къ какому-то весьма посредственному разсказу г. Круглова и облекая свою мысль въ какое-то ненужное глубокомысліе; г. У. даже придумываетъ случаи, когда намѣренъ говорить о нашей деревнѣ; г. Щедринъ отправляется въ Германію и Парижъ съ тѣмъ, чтобы говорить объ урядникахъ... Наша критика точно также говоритъ лишь „по поводу“. Нашъ критикъ вовсе не заботится о художественномъ произведеніи, которое ему приходится анализировать: въ немъ онъ ищетъ лишь „повода“ говорить о томъ, что его интересуетъ, что у него наболѣло, что его тревожитъ... Такъ дѣлаетъ и г. Кавелинъ, обращаясь къ г. Достоевскому съ письмомъ „по поводу“ знаменитой рѣчи, письмомъ, напечатаннымъ въ послѣдней книжкѣ „Вѣстника Европы“!

Г. Кавелинъ, какъ кажется, по преимуществу — писатель „по поводу“. Этотъ пріемъ онъ усвоилъ себѣ болѣе, чѣмъ кто-либо другой. Такъ, „по поводу“ статьи г. Сѣченова онъ написалъ цѣлую книгу о психологіи; „по поводу“ какой-то статейки онъ написалъ о „деревнѣ“; „по поводу“ какихъ-то разговоровъ съ какимъ-то художникомъ онъ написалъ чуть-ли не цѣлый разсказъ объ эстетикѣ; „по поводу“ бюста Мефистофеля работы Антокольскаго онъ высказалъ очень много умныхъ вещей въ томъ-же „Вѣстникѣ Европы“. Теперь „по поводу“ странностей г. Достоевскаго г. Кавелинъ въ эпистолярной формѣ (которую онъ какъ-то особенно облюбилъ) высказываетъ также очень много умныхъ и дѣйствительно своеобразныхъ взглядовъ.

Само собой разумѣется, что и здѣсь не обходится безъ „необычайнаго таланта“, „всегдашней искренности“ и „глу-

бокихъ убѣжденій“ г. Достоевскаго, но при эпистолярной формѣ это, конечно, понятно. Отдавъ, такимъ образомъ, дань вѣжливости, г. Кавелинъ приступаетъ къ анализу идей г. Достоевскаго и прежде всего касается вопроса о славянофилахъ и западникахъ. Для г. Кавелина вопросъ этотъ принадлежитъ уже прошедшему; названіе западниковъ и славянофиловъ вовсе не идетъ къ новымъ направленіямъ русской мысли. Въ настоящую минуту, между мыслящими и серьезными людьми нѣтъ ни одного, который-бы изъ теоретическихъ предразсудковъ смотрѣлъ свысока на наши народныя массы или думалъ, что Россія есть листъ бѣлой бумаги, на которомъ можно писать все, что угодно. Всякій очень хорошо понимаетъ, что какъ отдѣльныя лица, такъ и націи имѣютъ свой характеръ, свои особенности, свою физіономію; съ другой стороны, г. Кавелинъ точно также убѣжденъ, что теперь нѣтъ ни одного мыслящаго и серьезнаго русскаго человѣка, который-бы не понималъ, что новыхъ условій, созданныхъ въ Россіи реформою Петра, нельзя вычеркнуть изъ исторіи; что, какъ бы мы любовно ни смотрѣли на народныя массы, нельзя признать ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ теперь существуютъ, идеаломъ совершенства. Въ настоящую минуту г. Кавелинъ усматриваетъ въ русскомъ обществѣ два различныхъ направленія. Одно, — основываясь на воспитательномъ характерѣ общественныхъ учрежденій, ждетъ всего хорошаго только отъ ихъ перестройки, въ полномъ убѣжденіи, что хорошія учрежденія перевоспитаютъ людей и разовьютъ въ нихъ тѣ качества и свойства, которыя необходимы для благоустроеннаго общежитія и которыхъ намъ, къ сожалѣнію, пока не достаетъ въ значительной степени. Другое направленіе исходя изъ той-же нашей неустроенности, не признаетъ всемогущества учрежденій и, усматривая источникъ всего зла въ нашемъ нравственномъ состояніи, дѣйствительно крайне незавидномъ, указываетъ, помимо учрежденій, на разныя средства для поднятія у насъ нравственности. Г. Кавелинъ не отрицаетъ нѣкоторой исторической преемственности этихъ двухъ новыхъ направленій съ западниками и славянофилами, но думаемъ, что взгляды славянофиловъ и западниковъ были первыми незрѣлыми попытками самостоятельной критики, между тѣмъ, какъ новыя направленія переносятъ русскіе вопросы на чисто теоретическую почву и тѣмъ придаютъ имъ обще-

человѣческое значеніе. Г. Кавелинъ убѣжденъ, что коренное зло европейскихъ обществъ, не исключая и русскаго, заключается въ недостаточномъ развитіи и выработкѣ внутренней, нравственной и душевной стороны людей; онъ думаетъ, что *новое слово*, котораго многіе ожидаютъ, будетъ заключаться въ новой, правильной постановкѣ вопроса о нравственности въ наукѣ, воспитаніи и практической жизни, и что это живительное слово скажемъ, именно, мы, русскіе. На чемъ основываетъ г. Кавелинъ этотъ послѣдній выводъ онъ не говоритъ, потому что нельзя же считать доказаннымъ аргументомъ ссылку на „смѣлыя чаянія" русскихъ молодыхъ умовъ, на „неясныя представленія" о будущемъ значеніи русскаго и славянскаго міровъ въ судьбахъ міра, или на успѣхъ рѣчи г. Достоевскаго.

Тутъ я даже вижу нѣкоторое противорѣчіе со стороны г. Кавелина. Надѣясь, что „новое слово" о нравственности въ наукѣ, воспитаніи и практической жизни скажемъ мы, русскіе, онъ ниже опровергаетъ самого себя, говоря, что „взглядъ г. Достоевскаго на нравственныя качества русскаго народа вызываетъ серьезныя недоразумѣнія". Если г. Достоевскій превозноситъ простоту, кротость, смиреніе, доброту русскаго народа, то другой, съ неменьшимъ основаніемъ, укажетъ на его наклонность къ воровству, обманамъ, плутовству, пьянству, на дикое, безобразное отношеніе къ женщинѣ. Кто-же правъ? Вопросъ, по мнѣнію г-на Кавелина, неразрѣшимый, потому что, разсуждая о нравственности и безнравственности, мы обращаемъ вниманіе не на то, какъ народъ относится къ предмету своихъ вѣрованій и убѣжденій, а на то, *что* составляетъ ихъ предметъ, а это *что* есть результатъ исторіи, развитія, культуры. Поэтому, чтобы правильно оцѣнить народъ, слѣдуетъ говорить не о его нравственныхъ достоинствахъ и недостаткахъ, которые могутъ измѣняться, а о характеристическихъ свойствахъ его духовной природы. Но и тутъ г. Кавелинъ находитъ великое „недоразумѣніе". Онъ прямо говоритъ, что не въ состояніи дать точнаго отвѣта на вопросъ: есть-ли такія характерныя черты у русскаго народа? Конечно, русскій народъ богато одаренъ отъ природы, но въ чемъ состоитъ эта природная даровитость — этого никто не знаетъ, потому что говорить, напр., о живости, подвижности, юркости и бойкости ума, —значитъ, ничего еще не говорить,

такъ какъ это—признаки всякаго народа въ юности. Говорятъ, что мы—страшные реалисты. Полноте, какіе мы реалисты, мы просто живые юноши. Г. Достоевскій восхищается нашею способностью „перевоплощенія въ геніи чужихъ націй, перевоплощенія почти совершеннаго". Помните,—это не болѣе, какъ свойство даровитаго и умнаго даже не юношескаго, а младенческаго народа. Словомъ, какую вы-бы ни взяли черту русскаго народа,—всѣ доказываютъ замѣчательную его даровитость и, въ то же время, большую его юность,—возрастъ, когда нельзя еще угадать, какая у талантливаго юноши выработается духовная физіономія.

Изъ всего этого выводъ ясенъ; взглядъ г. Достоевскаго на нашъ простой народъ — какъ на хранителя христіанской правды, на наши образованные классы — какъ на отщепенцевъ отъ этой правды, на Алеко, Бельтовыхъ, Тентентниковыхъ—какъ на представителей этого отщепенства, все это въ глазахъ г. Кавелина не выдерживаетъ критики. Вглядитесь, прибавляетъ г. Кавелинъ очень остроумно и очень основательно, въ типы простыхъ русскихъ людей, которые насъ такъ подкупаютъ и дѣйствительно прекрасны: вѣдь это нравственная красота младенческаго народа. Первою ихъ добродѣтелью, считается, совершенно по восточному, устраниться отъ зла и соблазна, по возможности ни во что не мѣшаться, не участвовать ни въ какихъ общественныхъ дѣлахъ. Такихъ людей, какъ Алеко, г. Достоевскій считаетъ разорвавшими связь съ народомъ изъ гордости. Помилуйте! Да вѣдь это тѣ-же „восточные люди", которые изъ „великой печали сердца", отъ непорядковъ въ общественной и частной жизни, или изъ любви къ европейскому общественному и домашнему строю, бросали все и удалялись кто за-границу, кто на житье въ деревню. Это тѣ-же пустынножители и обитатели скитовъ, тѣ-же „смирные люди" нашихъ селъ, только съ другими идеалами. Будь европеецъ на ихъ мѣстѣ, онъ сталъ-бы осуществлять, по мѣрѣ возможности, свои идеалы въ большомъ или маломъ кругодѣйствіи, который отвела ему судьба, боролся-бы, сколько хватаетъ силъ, съ обстановкой и скоро-ли, долго-ли, а, въ концѣ концовъ, перестроилъ-бы ее на свой ладъ; мы же, восточные люди, бѣжимъ отъ жизни и ея напастей, предпочитая остаться вѣрными нравственному идеалу во всей его полнотѣ и не имѣя потребности, или не

умѣя водворить его, хотя-бы отчасти въ окружающей дѣйствительности, исподволь, продолжительнымъ, выдержаннымъ, упорнымъ трудомъ.

И такъ, по одному и тому-же вопросу мы имѣемъ два совершенно различныхъ отвѣта. Г. Достоевскій въ русскомъ народѣ видитъ полнѣйшее осуществленіе христіанскихъ идеаловъ, во всей ихъ нравственной чистотѣ, между тѣмъ, какъ г. Кавелинъ въ томъ же самомъ народѣ видитъ лишь „восточныхъ человѣковъ", находящихся еще на первой стадіи своего развитія! Откуда такое различіе въ мнѣніяхъ по вопросу столь важному, касающемуся не только лично каждаго изъ насъ, но также и нашего ближайшаго будущаго, нашихъ упованій, нашихъ общественныхъ идеаловъ? Въ томъ, что г. Кавелинъ говоритъ *не* для краснаго словца, а г. Достоевскій — *не* изъ желанія порисоваться своимъ пророческимъ идеализмомъ,—въ этомъ, конечно, не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Оба они говорятъ очень искренно, очень серьезно, вовсе не отшучиваясь и вовсе не желая сказать что-либо своеобразное и необычное; а, между тѣмъ, оба говорятъ совершенно различныя вещи. На этотъ вопросъ я могу дать лишь приблизительный отвѣтъ: не говоря уже о томъ, что русскій народъ terra incognita и что, слѣдовательно, о немъ можно говорить рѣшительно все, что угодно, я вижу и въ самомъ пріемѣ гг. Достоевскаго и Кавелина нѣчто противуположное, непримиримое: г. Достоевскій, такъ сказать, сердцевидецъ, мистикъ по складу ума, живущій чувствомъ, не признающій выводовъ разума, не знающій логики, и поэтому, отыскивающій во всемъ лишь то, что онъ желаетъ отыскать; между тѣмъ, какъ г. Кавелинъ—умъ объективный, по преимуществу логическій, мало довѣряющій увлеченіямъ чувства и, какъ кажется, слишкомъ полагающійся на непогрѣшимость логики. Съ точки зрѣнія логики и фактовъ, мы, несомнѣнно, „восточные люди"; съ точки зрѣнія любви, вѣры и надежды, мы, конечно, осуществляемъ христіанскіе идеалы. Г. Достоевскій со взорами, устремленными на будущее и наполненными слезами умиленія предугадываетъ въ насъ всѣ добродѣтели; г. Кавелинъ, осматриваясь на прошедшее со скептической улыбкой, видитъ въ насъ лишь восточныхъ младенцевъ. Признавая, до извѣстной степени, взглядъ г. Кавелина, я бы сдѣлалъ, однакожъ, нѣсколько другой выводъ.

Г. Кавелинъ высказываетъ пожеланіе, чтобы мы, не превращаясь въ европейцевъ, перестали быть восточными людьми, а были-бы тѣмъ, чѣмъ мы есть—русскими. Я же сказалъ-бы, что намъ давнымъ-давно пора перестать быть „восточными человѣками" и стать просто европейцами; отъ того мы не сдѣлаемся менѣе русскими. Вѣдь и французъ — европеецъ, но это не мѣшаетъ ему быть въ одно и то же время и европейцемъ и французомъ. Желательно было-бы, чтобы и мы, не напяливая на себя высокихъ добродѣтелей, которыхъ, можетъ быть, у насъ и нѣтъ, какъ нѣтъ ихъ у другихъ народовъ, были-бы, въ одно и то-же время, европейцами и русскими. Когда это случится, то, повѣрьте, прекратятся и всѣ наши разговоры о томъ, что мы такое и что изъ себя изображаемъ.

В. Чуйко.

безъ посторонней помощи можетъ провѣрить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орѳографіи, такъ и методики ея преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орѳографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще не успѣвающіе въ орѳографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самодѣятельности, легко и скоро пріобрѣтаютъ орѳографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе—для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орѳографіи по этому руководству, провѣрка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 6-е. М. 1900 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь буквы Ѣ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ѣ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. Цѣна каждой таблицы—2 к. (Распроданы).

11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію". М. 1892 г. Ц. 25 к.

12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанію").

13. Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Опытъ группировки орѳографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

14. а) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разраб. извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

15. б) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е, М. 1901 г. Цѣна 1 р.

16. в) Методическія указанія и примѣрные уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1899 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I. Изд. 3-е. М. 1899 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

18. Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго.

Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я, 2-я и 3-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я, 2-я и 3-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти". Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы". Цѣна 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть (1-я часть вышла 2-мъ изд.).

26. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда" и „Наканунѣ"— Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева". М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть по 1 р.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина". Ц. 2 р.

29. Н. В. Гоголь въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго (печатается).

IV. Серія разныхъ книжекъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.

Stanford University Libraries
3 6105 011 716 524

PG
3329
Z624
1912a
v.3

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

NOV 17 '67
FEB 3 '68
MAR 29 1973
JAN -6 1986